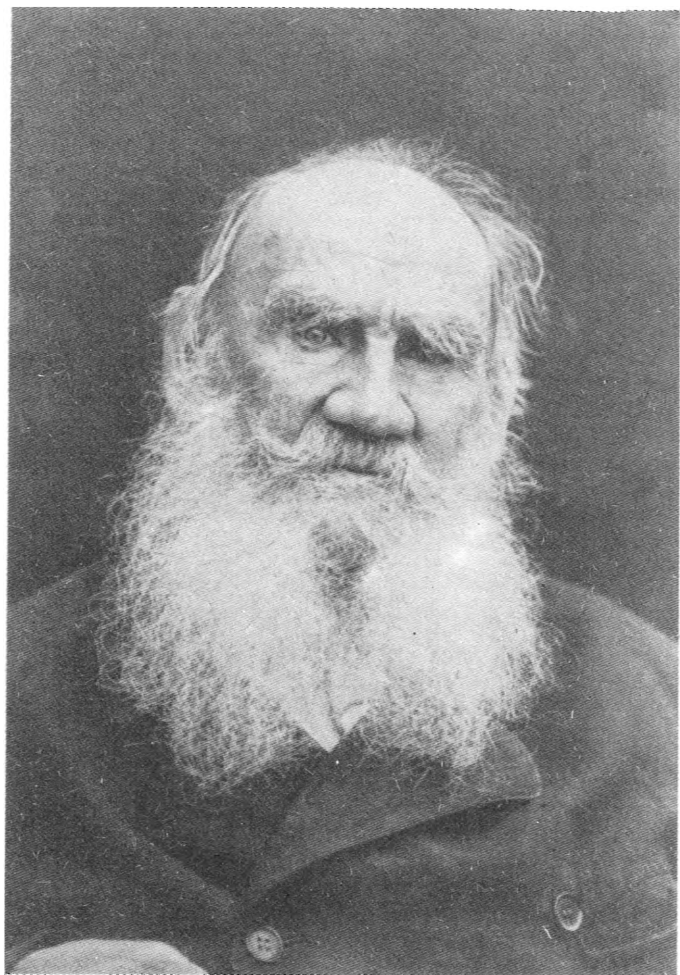


Как пророк русского и всемирного
освобождения, пока живо человечество,
будет жив и Толстой.

Д.С. Мережковский



ЯСНОПОЛЯНСКИЙ
СБОРНИК ❁ 1992



Я хочу, чтобы любовь к миру перестала быть робким стремлением народов, приходящих в ужас при виде бедствий войны, а чтоб она стала непоколебимым требованием честной совести.

Лев Толстой

ЯСНОПОЛЯНСКИЙ СБОРНИК 1992



СТАТЬИ,
МАТЕРИАЛЫ,
ПУБЛИКАЦИИ

ТУЛА
«ПОСРЕДНИК»
1992

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

К.Н. Ломунов (главный редактор), Н.И. Азарова, Т.Н. Архангельская,
Э.Г. Бабаев, В.А. Лебедева, Л.М. Любимова, Н.П. Пузин, В.Б. Ремизов,
А.И. Тяпкин, Б.М. Шумова

ISBN5-85377-007-1

© Государственный музей-заповедник
Л.Н. Толстого «Ясная поляна», 1992
© Редакция ИРИ «Ритм», 1992

СОДЕРЖАНИЕ

От редколлегии

7

К. Н. Л о м у н о в. Новые темы в толстоведении.

8

Проблемы творчества Л.Н. Толстого

К и м Р е х о. Лиро-эпический синтез в творчестве Л.Н. Толстого.

16

А. В. Г у л и н. Один из источников московских сцен 1812 года
в «Войне и мире».

26

С. Я. Д о л и н и н а. Проблема России и Запада в трактовке Л.Н. Толстого
и М.Е. Салтыкова-Щедрина («Анна Каренина» и цикл «За рубежом»).

35

Толстой — читатель и критик

П. А. Б о д и н. (Швеция). Книга «Пословицы русского народа»
Владимира Даля, принадлежавшая Л.Н. Толстому.

42

Т. Н. А р х а н г е л ь с к а я. Толстой читает роман В.Гюго
«Отверженные».

51

В. Б. Р е м и з о в. Толстой и Монтень в их раздумьях
о жизни, смерти, бессмертии.

64

И. К. Г р ы з л о в а. Произведения Мопассана
в личной библиотеке Л.Н. Толстого.

74

Толстой и его современники

Л. Д. Г р о м о в а - О п у л ь с к а я. Гоголь и Лев Толстой —
художники и учителя жизни.

80

А. Н. П о л о с и н а. Дневники рассказывают.

91

В. Н. А б р о с и м о в а. Толстой — Диллон — Ге.
История одного письма.

102

Б. С. С в а д к о в с к и й. В.Ф. Снегирев в Хамовниках
и Ясной Поляне.

114

П. В. Н и к о л а е в. Лев Толстой и Леонид Андреев.

127

Г. В. А л е к с е е в а. Констанция Гарнет — английская переводчица Л.Н.Толстого.
140

Толстой и искусство. Толстой в фотографиях.

А. Н. Д а н и л о в. Иллюстрации советских художников к произведениям Л.Н. Толстого.
148

Т. Ю. П л а с т о в а. Л.Н. Толстой в иллюстрациях и письмах А. Пластова.
155

О. Е. Е р ш о в а. Страница жизни Льва Толстого.
162

Т. К. П о п о в к и н а. Толстой в любительских фотографиях М.А. Стаховича.
173

В Ясной Поляне

Н. П. П у з и н. Из истории экспонатов в Ясной Поляне.
182

Т. В. К о м а р о в а. Герб рода графов Толстых.
188

О. Ю. С а ф о н о в а. Портреты Голицыных в доме Толстого.
191

А. Е. Б р ы н з о в. «Лесной проект» Л.Н.Толстого.
200

Н. А. Н и к и т и н а. К истории Яснополянского музея.
206

С. П. Р а е в с к и й. Первое посещение Ясной Поляны.
210

Материалы и сообщения

Т. В. К о м а р о в а. Об уходе и смерти Л.Н. Толстого.
(По материалам яснополянских фондов).
213

А. М. А м и р х а н я н. Кончина Л.Н. Толстого и армянская пресса.
219

Е. Н. Щ е л о к о в а. Письма американцев Толстому в голодный год. (По материалам рукописного отдела ГМТ).
225

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Выход в свет восемнадцатого выпуска Яснополянского сборника совпадает с коренными изменениями духовной жизни нашего общества. Пересматриваются казавшиеся ранее незыблемыми основы гуманитарных знаний. Получивив возможность свободно мыслить и творить, исследователь оказался в ситуации, когда уходят в прошлое конъюнктурные соображения, авторитарные установки, а на первый план выходят научная компетентность и ценность работ. Новое не возникает на пустом месте. Оно вырастает из опыта предшествующих поколений. В толстоведении сложились свои традиции, свои подходы к осмыслению предметов исследования. Сохранить и развить их — дело более трудное, нежели ниспровергнуть.

Настоящий сборник — это сохрание и развитие лучших традиций толстоведения и литературоведческих традиций. Выпуск открывается статьей К.Н. Ломунова, где наряду с анализом пройденного толстоведением пути намечаются пути преодоления догматического подхода к творческому наследию писателя.

В восемнадцатом выпуске, как и в предыдущих, главный остов составляют работы источниковедческого характера, материалы, содержащие новые факты из жизни и творчества Л. Толстого, его предшественников, современников, последователей, статьи историко-сравнительного и историко-типологического характера. Актуальным проблемам творчества посвящены статьи К. Рехо, А.В. Гулина, С.Я. Долиной. Тема «Толстой — читатель», ведущая научная тема Яснополянского музея-заповедника, представлена работниками сотрудников музея Т.А. Архангельской, И.К. Грызловой, В.Б. Ремизова, шведского ученого П.А. Бодина. Свидетельства чтения Толстым произведений Монтеня, Гюго, Мопассана, книги В. Даля позволили исследователям более глубоко проникнуть в мир философско-эстетических интересов писателя, понять то общее и различное, что есть в подходах к действительности великих предшественников и современников Толстого.

Статья Л.Д. Громовой-Опульской — одна из немногих работ в нашей науке, посвященных типологическому сравнению духовных исканий Гоголя и Толстого. В работах В.Н. Абросимовой, Г.В. Алексеевой, П.В. Николаева нравственно-эстетические открытия Толстого предстают как факт огромного культурно-исторического развития и раскрываются в связи с творческой деятельностью выдающихся деятелей русской и зарубежной культуры.

За восемь десятилетий, отделяющих нас от кончины Толстого, вышло немало работ, посвященных уходу и смерти писателя, однако и сегодня эта тема остается загадочной и недостаточно исследованной. Новые материалы по ней содержатся в статьях А.М. Амирханяна, Т.В. Комаровой, Б.С. Свядковского, отчасти В.Б. Ремизова.

Сотрудниками Государственного музея Л.Н. Толстого А.Н. Даниловым, О.Е. Ершовой, Т.Ю. Пластовой, Т.К. Поповкиной подготовлены материалы, в которых речь идет о проблемах иллюстрирования произведений писателя, о редких фотографиях, хранящихся в фондах московского музея.

От жизни отдельных экспонатов до «лесного проекта» Л. Толстого, трагических страниц истории яснополянской усадьбы — таков круг вопросов, поставленных в статьях сотрудников музея А.Е. Брынзова, Т.В. Комаровой, Н.А. Никитиной, А.Н. Полосиной, Н.П. Пузина, О.Ю. Сафоновой.

Широк круг проблем, вошедших в Яснополянский сборник-90. В этом тематическом многообразии панорама научного поиска в современном толстоведении, осуществляемого учеными России и других стран.

К.Н. Ломунов

НОВЫЕ ТЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ ТОЛСТОВЕДИИ

Как и все очаги культуры нашей страны, Толстовские музеи в Москве и Ясной Поляне тяжело переживают труднейшее в своей долгой жизни время. Однако сегодня они не только борются за свое выживание но и многого добиваются, храня, изучая и пропагандируя наследие великого писателя.

За последний год в некоторых органах прессы появились статьи, содержащие призывы «закрыть» все «писательские» музеи, в том числе и всемирно известный природный и мемориальный заповедник — музей-усадьбу «Ясная Поляна»¹. В обществе возникло и крепнет отрицательное отношение к музейным запасникам, появились призывы продавать на аукционах ценности, хранящиеся в них якобы «мертвым грузом». В статье «Даже в самые трудные времена непозволительно торговать музейными ценностями» академик Д.С.Лихачев пишет: «Странно, что в наши дни приходится убеждать многих: музеи, архивы, библиотеки созданы не для сиюминутных нужд. А вечность — это прежде всего стабильность, сохранность, традиционность, незыблемость»².

«Антимузейная» кампания, развернутая в печати то ли по недомыслию ее участников, то ли по заказу влиятельных экстремистских «центров», не встречает пока отпора ни со стороны органов власти, ни со стороны общественных движений. Сотрудникам Толстовских музеев приходится жить и действовать сегодня по мудрому завету великого писателя: «Делай что должно и пусть будет — что будет».

Надо помнить о замечательных афоризмах Толстого, определяющих главные принципы его философии: «Жизнь есть движение»; «Жизнь человека есть движение»; «Все объяснение. Человек сам непрестанно движется и потому все ему объясняется только движением». И еще: «Самое краткое выражение смысла жизни такое: мир движется, совершенствуется; задача человека участвовать в этом движении и подчиняться и содействовать ему» (53,193)*. Итак — участвовать, и не только подчиняться, но и содействовать.

Называя философию «наукой жизни», Толстой стремился определить ее законы, которые бы помогали людям в искании истины.

* Здесь и далее так обозначаются том и страница Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого в 90 томах (Юбилейного). *Ред.*

«Достоверность знания как получить? — спрашивает Толстой и дает такой ответ: — Всегда говорят: разум? Но разум у каждого свой. Нужен авторитет: откровение, закрепление чудом. Какой ужасный вздор. И какой софизм! Предполагается, что нужно иметь истину такую, в которой все были бы согласны. Но такой истины, в которой все бы были согласны, нет, не от того, что нет истины, но оттого, что не все согласны». (*Дневник 1889 года*). (Курсив мой — К.Л.).

К этим мыслям Толстой добавил вывод, который звучит как непреложный закон, как императив его философии: «Ведь бедствия людей происходят от разъединения. Разъединение происходит же оттого, что люди следуют не истине, которая одна, а лжам, которых много. *Единственное средство соединения людей воедино есть соединение в истине.* И потому, чем искреннее люди стремятся к истине, тем ближе они к этому соединению». (28,270-271). (Курсив мой — К.Л.).

Толстого, как мы видим, не смущало ни инакомыслие, ни разномыслие, ни самые острые споры людей по идеологическим вопросам. Но не смущало только тогда, как они возникали при стремлении «спорщиков» *найти истину*.

Этим принципам толстовского отношения к разным точкам зрения, к различным мнениям людей, а также толстовскому умению найти в спорах что-то рациональное, разумное — вот чему нам надо прилежно учиться.

Это тем более необходимо, что в последние годы мы получили возможность познакомиться с тем разделом «Толстовианы», который много десятилетий являлся для нас запретным и закрытым. Я имею в виду работы о Толстом Николая Бердяева, Дмитрия Мережковского, Николая Минского, Василия Розанова, Владимира Набокова и других — такого же ряда и ранга авторов. Их сочинения широко распространяются на нашем книжном рынке и стали заметным фактом, требующим от литературоведов и критиков несуетного, серьезного осмысления и объективной оценки.

В другом ряду новых явлений русской зарубежной «Толстовианы» находятся суждения о Толстом таких видных писателей, как Иван Бунин, Александр Солженицын. Книга И.А.Бунина «Освобождение Толстого» представляет собой блестяще написанный литературный портрет Толстого, а также оригинальную попытку нетрадиционно осветить последний период жизни великого писателя. Среди многочисленных художественных и публицистических работ А.И.Солженицына, уже опубликованных за рубежом, у нас пока не появилось ни книги, ни статьи его о Толстом, но есть немало суждений писателя, которые заслуживают осмысления и оценки толстоведами. Например, Солженицыну кажется, что Толстой, как автор «Войны и мира», погрешил против православия. В чем же? Да в том, например, что героиня романа Наташа Ростова показана как неполная христианка, или как одна из них, а вот другим христианам, в частности масонам, Толстой в своем романе счел возможным уделить большое внимание. В подобных замечаниях есть и критика Толстого и вопрос, обращенный к нам — толстоведам. Смысл этого вопроса сводится, как нам кажется,

к новой оценке религиозных взглядов Толстого и их отражения в его художественном творчестве.

В обстановке радикальных перемен, происходящих в нашем обществе, участвуя в процессах его дальнейшей демократизации и гуманизации, наша наука о литературе не может не подвергнуть пересмотру прежние свои подходы к изучению таких тем, как «Христианская религия и русская культура», «Христианство и русская классика», «Пушкин и христианство», «Провославие и Достоевский», «Провославная церковь и Лев Толстой».

Историки и теоретики литературы, философы и религиоведы стремятся обосновать необходимость особого направления в гуманитарных науках для глубокой разработки указанной тематики. Хотелось бы предостеречь от слишком поспешного и прямолинейного подхода к ее трактовке. Один пример.

В ноябре 1991 года «Литературная газета» напечатала статью «Где искать бесов? Сегодняшние размышления о Достоевском» (К 170-летию со дня рождения писателя). В ней настойчиво развивается мысль о том, что «основной ствол русской классической литературы» «питается христианскими корнями» и что «...чем меньше внимания к христианской проблематике в отечественной классике, тем очевиднее опасность исчезновения из поля зрения ученого целых пластов художественной мысли и вольного и невольного смещения ее смысловой иерархии»³. Что можно сказать по этому поводу?

Не подлежит сомнению, что христианская тематика и проблематика занимают значительное место в русской классической литературе. Однако из этого вовсе не вытекает, что все русские писатели-классики были сторонниками канонизированного официальной церковью православия. Достаточно назвать имена Пушкина и Лермонтова, Белинского и Щедрина, Льва Толстого и Чехова, находившихся в весьма сложных отношениях с официальной церковью.

Кто же в нашей стране, да и во всем мире не знает, что Лев Толстой был объявлен церковными ортодоксами вероотступником за что и «отпал» (то есть был отлучен) от православной церкви. Они метали на голову всемирно прославленного писателя грома небесные, в своих молитвах просили Бога сурово его покарать.

Как это ни прискорбно, но и в наши дни находятся сторонники духовной расправы Святейшего синода с писателем. Столичный журнал «Москва» в номере 8 за 1991 год напечатал в рубрике «Из почты «Москвы»» послание «Не терпит Бог людской гордыни...», в котором злобно осуждается «враг рода человеческого», «лжепророк» Лев Николаевич Толстой. Автор этого послания приводит с суровой грубостью осуждающие Толстого тексты речей «великого оптинского старца Варсонофия» и «святого праведного отца Иоанна Кронштадтского» и вслед за ними называет писателя «лжепророком» и «врагом рода человеческого»⁴.

Поскольку автор публикации полностью присоединился к нападкам «отцов церкви» на Толстого, а редакция журнала ни одним словом не обмолвилась, чтобы выразить к ним свое отношение, приведем несколько выдержек из «Ответа на определение Сино-

да», написанного Толстым в феврале 1901 года⁵.

Толстой так охарактеризовал этот зловещий, пропитанный духом средневекового экстремизма и человеконенавистничества документ: «Оно есть... подстрекательство к дурным чувствам и поступкам, так как вызвало, как и должно было ожидать, в людях непросвещенных и нерассуждающих озлобление и ненависть ко мне, доходящие до угроз убийства и высказываемые в получасовых мною письмах». Толстой в «Ответе Синоду» приводит устрашающие примеры из таких писем. Вот они: «Теперь ты предан анафеме и пойдешь по смерти в вечное мучение и издохнешь как собака... анафема ты, старый чорт... проклят будь», — пишет один. Другой делает упреки правительству за то, что я не заключен еще в монастырь, и наполняет письмо ругательствами. Третий пишет: «Если правительство не уберет тебя — мы сами заставим тебя замолчать». Письмо кончается проклятиями. «Чтобы уничтожить прохвоста тебя, — пишет четвертый, — у меня найдутся средства...». Следуют неприличные ругательства.

В день появления в печати постановления Синода о Толстом писатель шел с одним из знакомых по Лубянской площади и услышал голоса из мрачно стоявшей толпы: «Вот дьявол в образе человека». Толстой пишет, что если б толпа была «иначе составлена», то он был бы избит, как когда-то фанатики избили человека «у Пантелеймоновской часовни» (34,245-253).

Передовые люди России и многих других стран в то трудное для писателя время стремились выразить ему сочувствие и осуждали его гонителей. Рабочие Мальцевского стекольного завода писали тогда Толстому: «Вы разделили участь многих великих людей, идущих впереди своего века, глубокочтимый Лев Николаевич! И раньше их жгли на кострах, гноили в тюрьмах и ссылке. Пусть отлучают Вас как хотят и от чего хотят фарисеи-«первосвященники». Русские люди всегда будут гордиться, считая Вас своим, великим, дорогим, любимым».

Слова эти начертаны на большом пресс-папье из зеленого стекла, которое рабочие изготовили в подарок писателю.

По воспоминаниям С.А.Толстой, решение Синода вызвало «негодование в обществе, недоумение и недовольство среди народа. Льву Николаевичу три дня подряд делали овации, приносили корзины с живыми цветами, посылали телеграммы, письма, адреса»⁶.

К недавней публикации в журнале «Москва» документов девяностолетней давности об отношении церковников к Толстому можно отнести как к единичному и странному казусу. Но можно увидеть в ней и своего рода «сигнал» к новым гонениям на «графа и помещика» Л.Н.Толстого (прямой призыв к ним смотри в журнале «Ясная Поляна», 1991, № 1). Как ответить на эти «сигналы» и «призывы»?

Не пришла ли пора составить «черную книгу» документов о преследованиях Толстого при его жизни и после его смерти, включая в нее и антитолстовские высказывания современных «фанатов». Пусть читающий мир снова увидит, как благородно, твердо, мужественно переносил великий писатель эти гонения на

него, какой пример разумного, гуманного отношения к инакомыслию показывал он своим и нашим современникам.

Как и у каждой гуманитарной науки, у толстоведения есть задачи тактические, имеющие важное, но все же преходящее значение и есть задачи фундаментальные по своему объему и значению, стратегические по своим целям. От их решения, главным образом, зависит авторитет науки и в настоящее, и в будущие времена.

К таким задачам принадлежат те, что трудно, а порой и невозможно решить «раз и навсегда». Но тем не менее поиски решения, как мы уже говорили выше, — по мысли Толстого — приближают нас к истине.

Из всех разделов громадного наследия Толстого менее других исследовано его религиозно-нравственное учение. Наступила пора глубоко и непредвзято, что называется открытыми глазами перечитать все религиозно-философские статьи и трактаты Толстого, подвергнуть анализу его суждения о Боге, о вере, о Христе, библии и евангелиях и на основе абсолютно-объективного их прочтения определить место религиозно-философского учения Толстого в истории мировых религий. Конечно — это тема прежде всего для историков религиозных учений, религиоведов, но и для нас, «чистых толстоведов», она представляет первостепенный интерес. Толстоведы пытались ею заниматься, но даже в их лучших работах о религии Толстого не все обстоит благополучно. Говоря это, я подчеркиваю *«в лучших работах»*.

Во всей «Толстовиане» советского периода трудно найти основательную, написанную в строго научном, исследовательском ключе монографию об эволюции религиозных воззрений Толстого, о его вероучении. Из книги в книгу, из статьи в статью повторялась негативная ленинская оценка религии писателя, которая обычно не комментировалась, если не считать привлечения более или менее «подходящих» к этой оценке цитат из трудов Толстого с религиозной проблематикой.

В начале 60-х годов появилась в толстовском томе «Литературного наследства» обширная работа доктора философии, профессора В.Ф.Асмуса «Мировоззрение Толстого», а также — несколько раньше — его вступительная статья к 23 тому 90-томного полного издания сочинений писателя, написанная в 1957 году. Называлась эта статья «Религиозно-философские трактаты Л.Н.Толстого».

Основной раздел труда, опубликованного в «Литературном наследстве», назван «Главные тенденции религии Толстого. Сведение религии к этике». Здесь сформулирована главная идея, утверждаемая автором: «По мысли Толстого, — писал В.Ф.Асмус, — христианство, как и всякое религиозное учение, включает в себе две стороны: 1) учение о жизни людей — о том, как надо жить каждому отдельно и всем вместе — учение *этическое* и 2) объяснение, почему людям надо жить именно так, а не иначе, — *метафизическое учение*».

Эти две стороны — «этическая» и, по терминологии Толстого, «метафизическая» — могут быть найдены, как полагал писатель,

во всех религиях мира. Такова религия браминов, Конфуция, Будды, Моисея, такова же и христианская религия: «Она учит жизни, и дает объяснение, почему именно так надо жить» (23,437)¹.

Однако их «историческое изучение», — говорит Асмус, — показало Толстому, что «все религии, развив двойственное — «этически-метафизическое» содержание своих учений, подверглись со временем перерождению. По свойственной им слабости люди отступили от «этического» учения религии...». Отбросив этические требования религии, объявив их необязательными, церковники, и не только они, добивались, чтобы эти требования «заменялись чисто внешним богопочитанием — обрядами».

В сущности, — заключает Асмус, — весь смысл толстовского учения сводится к «сведению религии к этике». Эта мысль крупного философа о подмене Толстым религии этикой нашла широкое распространение в нашей науке. Заметим, что до Асмуса такую подмену совершил в книге «Христианская этика. Систематические очерки мировоззрения Л.Н. Толстого» бывший секретарь писателя В.Ф. Булгаков. Книга эта вышла в свет в 1917 году, а затем в 1919 году с давним письмом Л.Н. Толстого ее составителю. Она состоит из тщательно подобранных текстов писателя, анализ которых дает повод думать, что этика Толстого в своей основе имеет религиозный характер, а его религия — от начала и до конца — этицирована.

Время не подтвердило вывода Булгакова и Асмуса о «сведении» религии Толстого к его этике. Это два значительных и не только в историческом, но и в живом, современном плане — самостоятельных раздела толстовского наследия, пусть между собой тесно связанных.

Не развивая этой мысли дальше, скажу лишь, что «Религия Толстого» и «Этика Толстого» — две темы сегодняшнего и завтрашнего дня нашей литературной науки.

В зарубежной «Толстовиане», видными представителями которой были русские писатели и философы, значительное место заняла также одна из кардинальных тем нашей науки — «Толстой и русская революция». Лишь в нынешнем году нашим читателям стали доступными посвященные этой теме статьи Д.С. Мережковского «Лев Толстой и революция». (Она напечатана в книге того же автора «В тихом омуте» М., 1991 г.), Н.А. Бердяева «Духи русской революции», третья глава которой называется «Лев Толстой в русской революции» (в книге «Из глубины. Сборник статей о русской революции», М., 1991 г.), а также суждения о Толстом и его отношении к революционному движению В.В. Розанова (они «рассыпаны» в его книге «О себе и жизни своей», М., 1990 г.).

Статья Мережковского датирована 1908 годом, статья Бердяева вошла в сборник, впервые изданный в 1918 году. Суждения Розанова о Толстом имеют разновременный характер. Мережковский писал статью в годы, следовавшие за поражением первой русской народной революции, а Бердяев — после победы Октябрьской революции. И тот и другой авторы подчеркивали величайшее значение Толстого, связывая его имя с таким грандиозным

событием в жизни нашего народа, как русская революция на разных этапах ее развития.

Статья Мережковского совпадает по времени написания со статьей В.И. Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции», а статья Бердяева появилась семью годами позднее ленинской работы «Л.Н. Толстой и его эпоха», датируемой 1911 годом.

Перед нами — три взгляда на одну проблему, выраженные писателем и публицистом (Д.С. Мережковский), философом и публицистом (Н.А. Бердяев) и социальным мыслителем, политологом и вождем русской революции (В.И. Ленин). Какое богатство идей, суждений, оценок, характеристик! Какое поле для сопоставительных анализов, для размышлений, для поисков истины в борьбе мнений, вызванной различиями в характеристике и оценке столь сложного, противоречивого явления русской и мировой литературы — и шире — всечеловеческой культуры, которое обозначено именем Льва Толстого.

Привлечь внимание читателей к суждениям о Толстом указанных авторов необходимо не только потому, что они сами по себе очень интересны, но и потому, что нельзя пройти мимо них, когда мы глазами, свободными от идеологических шор, посмотрим на все то, что у нас говорилось и писалось о Толстом в советское время.

Из нового отношения к «старым» темам возникает такое число проблем и вопросов, что их постановка и обсуждение могут открыть новый этап в развитии науки о Толстом.

В одной статье невозможно перечислить все новые, подсказанные временем темы и, тем более, раскрыть их содержание. Все что можно в ней сделать — это назвать несколько тем, привлекающих своей масштабностью, несомненной новизной, значительностью, увлеченностью занимающихся ими исследователей.

Доктор филологии В.Я. Лакшин назвал тему ««Философия жизни» по Толстому и ее современное восприятие»⁸. Журналист Э. Ефремов заинтересовался темой «Философия земледелия — по Толстому»⁹. Писатель Тимур Пулатов в своих «Размышлениях публициста» выдвинул тему «Толстой, Ганди, Лютер Кинг, Сахаров»¹⁰. Академик Н. Симонов в статье «Мозг, душа и сознание» обозначил тему «Толстовские «нормы» в учении о человеке»¹¹.

Обращает на себя внимание, что темы эти выдвинуты людьми самых разных профессий, среди которых не все филологи. Крепко «привязан» к толстоведению известный врач, работающий в поликлинике Литфонда СССР, Б.С. Сवादковский. Он опубликовал серию статей и очерков на тему «Толстой и медицина». Сейчас им подготовлена публикация о переписке семейного врача Толстых профессора В.С. Снегирева и Софьи Андреевны Толстой. Этот материал бесценный по своему значению. Он вносит много нового в наше представление не только об отношении Толстого к медицине, но и обо всем, что случилось с ним в последний год его жизни.

В недавнем прошлом издательский редактор, кандидат наук С.А. Розанова подготовила к печати текст книги А.Л. Толстой «Дочь» и написала к ней обширное предисловие, являющееся

первым жизнеописанием младшей дочери писателя. Можно назвать и другие имена и примеры. Но и сказанного достаточно, чтобы увидеть, что наша «Толстовиана» живет и развивается.

В последние несколько лет в Институте мировой литературы Академии наук специальная группа сотрудников занята подготовкой первого академического издания Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого. Проспект его состоит из 100 томов, 120 книг. Оно послужит эталоном для всех последующих изданий Толстого и явится мощным стимулом для дальнейшего развития отечественного и международного толстоведения. Все, кто к нему причастен, с верой и надеждой смотрят на его будущее.

Несколько слов о международных связях нашего отечественного толстоведения. Они значительно выросли за последние годы, что связано с ростом интереса иностранных ученых к жизни и творчеству великого русского писателя. Автор кандидатской диссертации об американском современном толстоведении Е.С.Серых пишет: «Прошедшее десятилетие ознаменовалось в славистике США появлением целого ряда научных публикаций, посвященных русскому писателю: вышли в свет многочисленные монографии, эссе, доклады, которые пока не стали предметом обсуждения в отечественной науке о Толстом»¹².

Такое обсуждение может и должно состояться уже по одному тому, что «толстовский мост» играет сегодня значительную роль в поисках «общего языка двух культур — русской и американской». Этой цели служит создаваемый русскими и американцами толстооведами коллективный многолетний труд «Лев Толстой и США». Нет сомнений в том, что он явится крупным событием в культурной жизни народов не только наших, но и всех тех стран, где чтут и изучают Толстого. Этот труд станет эталоном для целой серии трудов о роли Толстого в современном мире.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: журнал «Ясная Поляна». 1991. №1.
2. Известия. 1991. 5 ноября. №264. С.8.
3. Тарасов Б. Где искать бесов? Сегодняшние размышления о Достоевском // Литературная газета. 1991. 13 ноября. С.11.
4. Москва. 1991. № 8. С.207.
5. Его полное заглавие «Ответ на определение Синода от 20-22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма» (34,245).
6. Дневники С.А. Толстой. 1897-1909. М., 1932. С.144.
7. Литературное наследство. Т.69: Л.Н. Толстой. М., 1961. Кн.1. С.68. (Курсив В.Ф.Асмуса).
8. Вопросы литературы. 1988. №5. С.104-117.
9. Советская культура. 1990. 22 сентября.
10. Правда. 1990. 6 сентября.
11. Известия. 1989. 30 апреля.
12. Серых Е.С. Основные направления анализа творчества Л.Н. Толстого в современном американском литературоведении: Автореферат кандидатской диссертации. М., 1990. С.1

Ким Рехо

ЛИРО-ЭПИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ В ТВОРЧЕСТВЕ Л.Н. ТОЛСТОГО

Толстой — несравненный эпик. Мы настолько привыкли к этому определению свойства таланта русского писателя, что порой не обращаем должного внимания на другие поэтические компоненты, составляющие единство и целостность его произведений. Их художественные особенности рассматриваются обычно в плане органического слияния тончайшего психологического анализа — «диалектики души» — с масштабным эпическим повествованием, что действительно было новым словом в литературе.

Между тем уже в повести «Казак» (1862г.), определившей во многом стиль Толстого, особенности его художественного мышления, проступают черты, характерные для всего творчества писателя, — слияние лирического и эпического в повествовании. Лирическое у Толстого — определяющий структуру произведения поэтический элемент. Преобладание лирического начала в «Казаках» настолько очевидно, что Ромен Роллан назвал повесть «лучшим из лирических романов»¹.

Но существуют и другие мнения. Восхищаясь мастерством эпического повествования писателя, Я. Полонский, например, в статье «По поводу повести графа Л.Н. Толстого “Казак” (1863г.)» утверждал, что наличие лирических элементов в повести как раз и нарушает ее художественную целостность, «разбивает, двойит внимание читателя».

«Казак», несомненно, сочетает в себе изображение действительности, присущее и эпосу и лирике: срастаясь друг с другом, они образуют оригинальное художественное единство. Но как раз эти стилистические особенности повести вызвали споры сразу же после ее появления.

Вопрос о том, как Толстой достигает гармонического целого, сливая воедино раздельно существующие поэтические элементы, имеет существенное значение: решение его во многом прояснит толстовский прием поэтического преобразования жизненного материала, склонность писателя иногда видеть объективный мир субъективно. Попытаемся рассмотреть эти особенности художественного мастерства Толстого на примере повести «Казак».

Как известно, «Казак» писался долго — в течение десяти лет. Многочисленные варианты, дошедшие до нас, раскрывают творческую лабораторию писателя, процесс художественного созревания повести.

По дневниковой записи Толстого от 3 декабря 1853 года можно предположить, что писатель задумывает «Казак» как «казацкую поэму». И действительно, первые варианты повести он пытается писать стихами, затем ритмической прозой. В 1857 году, уже работая над «Казак» в прозе, он снова берется за другой вариант — повести в стихах. Сам материал — вольная жизнь казаков среди величественной и поэтической кавказской природы, настраивает писателя на лирический лад, наталкивает его на стихотворную форму. Мучительно и долго ищет Толстой верный «тон» повествования, подсказываемый новой поэтической сферой: «Какая-то кутерьма происходит в голове все с большей силой», — пишет Толстой в письме П.В. Анненкову (апрель 1857 г.), но уже «копошится в этом хаосе смутное правило», по которому, как кажется, выберет он необходимый «тон» — «субъективную поэзию искренности» или «пустится в необъятную и твердую положительную и объективную сферу».

Из того же письма мы узнаем, что «субъективная поэзия искренности», взятая сама по себе, не устраивает Толстого: она, по его признанию, «не идет ни к задаче, ни к тому настроению», в котором находится писатель. Но в то же время, опустившись в «объективную сферу», Толстой, по его словам, «ошалел от «обилия предметов» и от «разнообразия тонов», в которых можно выявлять «эти предметы». Писатель еще колеблется, «не зная, что выбрать или как слить, или должен он все бросить» (60, 182).

Продолжительная работа Толстого над «Казак» свидетельствует о том, что его поиски верных «тонов» велись в направлении именно слияния «субъективной поэзии» с «объективной сферой» и подказанной ею эпической формой повествования. Не предпочтение одного из двух поэтических родов — лирики или эпоса — определяет направление творческого поиска Толстого, а их художественное единство. Верный «тон» — это, несомненно, то своеобразие художественного стиля писателя, когда лирическое и эпическое идут не рука об руку, а составляют единый сплав, без чего повесть рассыплется на части, разрушится ее поэтическая основа.

Как осуществляется этот лиро-эпический синтез в повести «Казак», какими приемами пользуется автор?

«Казак», как известно, задуман и писался как продолжение первых автобиографических повестей Толстого. Из знакомой, досконально изученной пытливым мальчиком, а затем подростком обстановки светских гостиных и барских особняков с установившимися, казалось бы, на всю жизнь отношениями между крестьянами и помещиками, новый герой Толстого — Оленин — попадает в совершенно другой мир с иными ценностями, а, следовательно, и отношениями между людьми. И она, эта новая поэтическая сфера, казалось заставила героя посторониться, заняла чуть ли не главенствующее место в повести. Не случайно

Я. Полонский в уже цитированной статье заметил, что, читая эпизоды из жизни казаков, «забываешь и Оленина, и все остальные части».

Но герой вовсе не затерялся в этом великолепно воссозданном мире гребенских казаков. Казачья станица с немудреными, но правильными, с точки зрения героя, установлениями, своеобразным укладом, которые диктовала сама жизнь, и сами люди — все видится глазами Оленина. Через его душу пропущен весь «кавказский материал». Нельзя, конечно, согласиться с мнением, что рассказ о казаках дан независимо от рассказа об Оленине. Ни природа Кавказа, ни казачья станица не существуют сами по себе: эпическое повествование сливается с лирическим исповеданием героя, пытавшегося разобраться в себе, в людях, в окружающем мире.

Лиризм повести усиливается и легендами и песнями, включенными в нее, внутренними монологами Оленина, его письмом, которое можно рассматривать как взволнованную исповедь, поэтизацией образов гребенских казаков и их вольной жизни в полном согласии «с простейшими законами природы», в гармоническом единении с ней («Что за жизнь, что за люди!»). Сама же повествовательная манера Толстого реалистична. Ей чужда иррациональность. Все, о чем бы ни рассказывал автор, предельно правдиво и убедительно: передает ли он душевное состояние персонажей, повествует ли о жизни гребенского казачества. При этом он обращается к различным формам и приемам выразительности. Сравните, например, как, какими приемами, передает автор внутреннее состояние Оленина в момент отъезда из Москвы и из казачьей станицы, при встрече с горами Кавказа, на охоте, в обращении с другими героями повести, как он описывает природу Кавказа и как повествует о жизни и быте казаков. Но стилевое разнообразие повести не нарушает ее целостности.

Цельность художественного произведения создается не стилистическим единообразием, а единством «самобытного нравственного отношения автора к предмету». (30,19).

Для Толстого главным стимулом творческой работы были его напряженные духовные искания. Писатель ведет повествование очень лично. За Олениным, наблюдающим жизнь станицы и стремящимся слиться с ней, мы чувствуем внимательный и в то же время взволнованный взгляд самого автора. Такое впечатление, что автор достигает полноты изображения внутреннего состояния Оленина, его мироощущения потому, что досконально, дотошно пытается проанализировать свой собственный душевный мир и свои связи с окружающей жизнью, пытается найти ответ на вечный вопрос: «Как же надо жить, чтобы быть счастливым... Какие желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия — Какие? Любовь, самоотвержение?» (3,244-245).

Примечательно, что на эту особенность Толстого и его героев — неустанные поиски истины — указывает еще в 1890 году Токутоми Рока. В статье «Звезда русской литературы — Толстой» японский писатель и критик пишет, что Толстой подобен героям своих собственных произведений — Оленину из «Казаков», Пьеру

Безухову из «Войны и мира», Левину из «Анны Карениной», которые неустанно ищут смысл человеческого существования².

Сопоставляя варианты рукописи «Казаков», А.В. Чичерин заметил, что ту же слитность автора и героя чувствовал и сам Толстой и пытался в процессе работы сделать повествование более эпическим: «...в рукописи происходит борьба между повествованием от лица героя и от автора: "Нынешний вечер, возвращаясь домой с Лукашкой в сумерках по прелестному здешнему лесу, мне кажется (зачеркнуто и написано: ему казалось), что мы оба были (зачеркнуто, написано: он) влюблены друг в друга (зачеркнуто, написано: влюблен в Лукашку)"»³.

Толстой как бы приостанавливает лирический поток чувств и мыслей Оленина, добиваясь объективности: повествование ведется от автора. Но в то же время мы находим здесь примеры, когда писатель переходит в третьем лице к прямой речи героя, никак не отделяя одно от другого. Такова сцена Оленина в пути и его переживания, когда он «почувствовал горы»: «...теперь началось, — как будто сказал ему какой-то торжественный голос... Взглянет на небо — и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу и опять горы... За Теремом виден дым в ауле, а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят, красивые женщины, молодые; а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье, и сила и молодость; а горы...».

Толстой начинает повествование в эпическом тоне — от автора, но «объективный» тон не выдержан до конца, он переходит к прямой речи героя. Чувство высказывается непосредственно, на языке лирической выразительности, а не через эпическое следование событиям. И все это в одном абзаце. Авторское повествование неразрывно сплетается с лирическим монологом героя.

Таким образом, в образной системе «Казаков» повествование от автора переплетается с прямой речью героя. Из объекта повествования Оленин превращается в повествующего субъекта. Это, конечно, противоречило поэтическим нормам XIX века, согласно которым в эпическом произведении рассказчик (автор) должен быть «чужд действующим лицам»⁴. Может быть, этим объясняется, в частности, почему Оленин казался современной писателю критике персонажем лишним, «портящим общее великолепное впечатление»⁵.

Но такая манера повествования становится нормой для прозы XX века. Во внутреннем монологе, в котором имитируется эмоционально-мыслительная деятельность героя в ее непосредственном протекании («поток сознания») современные авторы употребляют «прерывистые незаконченные фразы, внешне не связанные друг с другом синтаксические конструкции»⁶.

Рассмотрим еще один пример. Исследователями особо отмечается лиризм двадцатой главы «Казаков», в которой теряются, размываются границы между словами автора и словами героя: одинаково взволнованны и повествование от автора и внутренний монолог героя.

«Ему вдруг с особой ясностью пришло в голову, что вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное от всех существо, лежу теперь

один, Бог знает где, в том месте, где жил олень, старый олень, красивый, никогда, может быть, не видавший человека, и в таком месте, в котором никогда, никто из людей не сидел и того не думал». «Сижу, а вокруг меня стоят молодые и старые деревья, и одно из них обвито плетями дикого винограда: вокруг меня копошатся фазаны, выгоняя друг друга, и чувю, может быть, убитых братьев».

Почти вся двадцатая глава воспринимается читателем как единый взволнованный монолог Оленина. Такое описание очень сближает повесть Толстого с лирической прозой XX века, где взволнованность и поэтичность повествования достигаются путем переосмысления роли повествователя: в «Особняке» Фолкнера, например, как показывает В. Днепров, первое лицо комбинируется с третьим. Такое изображение «имеет в виду достигнуть объективности и полноты изображения, не игнорируя субъективных восприятий реальности, а соединяя их в некий совокупный и многосторонний образ»⁷.

Главки «Казakov» с четвертой по девятую, повествующие об истории и быте гребенской станицы — наиболее эпические. Как взаимодействуют здесь эпос и лирика?

По стилю четвертая глава отличается не только от трех предыдущих, но и от всех последующих. От лирических излияний Оленина, изумленного величием и красотой кавказских гор, Толстой переходит к спокойному описанию местности, где проживают гребенские казаки. Эпические средства изображения дают автору возможность многостороннего изображения картин жизни, событий и быта гребенских казаков, куда судьба привела Оленина. Толстому тесно в повести, которая вознамерилась быть только лирикой, ему не хватает объективной сферы жизни. Не случайно в процессе работы над «Казакaми» Толстой обращается к «Илиаде» Гомера.

Небольшая по объему четвертая глава дает чрезвычайно важную информацию, необходимую для понимания взаимоотношений Оленина и гребенских казаков. Благодаря ей нам не трудно понять, почему так враждебно встретила Оленина старая казачка: «Насмеяться хочешь? А? Скобленое твоё рыло. Табачищем дом загадишь». Она не знает ещё, курит ли этот вежливо обратившийся к ней молодой человек, для неё не имело никакого значения, что у Оленина «вместо бритых скул» «были молодые усы и борода», которые он отратил за три месяца жизни на Кавказе. И как далеко от читателя отодвинут был бы герой, если бы не было четвертой главы, и автору пришлось бы пояснять почти каждую сцену станичной жизни, взаимоотношения казаков и солдат, влияние России на жизнь казаков, которое «выражается только с невыгодной стороны: стеснением в выборах, снятием колоколов и войсками, которые стояли и проходят там. Казак, по влечению, менее ненавидит джигита, горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защитить его станицу, но который закурил табаком его хату».

Эта предельно концентрированная глава освобождает автора от излишних подробностей, могущих отвлечь читательское внимание

от главного — изображения внутренней жизни героя, стремящегося понять этот новый для него мир, понять что происходит с ним самим. Повествование об истории гребенских казаков не выделено как особая тема, оно включается в общий круг жизненных отношений, усиливает общую тональность повествования.

Конечно, непосредственное описание исторического прошлого и настоящего гребенских казаков и само по себе имело бы значение, но в таком случае произведение было бы не толстовским: эпос, отгороженный от лирики, не удовлетворяет писателя. Не случайно Толстой неоднократно возвращается к рукописи и редактирует прежние варианты о казачьей станице.

В последней редакции эпическое повествование о гребенских казаках предварено лирическим рассказом об Оленине, о завораживающей красоте кавказских гор. Вместе с героем мы погружаемся здесь в особое состояние лирической зачарованности. И, как бы желая не нарушить этот поэтический настрой, Толстой, переходя от лирического повествования к эпическому, предельно сужает исторический материал. Его мало интересуют подробности быта. Историческое время предельно сжато и лаконично, благодаря чему не рассеивается читательское впечатление от лирического рассказа об Оленине в пути.

Лиризм главы, предваряющей описание станицы, не утоплен в «исследовательском» очерке исторического прошлого гребенских казаков. Это достигается не только «уплотнением» историко-этнографического материала, но и путем поэтизации казачьей станицы. Толстой и здесь не холодный бытописатель. Воспроизведя внешнюю действительность в ее объективной сущности, Толстой-эпик остается лириком.

Поэтическая картина станицы встает в цвете, в ее природном очаровании: «Перед светлыми большими окнами многих домов, за огородами, поднимаются выше хат темно-зеленые раины, нежные светло-лиственные акации с белыми душистыми цветами, и тут же нагло блестящие желтые подсолнухи и вьющиеся лозы травянок и винограда». И не только краски, но и запахи придают восприятию удивительную осязаемость: «По всему воздуху разлит запах овоща, скотины и душистого дыма кизняка».

Краски и запахи не только показывают, как выглядит станица, они говорят и об отношении автора к изображаемому предмету. Толстой поэтизирует жизненный уклад народа, не порвавшего живых связей с природой и трудом и гордого сознанием того, что жили вольно, никакому царю не служили. Все детали картин жизни станицы овеяны поэзией. Эти главки, как справедливо замечает Б. Бурсов, «целая поэма из жизни гребенских казаков»⁸.

Функция природы в «Казаках» особая. Природа и люди представляют нераздельное целое. Именно близостью к природе, к ежедневному труду отличаются гребенские женщины с их красотой и самостоятельностью. В толстовском ощущении и видении природы, несомненно, просматривается руссоистское ее понимание: облагораживающее человека слияние с природой. Без природы, собственно, не было бы и самого Оленина, его духовного возрождения — главной темы повести. Для Оленина все началось

с той минуты, когда он в пути на Кавказ увидел и почувствовал «строгий величавый характер гор», «всю бесконечность этой красоты». Но описание природы ради описания кажется Толстому бессмысленным.

Толстого интересует не описание картин природы, увиденной в определенный момент, не снимок с натуры. Так в упомянутой сцене Оленина в пути он не только «видит» горы, он «почувствовал» горы, т.е. горы стали частью его мирозерцания: «Горы, горы, горы чуялись во всем, что он думал и чувствовал». Повествование и описание погружаются в лирический поток, читатель непосредственно входит в мир героя. «Описания тогда хороши и действуют на читателя, — писал Л.Н.Толстой, — когда читатель сливается душой с описываемым, а это бывает тогда, когда описываемые впечатления и чувства читающий может перенести на себя»⁹.

Действительно, описание гор в дорожном пейзаже — интродукции — занимает ничтожно малое место, и тем не менее оно вводит читателя в особое состояние лирической зачарованности. Образ снежных гор, становясь неким символом, сопутствует ему на протяжении всей повести. Это достигается тем, что Толстой не описывает природу, ее внешнюю красоту, а стремится «перелить в другого свой взгляд при виде природы».

Сравним, как описаны две летние ночи на Кавказе, одинаково темные, тихие, теплые. Счастливым Оленин поздно ночью вышел из хаты Белецкого вслед за Марьяной: «Месяц, золотясь, спускается к степи. Серебристый туман стоял над станицей. Все было тихо, огней нигде не было; только слышались шаги удалявшихся женщин. Сердце Оленина билось сильно».

И вот совершенно иная, тревожная ночь, хотя тоже «темная, теплая и безветренная», когда Лукашка стоит в дозоре. «Черная туча», которая заволокла большую часть неба, и «глянцевитая движущаяся масса коричнево-вой воды» Терека. «И вода, и берег, и туча — все сливалось в непроницаемый мрак». И звуки — привычные и неожиданные, как, например, полет совы, которая, пролетая вдоль по Тереку, ровно задевала крылом о крыло через каждые два взмаха, а «подлетая к дереву, не через раз, а уже с каждым взмахом задевала крылом о крыло... При всяком таком неожиданном звуке слух неспавшего казака усиленно напрягался, глаза щурились, и он неторопливо ощупывал винтовку». Но уже близится рассвет и конец дежурства Лукашки. Он только выжидает время будить казаков. Напряжение спало. И Лукашка уже перестал думать о чеченцах, лишь изредка поглядывая на реку и дальний берег, «слабо отделявшийся от воды при робком свете месяца». И уже другое настроение передается в описании другого пейзажа все той же ночи:

«Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих разорванных краев открыла чистое звездное небо, и перевернутый золотистый рог месяца красно засветился над горами. Стало прохватывать холодом. Лукашка соскучился, достал ножик из-под кинжала и стал строгать палочку на шомпол».

Описание ночи дается не от лица героя, но его глазами видим

мы происходящее в ночи, переживаем с ним его тревоги или радости. Пейзаж постоянно меняет свои очертания, соответственно внутренней динамике чувств и мыслей героя. Между его душевной жизнью и природой тесная, действенная связь. У Толстого природа не только пейзаж, но и психологическое состояние героя. Хочется обратить внимание на синтаксис Толстого в приведенных выше примерах. Абзацы, в которых дается описание ночи, заканчиваются предложениями, передающими состояние героя — «Сердце Оленина билось сильно»; «При каждом таком неожиданном звуке слух неспавшего казака усиленно напрягался, глаза щурились, и он неторопливо ощупывал винтовку».

Такое построение абзаца заставляет читателя как бы заново увидеть картину ночи и пережить ее вместе с героем.

Точность передачи внутреннего состояния героя, переживающего природу, сочетается у Толстого с точностью изображения самой природы. Удивляет и восхищает наблюдательность Толстого уже не только как художника, но и как натуралиста. Так, среди знакомых звуков и шорохов ночи, в которые напряженно вслушивается Лукашка, вдруг возникают и неожиданные: «Раз сова пролетела вдоль по Тереку, задевая ровно через два взмаха крылом о крыло. Над самую голову казаков она поворотила к лесу и, подлетая к дереву, не через раз, а уже с каждым взмахом задевала крылом о крыло, и потом долго копошилась, усаживаясь на старой чинаре».

Вероятно, вот эту точность наблюдений при описании природы у Толстого и называет Б.Бурсов «самым эпическим и одновременно аналитическим реализмом XIX в.»¹⁰.

«Когда его читаешь, — говорит Ст. Цвейг, — кажется, что ничего другого не делаешь, как смотришь через открытое окно в действительный мир»¹¹.

Но если бы автор при описании природы замкнулся в области сугубо эпической объективности в ущерб лирической субъективности, повесть утратила бы внутреннюю гармонию.

С другой стороны, воспринимать лирическое начало лишь как орнамент в повествовательных связях — значит упустить значительную долю художественной прелести толстовской повести. Эпическое и лирическое повествование входят в качестве равных партнеров в композицию произведения. Утрата любого из них уничтожила бы тот специфический сплав, который составляет поэтическую основу повести. В лиро-эпическом синтезе и заключается причина того, что «Казаки» — «нестареющий роман», возбуждающий удивление у всех народов во все времена.

А.А. Фет, прочитав повесть Толстого, писал: «...Неизъяснимая прелесть таланта... «Казаки» должны явиться на всех языках».

Вопрос восприятия «Казаков» в мировой литературе представляет несомненный интерес. Остановимся вкратце на том, как в Японии воспринималась толстовская повесть.

На японском языке повесть «Казаки» вышла в 1893 году в переводе Таяма Катай, в будущем одного из корифеев японской литературы XX в. Вспоминая свой первый переводческий опыт и то впечатление, которое произвели на него «Казаки», Катай писал:

«До сих пор хорошо помню, как я работал над переводом “Казачков”. ...Лучи заходящего солнца проникали сквозь окна моей комнаты. Свет луны, висящей над густым садом во дворе, просачивался меж листьев. Поднималось отовсюду пение бесчисленных насекомых. Лампа горела до глубокой ночи. И я вдумывался в страдания Оленина, думал о жизни Лукашки, об отношении старика Ерошки к природе. Странная жизнь на Кавказе переплелась с мечтой и страданием безымянного начинающего писателя из страны Дальнего Востока»¹².

Внимание Таяма Катая, одного из первых читателей «Казачков» в Японии, привлекли не только духовные искания Оленина, но и отношение его к природе. Хотя японский писатель и не раскрывает, что именно нравилось ему в толстовском изображении природы, но можно предположить, что ему была близка толстовская мысль о слитности человека и природы.

Надо особо отметить, что японская критика 90-х годов прошлого столетия заметила в произведениях Толстого соединение аналитического начала художественного исследования с лиризмом. И это глубоко импонировало японцам, в художественных традициях которых преобладало лирико-поэтическое восприятие мира. В анонимной статье «Новый великий писатель России Толстой» (1894 г.) утверждалось, что русский писатель, хотя и интересовался философией и религией, но «по духу своему был с ног до головы поэтом. Он не похож на ученого, опирающегося на холодную логику, напротив, его эмоции и суждения очень поэтичны. Но в то же время мысль Толстого опирается на опыт реальной жизни, поэтому его чувство отличается глубиной, смелостью и здоровьем»¹³.

Вспомним запись Толстого в дневнике: «Где границы между прозой и поэзией, я никогда не пойму: хотя есть вопрос об этом предмете в словесности, но ответа нельзя понять. — Поэзия — стихи. Проза — не стихи: или поэзия — все, исключая деловых бумаг и учебных книг. Все сочинения, чтобы быть хорошими, должны, как говорит Гоголь о своей прощальной повести (она вылилась из души моей) вылиться из души сочинителя» (46, 71).

О соединении прозы и поэзии, аналитического и лирического, как отличительной черте творчества Толстого, говорится и в статье «Граф Толстой» (1896 г.): «Он реалист, но не такой, как Золя — реалист без души... У Толстого не только пронизательные глаза, но и сердце. Он исходит из правды жизни и пишет правду, в его произведениях бьется сердце художника»¹⁴.

Характерный для Толстого поворот от повествования «из головы» к повествованию «из сердца» отмечает и критик Кувабара Кэндзо. Толстой — аналитик человеческой психики, и в этом, считает Кувабара, он близок к Стендалю. Но между ними есть огромная разница. Метод Стендаля близок к точной науке, отличается бесстрастностью, логикой анализа. Толстой же, как считает японский критик, напротив, «более художник, теплым человеческим взглядом он наблюдает окружающий мир. Толстой менее всего опирается на голую теорию»¹⁵.

Гармоническое слияние субъективно-лирического и объектив-

но-реалистического начал — одна из важнейших тенденций развития японской литературы конца XIX — начала XX веков. В синтезе такого рода деятели новой японской литературы усматривали путь к созданию истинных художественных ценностей. Интересную мысль высказал по этому поводу известный писатель Абэ Томодзи: «Если бросить взгляд на японскую литературу в процессе ее развития, убеждаешься, что особенностью ее всегда было чрезвычайно сильно выраженное лирическое начало. Даже сейчас эта лирическая струя все еще в сильной степени дает себя знать. Однако в наше время в обстановке быстрых перемен, внедрения новых форм быта и усложнения всей общественной жизни, когда ощущается острая необходимость социальных преобразований, наибольшей ценностью в литературе, на мой взгляд, обладают произведения, пронизанные духом реализма... Если же говорить о проблеме связи между реализмом и теми традициями лиризма, о которых я упоминал выше, то мне кажется, что в японской литературе большое значение могут иметь произведения, в которых автор сумел бы сочетать эти два элемента»¹⁶.

Опыт Толстого имеет в этом отношении непреходящее значение.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Роллан Р. Собр. соч. М., 1954. Т.2. С.237.
2. Кокумин-но томо. 1890. Т.6. № 74. С.28.
3. Чичерин А.В. Очерки по истории русского литературного стиля. М., 1985. С.246-247.
4. Шеллинг Ф. Философия искусства. М., 1966. С.399.
5. Тургенев И.С. Собр. соч. М.-Л., 1933. Т.12. С.290-291.
6. Русский язык. М.: Энциклопедия, 1979. С.146
7. Днепров В. Черты романа XX в. М.-Л., 1965. С.544-545.
8. Бурсов Б. Лев Толстой. М., 1960. С.357.
9. Из письма Л.Н. Толстого к В.Ф. Краснову. Юб. изд. Т.81. С.46.
10. Бурсов Б. Указ. соч. С.397.
11. Цвейг С. Великая жизнь (Лев Толстой). Л., 1928. С.37.
12. Катай Таяма. Тридцать лет в Токио. Токио, 1917. С.87-88.
13. Васэда Бунгаку. Токио, 1894. № 7. С.1107.
14. Кокумин-но томо. 1896. Т.18. № 280. С.12.
15. Кувабара Кэндзо. Взгляд на современную русскую литературу// Васэда бунгаку, 1893. №33. С.34.
16. Вопросы литературы, 1965. № 7. С.70.

А.В. Гулин

ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ МОСКОВСКИХ СЦЕН
1812 ГОДА В «ВОЙНЕ И МИРЕ»

Книга А. Рязанцева «Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в 1812-м году» остается до сих пор одним из мало изученных источников романа Л.Н. Толстого «Война и мир». С одной стороны, еще в 1931 году Б.М. Эйхенбаум высказал предположение, что известная сцена романа, где Александр Первый во время своего пребывания в Москве бросает с балкона бисквиты, возникла под влиянием этих мемуаров¹. Ссылки на книгу Рязанцева как на источник сцены с бисквитами встречаются ныне почти во всех комментариях к «Войне и миру», а также в целом ряде специальных трудов². С другой стороны, уверенно судить об использовании Толстым «Воспоминаний очевидца», при отсутствии каких бы то ни было упоминаний об этой книге самого писателя, можно лишь на основании детального сходства текста «Войны и мира» с текстом Рязанцева. В сцене с бисквитами такого совпадения нет. Очевидно, оно должно быть обнаружено в других эпизодах романа. Окружена тайной и личность мемуариста. Кроме фамилии и первой буквы инициалов, а также довольно скудных сведений, содержащихся собственно в воспоминаниях, о нем ничего не известно.

«Воспоминания очевидца» были изданы в Москве анонимно в 1862 году, то есть в год полувекового юбилея первой Отечественной войны русского народа. Из содержания книги можно заключить, что ее автор, скорее всего выходец из мещанского сословия, был в ту пору четырнадцатилетним мальчиком, ритором Московской Славяно-греко-латинской академии. Находясь в Москве летом и осенью 1812 года, он оказался свидетелем множества больших и малых событий, происходивших в городе. В книге подробно рассказано о приезде в древнюю столицу императора Александра Первого, описаны уличные сценки, экзекуции, производившиеся над иностранцами, воспроизводятся многочисленные толки, ходившие в народе. Рязанцев описывает отступление русской армии через Москву и бегство из города гражданского населения. Большая часть книги посвящена тем злоключениям, которые испытал автор, оставшись вместе со своей семьей (отец

Рязанцева до последней минуты не верил, что город сдадут неприятелю) в Москве, занятой французами. Московский пожар, грабежи и бесчинства, чинимые захватчиками, — среди этих бедствий ищет спасения семья автора воспоминаний.

Книга не осталась незамеченной. Во всяком случае, она, без указания автора, фигурирует уже в первом по времени библиографическом указателе трудов о войне 1812 года, составленном Иваном Петровичем Липранди. Вероятно, оказалась она и в поле зрения Толстого, как одно из самых «свежих» произведений об интересующей писателя эпохе³. В этом нас убеждают две сцены «Войны и мира», определенно созданные под влиянием воспоминаний Рязанцева.

Первая из них — сцена экзекуции московских французов (XVIII глава 2-й части 3-го тома романа). Вот как описывает это событие Рязанцев: «Несколько лет жили в Москве два француза, хлебник и повар, хлебник на Тверской содержал булочную, а повар, как говорили тогда, у самого графа Ростопчина был кухмистером. По изобличении их в шпионстве они были приговорены к публичному телесному наказанию. Хлебник был малого роста, худ, как скелет, и бледен, как мертвец, одетый в синий фрак с светлыми пуговицами и в цветных штанах, на ногах у него были пестрые чулки и башмаки с пряжками»⁴. Далее следует рассказ о наказании хлебника, после чего мемуарист так же обстоятельно повествует об экзекуции другого француза: «Повар был наказан на Болотной площади; широкий в плечах, толстопузый, с огромными рыжими бакенбардами, одет он был щегольски в сюртуке из тонкого сукна, в пуховой шляпе и при часах. Он шел на место казни пешком, бодро и беззаботно, как бы предполагая, что никто не осмелится дотронуться до его французской спины, но когда палач расписал его жирную спину увесистой плетью, тогда франц-француз не только встать с земли, но не мог даже шевельнуться ни одним членом, и его должны были, как борова, взвалить на телегу; народ, издеваясь над ним, со смехом кричал: “Что, мусью! Видно русский соус кислее французского? Не по вкусу пришелся, набил оскомину!”»⁵

В «Войне и мире» похожую сцену наблюдает Пьер Безухов: «Возвращаясь домой из Воронцова и проезжая по Болотной площади, Пьер увидал толпу у Лобного места, остановился и слез с дрожek. Это была экзекуция французского повара, обвиненного в шпионстве. Экзекуция только что кончилась, и палач отвязывал от кобылы жалостно стонавшего толстого человека с рыжими бакенбардами, в синих чулках и зеленом камзоле. Другой преступник, худенький и бледный, стоял тут же. Оба, судя и по лицам, были французы» (II, 182). Пьер проталкивается сквозь толпу, чтобы увидеть и понять, что же здесь происходит. «Толстый человек поднялся, нахмурившись пожал плечами, и очевидно желая выразить твердость, стал, не глядя вокруг себя, надевать камзол; но вдруг губы его задрожали, и он заплакал, сам сердясь на себя, как плачут взрослые сангвинические люди. Толпа громко заговорила, как показалось Пьеру, для того чтобы заглушить в самой себе чувство жалости.

— Повар чей-то княжеский...

— Что, мусью, видно русский соус кисел французу пришелся... оскомину набил, — сказал сморщенный приказный, стоявший подле Пьера, в то время как француз заплакал». (11, 182-183).

Совпадение деталей в облике обоих французозов, сходные мотивы поведения каждого из них, общее место действия: Болотная площадь, наконец, злая шутка о русском и французском соусе, приведенная у Рязанцева и у Толстого, не оставляют сомнений в источнике этой сцены романа. Впрочем, очевидна и та свобода, с которой писатель вводит эту сцену в художественную ткань «Войны и мира». Мемуарист вспоминает, что французы были наказаны в разных местах: хлебник на Конной, а повар на Болотной площади. Толстой соединил эти две экзекуции в одну. Он почти полностью сосредоточил внимание на поваре, лишь бегло обозначив образ второго французза. Но, самое главное, в «Войне и мире» сцена приобрела совсем иное значение.

Мемуарист не подвергал сомнению виновность французозов, они, по его мнению, получили то, чего заслуживали. Он вполне разделяет злорадные чувства собравшихся, в этом смысле — он человек толпы. Для Толстого происходящее на Болотной площади, — это проявление бессмысленной жестокости, подстрекаемой афишками графа Ростопчина, свидетельство одичания, «остервенения» народа. Впрочем, писатель пытается найти в поведении толпы и нечто другое: неосознанное, заглушаемое шутками, но смутно переживаемое всеми чувство вины за участие в содеянном.

Сцена экзекуции — поворотная в судьбе Пьера. Это последнее в ряду московских впечатлений, момент потрясения, после которого Безухов бесповоротно решает ехать из охваченной безумием столицы туда, где совершается главное патриотическое дело, — ехать в армию: «Пьер засопел носом, сморщился и быстро повернувшись пошел назад к дрожкам, не переставая что-то бормотать про себя в то время, как он шел и садился. В продолжение дороги он несколько раз вздрагивал и вскрикивал так громко, что кучер спрашивал его:

— Что прикажете?

— Куда ж ты едешь? — крикнул Пьер на кучера, выезжавшего на Лубянку.

— К главнокомандующему приказали, — отвечал кучер.

— Дурак! Скотина! — закричал Пьер, что редко с ним случалось, ругая своего кучера. — Домой я велел; и скорее ступай, болван. Еще нынче надо выехать, — про себя проговорил Пьер.

Пьер, при виде наказанного французза и толпы, окружавшей Лобное место, так окончательно решил, что не может долее остаться в Москве и едет нынче же в армию, что ему казалось, что он или сказал об этом кучеру, или что кучер сам должен был знать это» (11, 183).

Другой эпизод «Войны и мира», прямо соотносящийся с «Воспоминаниями очевидца», — это сцена спасения Пьером девочки во время московского пожара (предположение о том, что эта сцена возникла под влиянием книги Рязанцева, высказал еще профессор Б.М. Эйхенбаум). Совпадение нескольких деталей действительно

убеждает, что источником здесь был эпизод, рассказанный мемуаристом.

Рязанцев вспоминает, как, блуждая с братьями по горящему, охваченному паникой городу, они нашли брошенную кем-то «лет трех девочку». «Одевание ее состояло из розового атласного капотца»⁶, — говорится в воспоминаниях. Так же и у Толстого: «Под скамейкой лежала трехлетняя девочка в розовом платье» (11,395). Собственно, этим сходство исчерпывается, в остальном, что касается сцены с девочкой, Толстой абсолютно самостоятелен. Рязанцев писал о ребенке, «нежностью и красотой уподоблявшемся херувиму»⁷. В романе девочка «золотушно-болезненная» (11,395). Идиллическая сцена спасения преобразуется у Толстого в жесткую, реалистическую картину, где высокий нравственный смысл того, что совершает Пьер, только подчеркивается целым рядом привнесенных в нее уже писателем страшных, даже отталкивающих подробностей: «...Девочка закричала и бросилась бежать. Пьер однако схватил ее и поднял на руки; она завизжала отчаянно-злым голосом и своими маленькими ручонками стала отрывать от себя руки Пьера и сопливым ртом кусать их. Пьера охватило чувство ужаса и гадливости, подобное тому, которое он испытывал при прикосновении к какому-нибудь маленькому животному. Но он сделал усилие над собою, чтобы не бросить ребенка и побежал с ним назад к большому дому» (11,395).

Сцена экзекуции и эпизод с девочкой позволяют не только с уверенностью говорить, что книга Рязанцева — действительно источник «Войны и мира», но и проливают свет на характер работы Толстого с материалом «Воспоминаний очевидца». Скорее всего, эта книга не была для писателя настольной. Раз прочитав мемуары Рязанцева, Толстой, видимо, больше к ним не возвращался, но отметил для себя некоторые эпизоды и относящиеся к ним наиболее яркие детали. В памяти писателя остались: два француза, один тучный, другой худой и бледный, рыжие бакенбарды одного из них, шутка о русском и французском соусе. Точно так же в сцене с девочкой: возраст ребенка — три года, и розовое платье.

Работая над эпизодом, восходящим к источнику, Толстой сохранял эти подробности, но тут же дополнял их своими, авторскими деталями и, что самое главное, оставлял за собой полную свободу следовать собственному представлению о событиях. Подлинные эпизоды, почерпнутые из книги Рязанцева, воссоздавались в пределах совершенно иного, поэтического, мира, зачастую приобретая значение, полностью противоположное смыслу источника.

Сцена с бисквитами, которая в свое время вызвала бурный протест Петра Андреевича Вяземского⁸ и едва не привела к открытой полемике Толстого со старейшим русским литератором, отмечена той же свободой в отношении писателя к исторической первооснове романа. Известно, что Толстой, опровергая обвинения Вяземского в исторической недобросовестности, хотел сослаться как на источник на записки Сергея Глинки, где собственно эпизод с бисквитами отсутствует. Этот источник был очень активно использован писателем для изображения событий, связанных с

пребыванием в Москве в июле 1812 года императора Александра Первого. Книга же Рязанцева, которой, как теперь видно, Толстой также пользовался, откуда непосредственно попал в роман эпизод, где царь раздает народу яства со своего стола, не будучи источником столь же ярким, талантливым, запоминающимся, забылась как таковая. Между тем, труды Глинки и Рязанцева, каждый по своему, в равной степени дали писателю материал для эпизода с бисквитами.

Вот как описывает Глинка обед Александра Первого в большом кремлевском дворце: «На красном крыльце во время государева обеда происходил непрерывный прилив и отлив народа. Государь обращал взоры к зрителям и дарил их улыбкою приветливою. Июля 13 Петр Степанович Валуев, находясь в числе приглашенных к обеду и привыкнув говорить с государем голосом сердечным, сказал: «Государь! Смотри на Вас и на народ, вззирающий на Вас, скажешь, что общий отец великого семейства народа русского вкушает хлеб-соль среди радостной, родной своей семьи»»⁹.

Рассказ Рязанцева о том же событии служил как бы естественным дополнением к рассказу Глинки, в восприятии Толстого эти два описания, очевидно, составили общую картину. «В доказательство безусловной покорности и верноподданнической любви народа к царю и любви царя к своим подданным, — пишет Рязанцев, — как самовидец, привожу следующий пример. В день прибытия государя в Москву, во время обеда в кремлевском дворце, император, заметив собравшийся народ, с дворцового парапета смотревший в растворенные окна на царскую трапезу, встал из-за стола, приказал камер-лакеям принести несколько корзин фруктов, и своими руками с благосклонностию начал их раздавать народу. Счастливы, получившие от монарха неожиданную, великую милость, в восторге неся на открытых головах полученные фрукты, со слезами радости рассказывали всем встретившимся: «Сам батюшка-государь пожаловал собственными своими ручками»»¹⁰.

В рассказе обоих авторов заслуживает внимания тот факт, что народ находился не под окнами, а прямо возле окон дворца. Обед царя происходил, судя по всему, в не сохранившемся до наших дней старом кремлевском дворце, построенном в XVIII веке по проекту Растрелли. Народ, как следует из рассказов Глинки и Рязанцева, был допущен прямо на красное крыльцо и парапет дворца, куда выходили окна зала, в котором происходил обед. Государь, таким образом, действительно мог, не выходя из помещения, через открытые окна (июль месяц!) давать собравшимся какие-либо яства. Толстому эта картина представилась иначе. Царь находился, по его мнению, над народом, а толпа стояла внизу. Поэтому любое общение императора с собравшимися могло происходить только с высоты, в романе — с балкона. Яства он мог только бросать, а никак не передавать из рук в руки.

Но не это обстоятельство оказалось определяющим в работе Толстого над материалом тех и других воспоминаний. Писатель решительно разошелся с мемуаристами в оценке происходящего. И Сергей Глинка и А. Рязанцев были людьми старой закалки, они

исповедовали взгляды, близкие «официальной народности», и воспринимали царя не иначе как помазанника Божия, а его присутствие в древней столице во время великой войны представлялось обоим как событие огромного духовного значения. Государь, первый человек в Отечестве, связанный незримыми узами со своими подданными, по-отечески творящий благо своему народу, — таким видели мемуаристы Александра Первого. Слова, сказанные у Глинки сенатором Валуевым, сцена с фруктами у Рязанцева имели в глазах того и другого смысл, близкий едва ли не евангельскому сюжету о пяти хлебах и двух рыбах.

Толстой увидел сцену царского обеда совсем иначе. Для него фигура царя не только была лишена какого бы то ни было ореола, тем более ореола вождя русского народа, но представлялась самой малозначительной в событиях 1812 года. Философия истории, выраставшая из внутреннего строя романа, с ее всесильным «законом предопределения», все больше убеждала писателя, что Александр Первый, подобно другим так называемым великим людям, — не более чем «ярлык», дающий наименование событию. Приезд государя в Москву, вызванный, по мнению Толстого, вполне прозаической причиной, — необходимостью под благовидным предлогом избавить армию от дезорганизующего присутствия царя, — не казался писателю сколько-нибудь значительным. Все происходящее в Москве в дни приезда царя, — имеет для Толстого очень мало отношения к истинному смыслу великих событий 1812 года. Это убеждение Толстой выразил при помощи одного единственного, но безошибочно найденного образа — бисквитов.

Уже выбор главного героя для сцены в Кремле, юного Пети Ростова (возможно, это обстоятельство также подсказала книга Рязанцева с ее 14-летним героем, участником тех же событий) вполне закономерен. Искреннее чувство восторга, душевного подъема при виде царя у Толстого испытывают лишь неокрепшие, юные души, будь то Николай Ростов, или его брат Петя. Это чувство младенчески-чистое, и столь же младенчески-наивное. Оставаясь верным истории, Толстой рисует картину народного ликования, но рисует чуть отстраненно, со снисходительной улыбкой наблюдая за переживаниями Пети.

Сцена царского обеда создавалась в общем русле толстовской поэтики. Под пером писателя она утратила всякую показную торжественность, стала подчеркнута земной, обрела предельную естественность: «За обедом государя Валуев сказал, оглянувшись в окно:

— Народ все еще надеется увидеть ваше величество (вспомним, какой значительности исполнены слова Валуева у Глинки! — А.Г.).

Обед уже кончился, государь встал, доедая бисквит, и вышел на балкон» (II, 90). Так же естественно, совсем не преднамеренно, возникает эпизод раздачи яств с царского стола: «Довольно большой обломок бисквита, который держал в руке государь, отломившись, упал на перилы балкона, с перил на землю. Ближе всех стоявший кучер в поддевке бросился к этому кусочку бисквита и схватил его. Некоторые из толпы бросились к кучеру. Заметив это,

государь велел подать себе тарелку с бисквитами и стал кидать бисквиты с балкона» (11,90-91).

Но Толстому еще и важно подчеркнуть, «высветить» содержание сцены. Момент раздачи яств — единственный момент прямого соприкосновения царя и подданных, соответственно символическое значение приобретает предмет, через который эта связь происходит. У Рязанцева это фрукты, земные плоды, основа основ человеческого существования. У Толстого — бисквит, кондитерское изделие, нечто рыхлое, рассыпчатое, привлекательное и броское, но столь же несущественное. Для Рязанцева фрукты из рук царя — символ духовной связи царя и народа, «неожиданная, великая милость». Для Толстого — брошенные с балкона царем и пойманные толпой бисквиты — символ бессмысленности, ложного характера происходящего. «Глаза Пети налились кровью, опасность быть задавленным еще более возбуждала его, он бросился на бисквиты. Он не знал зачем, но нужно было взять один бисквит из рук царя, и нужно было не поддаться. Он бросился и сбил с ног старушку, ловившую бисквит. Но старушка не считала себя побежденною, хотя и лежала на земле (старушка ловила бисквиты и не попадала руками). Петя коленкой отбил ее руку, схватил бисквит, и как будто боясь опоздать, опять закричал: ура! уже охриплым голосом» (11,91).

В свое время Б.М. Эйхенбаум писал по поводу использования Толстым сцены с фруктами: «Толстой запомнил эту сцену, но неточно: вместо фруктов явился бисквит»¹¹. Дело, конечно, не в «забывчивости» писателя. В «Войне и мире» нужен был совсем иной образ, чем тот, который присутствовал в книге Рязанцева. Таким ключевым образом для сцены в Кремле стали бисквиты. Не случайно она чаще всего обозначается пишущими о Толстом именно как «сцена с бисквитами».

Кем же был автор этой книги? Фамилия мемуариста долгие годы оставалась неизвестной, вплоть до публикации в 1931 году второй книги известного труда о Толстом Б.М. Эйхенбаума. Внимание исследователя привлекла дарственная надпись на экземпляре «Воспоминаний очевидца», принадлежавшем К.С. Шохор-Троцкому: «Милостивая государыня Марья Алексеевна! По любознательности вашей ко всему родному — отечественному, в знак памяти, покорнейше прошу принять книгу, в коей описаны мною как очевидцем происшествия моего семейства в несчастную годину нашествия неприятелей в Москву 1812 года. С совершенным уважением имею честь быть ваш, милостивая государыня, покорный слуга А. Рязанцев». Ныне экземпляр воспоминаний с автографом хранится в библиотеке Государственного музея Л.Н. Толстого, на что любезно обратила внимание автора этой статьи сотрудник библиотеки Нина Георгиевна Шеляпина.

Мы знаем, что в 1812 году мемуарист учился в Московской Славяно-греко-латинской академии. Однако в наиболее значительном историческом очерке, посвященном этому учебному заведению, изданном в 1855 году С.К. Смирновым, где названы многие выпускники академии, нет никаких упоминаний об А. Рязанцеве. Это не удивительно. В разных классах академии в

начале XIX века учились одновременно более 1000 человек.

Можно с некоторой долей вероятности предположить, что А. Рязанцев, который провел детство в Москве и в Москве же опубликовал на старости лет свои воспоминания, был именно москвичом или человеком, как-то связанным с городом. В адресных книгах старой столицы на протяжении 30-х — 60-х годов прошлого века действительно фигурирует, причем лишь один, А. Рязанцев. Это московский врач Александр Кузьмич Рязанцев, проживавший в собственном доме в Яузской части города и занимавший в течение четверти века целый ряд должностей по медицинскому ведомству. Адресные книги дают ясное представление о служебном движении Рязанцева. В конце 30-х годов он коллежский ассессор, в начале 40-х — надворный советник, а с 1846 года — коллежский советник. Последнее звание может служить свидетельством успешной карьеры: Рязанцев стал чиновником 6-го класса, то есть штатским полковником.

В списке русских чиновников I-VI классов за 1858 год можно прочитать следующее: «Рязанцев Александр Кузьмич. Штаб-лекарь, ординарный член Московского попечительного о бедных комитета, врач Мариинского богаделенного дома и медик при Московской синодальной типографии. Кавалер орденов Святой Анны 3 степени, Святого Станислава 3 степени».

Возникает вопрос: какая связь может быть между ритором Славяно-греко-латинской академии и чиновником медицинского ведомства, по всей видимости, в прошлом военным, штаб-лекарем Рязанцевым? Такая связь вполне возможна. Упомянутая выше книга С.К. Смирнова подтверждает, что в последние годы существования Славяно-греко-латинской академии¹² многие ее выпускники направлялись в дальнейшем на медицинское поприще. Этому способствовали установленные правительством льготы, в частности, для поступающих в военно-медицинскую академию.

И все же сказать с уверенностью, что Александр Кузьмич Рязанцев и есть автор «Воспоминаний очевидца» невозможно. В этом могло бы помочь знание даты рождения штаб-лекаря Рязанцева, совпадение его возраста с возрастом автора мемуаров. Важным источником информации в таком случае может служить один из вышедших в XIX веке некрополей: Московский, Петербургский или Провинциальный. Однако ни в одном из этих изданий место захоронения Александра Кузьмича Рязанцева не значится. Между тем, Рязанцев умер, вероятно, в самом конце 60-х — начале 70-х годов. В 1874 году в доме по Яузской части уже проживает только его жена, коллежская советница Елизавета Лаврентьевна Рязанцева. Где похоронен этот человек, не известно.

В любом случае, был автором «Воспоминаний очевидца» Александр Кузьмич Рязанцев, или его неведомый однофамилец, судьба этой книги являет собой поучительный пример. Воспоминания скромного человека, не желавшего для себя никакой известности, никаких лавров сочинителя, переворотились на страницах романа Толстого, вошли в самую плоть великой национальной эпопеи. Это ли не прекрасный памятник человеческой жизни?

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Книга вторая. 60-е годы. Л.-М., 1931. С.229, 413-414.
2. См., например: Ищук Г.Н. Лев Толстой. Диалог с читателем. М., 1984. С.95-96.
3. «Воспоминания очевидца» присутствуют в списке книг о войне 1812 года, направленном Толстому по его просьбе Елизаветой Андреевной Берс, сестрой жены писателя Софьи Андреевны, осенью 1863 года.
4. Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в 1812-м году. М., 1862. С.21.
5. Там же. С.21-22.
6. Там же. С.74.
7. Там же.
8. «Если отнести эту сцену к истории, — писал Вяземский, — то можно сказать утвердительно, что это басня; если отнести ее к вымыслам, то можно сказать, что тут еще более исторической неверности и несообразности». П.А. Вяземский. Воспоминания о 1812 годе. Русский архив, 1869. С.192.
9. Записки о 1812 годе Сергея Глинки, первого ратника Московского ополчения. СПб. 1836. С.14.
10. Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в 1812-м году. С.26-27.
11. Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Книга вторая. 60-е годы. Л.-М., 1931. С.414.
12. В 1814 году Московская Славяно-греко-латинская академия была преобразована в Московскую духовную академию.

С.Я. Долинина.

ПРОБЛЕМА РОССИИ И ЗАПАДА В ТРАКТОВКЕ
Л.Н. ТОЛСТОГО И М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
(«АННА КАРЕНИНА» И ЦИКЛ «ЗА РУБЕЖОМ»)

О книге Салтыкова-Щедрина «За рубежом» сложилось устойчивое суждение как о произведении «не только о Западе, но о России и Западе и, по существу, о России больше, чем о Западе»¹. Важно отметить, что этот цикл появился не в результате первого, годичного, путешествия Салтыкова за границу в 1875 году, через четыре года после Парижской коммуны, не после поездки, о которой в письмах он сделал действительно глубокие выводы, касающиеся Запада. Достаточно вспомнить два часто цитируемые высказывания Салтыкова-Щедрина из писем Е.И. Якушкину от 19 марта 1876 г. и П.В. Анненкову от 2 декабря 1875 года². Характерно, что книга «За рубежом» создавалась в 1880-81 годах, в период, когда в России сложилась вторая революционная ситуация, которой — как отмечал С.А. Макашин — и «рождена книга и в ракурсе которой ее следует воспринимать» (XIV, 545).

Идеи Толстого о месте России на путях истории, которые станут для него основополагающими и которые он будет развивать до конца жизни, высказаны были писателем тоже в заграничных записных книжках и письме. В апреле 1857 года, находясь в Швейцарии, Толстой записал: «Будущность России казачество — свобода, равенство и обязательная военная служба каждого» (47, 204). 26 марта 1861 года из Брюсселя, во время второго заграничного путешествия, Толстой пишет Герцену в Лондон: «Ваша статья об Овене, увы! слишком, слишком близка моему сердцу». И далее здесь же: «Ежели мыльный пузырь истории лопнул для вас и для меня, то это тоже доказательство, что мы уже надуваем новый пузырь, который еще сами не видим. И этот пузырь есть для меня твердое и ясное знание моей России...» (60, 373-374). В романе «Анна Каренина», вобравшем, по слову Достоевского, «все, что есть важнейшего в наших русских текущих политических и социальных вопросах»³, антиномия Европа-Россия является одной из ведущих тем. «Такая скука, матушка, что не знаешь, куда деться. — Как можно скучать, князь? Так много интересного теперь в Германии, — сказала Марья Евгеньевна. — Да я все

интересное знаю: суп с черносливом знаю, гороховую колбасу знаю. Все знаю. — Нет, но как хотите, князь, интересны их учреждения, — сказал полковник. — Да что же интересного? Все они довольны как медные гроши: всех победили. Ну, а мне-то чем же довольным быть? Я никого не победил <...> То ли дело дома!»⁴ В этом разговоре, который ведет старый князь Щербацкий со своими соотечественниками в Карлсбаде, как и в следующем рассуждении автора о состоянии Кити на немецких водах — «Она почувствовала всю тяжесть этого мира горя, болезней, умирающих, в котором она жила; ей мучительно показались те усилия, которые она употребляла над собой, чтобы любить это, и поскорее захотелось на свежий воздух, в Россию...» (С. 202-203) — в обоих заграничных пассажах уже заключено как в свернутой формуле очень многое из того, что станет содержанием, пафосом, тональностью двух первых глав книги Салтыкова-Щедрина «За рубежом». Расставим пока первые акценты в знаменитом разговоре мальчика в штанах и мальчика без штанов.

Мальчик без штанов: «...отчего ты так скучно говоришь? — Скучно? — Да, скучно» (XIV, 34).

«Ишь ведь с гороховицей на свином сале подъехал... диковинка! У нас, брат, шаром покати, да зато занятно...» (XIV, 40).

Мальчик в штанах: «Мы, немцы, имеем старинную культуру, у нас есть солидная наука, блестящая литература, свободные учреждения, а вы делаете вид, как будто все это вам не в диковину» (XIV, 40).

Мальчик без штанов: «...надоели вы нам, немцы <...> Взяли в полон да и держите! <...> думаете, что вам предстоит слопать мир. <...> вы указываете на ваши свободные учреждения, а всякий убежден, что при одном вашем появлении должна умереть всякая мысль о свободе» (XIV, 41).

Думается, что даже это по необходимости беглое сопоставление заставляет более внимательно еще раз прочитать роман Толстого и книгу Салтыкова-Щедрина.

Все идейные разговоры о судьбе России в «Анне Карениной» связаны с Константином Левиным. Во всех диалогах Левин испытывает на прочность свое понимание России в споре с европейскими приоритетами и ценностями его оппонентов. Так построены все споры Левина с братом Николаем о коммунизме, с Облонским о путях приобретения и накопления богатства в России (разговор, начатый еще в «Онегине», о том, «как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет»⁵), спор Левина с помещиком Свяжским о формах помещичьего землевладения.

Приведем лишь несколько примеров:

« — Ах, рента! — с ужасом воскликнул Левин, — Может быть, есть рента в Европе <...> но у нас <...> нет ренты».

Свяжский:

« — Как нет ренты? Это закон».

Левин:

« — ... Мы вне закона...» (С. 284).

Николай Левин:

« — Везде были рабы, потом *metayers*; и у нас есть исполная работа, есть аренда, есть батрацкая работа, — чего же ты ищешь?» (С. 298).

Наконец, ставшее классическим определение исторического отрезка между 1861 и 1905 годами:

«“Это может быть, не важно было при крепостном праве или не важно в Англии. В обоих случаях самые условия определены; но у нас теперь, когда все это перевернулось и только укладывается, вопрос о том, как уложатся эти условия, есть только один важный вопрос в России”, — думал Левин» (С. 279).

Когда в конце 50-х начале 60-х годов Толстой в очередной раз занялся народной педагогикой, он специально поехал за границу, «чтобы никто не смел» ему «в России указывать по педагогии на чужие края», как подчеркнул он в письме к брату (60, 366). К этому времени Толстой уже знал, как должна быть организована школа: по образцу казачьих общин⁶. Своего героя Толстой также отправляет за границу. Левин сообщает Облонскому: «...я был в Германии, в Пруссии, во Франции, в Англии, но не в столицах, а в фабричных городах, и много видел нового. И рад, что был» (С. 318). Ведь он трудится над сочинением, в котором излагает свой символ веры. Его Левин обрел на родной земле, не переступая границу России: «...главное — положение всего народа совершенно должно измениться. Вместо бедности — общее богатство, довольство; вместо вражды — согласие и связь интересов. Одним словом, революция бескровная, но величайшая революция, сначала в маленьком кругу нашего уезда, потом губернии, России, всего мира» (С. 292).

Сочинение Левина — это и есть русский ответ, как видим, не только Европе, но и всему миру. Именно так это понималось современниками Толстого, в частности Достоевским: «Анна Каренина» ... по идее своей это уже нечто наше, наше *свое*, (курсив Ф.М. Достоевского — С.Д.) родное, и именно то самое, что составляет нашу особенность перед европейским миром, что составляет уже наше национальное «новое слово» или, по крайней мере, начало его, — такое слово, которого именно не слышать в Европе и которое, однако, столь необходимо ей...»⁷.

Каким мог быть ответ Европы на русское «новое слово», узнаем в очерках Салтыкова-Щедрина «За рубежом». В приведенном нами диалоге двух мальчиков сатирик помещает словосочетание «новое слово» в такой контекст, в котором каждая фраза придает соседней дополнительное значение, и общий смысл становится символически многомерным.

Мальчик в штанах: «Колбаса!» «выкуси!» — какие несносные выражения! А вы, русские, еще хвалитесь богатством вашего языка! Целый час я говорю с вами, русский мальчик, и ничего не слышу, кроме загадочных слов, которых ни на один язык нельзя перевести <...> а некоторые из вас даже и о каком-то «новом слове» поговаривают — что это же оказывается? — что вы беднее, нежели когда-нибудь, и что сквернословие <...> регулирует ваши отношения к правящим классам...»

Мальчик без штанов: «...это-то именно и есть ... занятное!»

«Ах, колбаса, колбаса!» (XIV, 41-42).

Традиционно парафраз о «новом слове» исследователи относят к полемике Щедрина с Пушкинской речью Достоевского и его призывам к «духовному единению сословий» в Дневнике писателя за 1881 год. Очевидно, что такая жесткая привязка обедняет содержание и сужает историко-литературный контекст применения этого понятия. Речь идет не только о духовном единении, но и той совестливости, виноватости, вечной душевной тревоге и неуравновешенности, которые выражают, по утверждению Достоевского, нашу «самую существенную», «страшно распространенную» черту. Достоевский указывает, что в «Анне Карениной» эта черта обозначена словами Левина: «Мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват»⁸.

Тема кающегося дворянина, с одной стороны, и негодности буржуазной формации, с другой, очень волновала и Салтыкова-Щедрина. Об этом пишет В. Мысляков в той главе своей книги «Салтыков-Щедрин и народническая демократия», которая названа «Проблема чумазого» в творчестве Салтыкова-Щедрина (Щедрин и Михайловский). Исследователь видит связь этой проблематики Щедрина именно и прежде всего с идеями Н. К. Михайловского. Здесь же четко формулируется сложившееся определение, с кем полемизирует сатирик в очерках «За рубежом». Автор подчеркивает: «Это спор и с западниками, противопоставляющими *Европу* России, и со славянофилами, противопоставлявшими *Россию* Европе, (курсив автора — С. Д.) и, наконец, с народниками — тогда и поскольку они стремились своеобразие исторического пути страны возвести в особый тип развития»⁹. Имя Толстого, упоминаемое несколько раз в книге, в этой главе не встречается. Хотя есть закономерные ссылки на Герцена и Чернышевского и, казалось, с неизбежностью должен быть упомянут и Толстой. Но примечательно, что в следующей главе — «Этизм народников и тема «стыда» в творчестве Салтыкова-Щедрина» — автор справедливо отмечает, что сложная и объемная тема «Салтыков-Щедрин и Л. Н. Толстой» не получила пока освещения в специальной литературе. Исследователи более уделяют внимание биографической, а не идейно-творческой соотнесенности авторов «Войны и мира» и «Истории одного города», включающей, на его взгляд, противоречивые начала близости и чужеродности¹⁰.

Сейчас нас интересует роман «Анна Каренина» и книга «За рубежом». Попробуем положить эти тексты рядом и читать их параллельно.

«Анна Каренина»:

Левин «перечитал и политико-экономические и социалистические книги <...> и, как он ожидал, ничего не нашел такого, что относилось бы до предпринятого им дела. <...> он нашел выведенные из положения европейского хозяйства законы; но он никак не видел, почему эти законы, не приложимые к России, должны быть общие» (С. 291).

«За рубежом»:

«...разве политико-экономические основания, которые практикуются под Инстербургом, не совершенно равносильны тем, кото-

рые практикуются и под Петергофом? Увы! я совершенно искренне убежден, что в этом отношении обе местности могут аттестовать себя равно способными и достойными...» (XIV, 17)

«Анна Каренина», диалог Свяжского и Левина:

«Остаток варварства — первобытная община с круговой порукой сама собой распадается, крепостное право уничтожено, остается свободный труд, и формы его определены и готовы, и надо брать их. — Но Европа недовольна этими формами <...>. Но если они нам не приходятся, если они глупы?» (С. 284-285)

«За рубежом»:

«Вместо того, чтоб уверять все, что вопрос о распределении уже разрешен нами на практике, мне кажется, приличнее было бы взглянуть в глаза Колупаевым и Разуваевым и разоблачить детали того кровопивственного процесса, которому они предаются без всякой опаски при свете дня <...> тогда сам собою разрешится и другой вопрос: что такое современная русская община и кого она наипаче обеспечивает, общинников или Колупаевых?» (XIV, 17-18).

«Анна Каренина»:

«Сочинение <...> Левина должно было бы не только произвести переворот в политической экономии, но совершенно уничтожить эту науку и положить начало новой науке — об отношениях народа к земле» (С. 292).

«За рубежом»:

«А то выдумали: нечего нам у немцев заимствоваться; покуда они над «накоплением» корпят, мы того гляди, и политическую-то экономию совсем упраздним. Так и упразднили ... упраздните-ли!» (XIV, 18).

Этот ряд сопоставлений не трудно было бы продолжать. Но последний, может быть, самый важный пример.

«Вопрос для него (Левина) состоял в следующем: «Если я не признаю тех ответов, которые дает христианство на вопросы моей жизни, то какие я признаю ответы? <...> девяносто девять сотых русского народа, весь тот народ, жизнь которого внушала ему наибольшее уважение, верили <...>. Он был в мучительном разладе с самим собою и напрягал все душевные силы, чтобы выйти из него»» (С. 659-660).

Толстой посылает откровение своему герою из уст мужика. Диалог Левина с крестьянином Федором: «Люди разные; один человек только для нужды своей живет... только брюхо набивает, а Фоканыч — правдивый старик. Он для души живет, Бога помнит.

— Как Бога помнит? Как для души живет? — почти воскликнул Левин.

— Известно как, по правде, по-божью» (С. 666).

«За рубежом», спор двух мальчиков:

Мальчик в штанах: «Я уверен, например, что вы не знаете, что такое бог?»

Мальчик без штанов: «А бог его знает, что такое бог! У нас, брат, в селе Успенью-матушке престольный праздник показан — вот мы в спожинки его и справляем! <...> я и сам, признаться, в этом не тверд. Знаю, что праздник у нас на селе, потому что и нам, мальчишкам, в этот день портки надевают, а от бога или от

начальства эти праздники приказаны — не любопытствовал» (XIV, 37).

Наконец, известное письмо Салтыкова-Щедрина Скабичевскому от 9 февраля 1885 года: «Теория Толстого — самосовершенствование для совершенствования — есть именно *продолжение* (курсив М.Е. Салтыкова-Щедрина — С.Д.) баловства.

Всего обидней тут ссылка на народ; народ вовсе не думает о самосовершенствовании — об этом разговаривают Сюсляевы, Толстые, Успенские, Достоевские, — а просто верует. Верует в три вещи: в свой труд, в творчество природы и в то, что жизнь не есть озорство. Это и вера и в то же время *дело*, (курсив М.Е. Салтыкова-Щедрина — С.Д.) т.е. дело в форме доступной народу. Если жизнь испытывает его, он «прибегает», просит заступничества и делает это в той форме, какая перешла к нему от предков, т.е. идет в церковь, вызывает к Успленью-матушке, Николе-батюшке и т.д. Но это не значит, что он верует в них по существу, а верует он в собственные слезы и в собственные вздыхания, которые и восстанавливают в нем бодрость...

По моему мнению, Толстой не только балуется, но, может быть, и кобенится» (XX, 139-140).

В конце жизни Толстому не нравились те сочинения Щедрина, в которых сатирик подходил к вопросам веры, религии «не по-толстовски». Отрицательно относился Толстой и к диалогу мальчиков в цикле «За рубежом». Об этом узнаем, в частности, из «Яснополянских записок» Д.П. Маковицкого. В записи от 1 декабря 1908 года читаем высказывание Толстого о Салтыкове-Щедрина: «...мне неприятно шуточное отношение к вопросам огромной важности»¹¹.

Толстой не просто верил, но верил учительно. И отсюда происходила обоюдная непримиримость позиций Толстого и Салтыкова-Щедрина, отразившаяся и в их произведениях.

13 октября 1880 года после чтения 1 главы цикла «За рубежом» П.В. Анненков писал Салтыкову: «Мне кажется, что одни комментарии к Вашим рассказам могли бы составить порядочную репутацию человеку, который бы за них умело взялся. Ввиду того, что Вы один из самых расточительных писателей на Руси, комментарии почти необходимы. Сколько собрано намеков, черт, метких замечаний в одном последнем рассказе, так это до жуткости доходит — всего не разберешь, всего не запомнишь» (XIX, кн. 1, 181).

Очевидно, стоит внимательней отнестись к этой оценке пристального читателя. И если роман Толстого действительно задел Салтыкова-Щедрина за живое, — а в письме П.В. Анненкову, как известно, сатирик признался, что эта книга его «волнует ужасно» (XVIII, кн. 2, 180), — то такое пристрастие должно было отразиться не только в письмах. Потому что главным полем сражения художников слова неизбежно является текст произведений.

Приведенные факты, очевидно, позволяют поставить вопрос о том, в каких художественных формах воплощается полемика, как «отзывается» слово писателя. Ответ на этот вопрос мог бы послужить, на наш взгляд, продолжением данной работы.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Салтыков-Шедрин М.Е. Сочинения: В 20 т. М., 1965-1977. Т. XIV. С. 529. Далее ссылки на это издание — в тексте, с указанием тома и страницы.
2. Там же. Т. XVIII. Кн. 2. С. 274; С. 232-233.
3. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч: В 30 т. Т. XXV. Л., 1983. С. 51.
4. Толстой Л.Н. Анна Каренина. М., 1970. С. 200. (Лит. памятники/АН СССР) Далее «Анна Каренина» цитируется по этому изданию с указанием в тексте страницы.
5. Пушкин А.С. Полн. собр. соч: В 16 т. Т. 6. М., 1937. С. 8.
6. См. указание Л.Д. Опульской: «Это интересное замечание — о том, что в свою учительскую практику Толстой перенес нравы казачьей станицы — содержится в работе В. Шкловского о Толстом (биография Л. Толстого в серии «Жизнь замечательных людей»)». — Опульская Л.Д. Повесть Л.Н. Толстого «Казачья». // Толстой Л.Н. Казачья. М., 1963. С. 347. (Лит. памятники / АН СССР).
7. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч: В 30 т. Т. XXV. С. 200.
8. Достоевский Ф.М. Там же. С. 56.
9. Мысляков В.А. Салтыков-Шедрин и народническая демократия. — Л., 1984. С. 131.
10. Там же. С. 178.
11. Литературное наследство. М., 1979. Т. 90. Кн. 3. С. 263.

П.-А. Бодин (Швеция)

КНИГА «ПОСЛОВИЦЫ РУССКОГО НАРОДА»
ВЛАДИМИРА ДАЛЯ, ПРИНАДЛЕЖАВШАЯ Л.Н. ТОЛСТОМУ

В королевской библиотеке в Стокгольме хранится принадлежавший Льву Толстому экземпляр первого (1862 г.) издания «Пословиц русского народа» Даля. Он был подарен библиотеке в 1918 году сыном писателя Львом Львовичем, временами жившим в Швеции.

Толстовский экземпляр находится в хорошем состоянии, в нем отсутствует лишь титульный лист. Он содержит несколько тысяч комментариев в виде заметок на полях и подчеркиваний, сделанных рукой Толстого. На некоторых страницах поля с заметками были, по-видимому, позже отрезаны. Большинство пометок сделано карандашом, некоторые из них дополнены чернилами, другие написаны только чернилами. Часть подчеркиваний сделана красным карандашом. Иногда заметки перечеркнуты или на прежних надписаны новые. Все это указывает на ту тщательность, с которой Толстой читал книгу Даля.

Почерк Толстого небрежен, заметки неразборчивы, почти всегда в виде сокращений, и это понятно — ведь они предназначались лишь для самого автора. Расшифровка сокращений при первом их чтении дается далеко не всегда.

Из переписки с Н.Н. Страховым можно установить, что Толстой получил первое издание Даля только в мае 1880 года¹. Однако раздобыть ему эту книгу он просил Страхова уже в 1877 году (62,643).

Лев Львович пишет в заметке на внутренней стороне обложки книги Даля, что отец подарил ему эту книгу тогда, когда сам получил ее второе издание. Оно вышло в 1879 году и Толстой получил ее в подарок от П.А. Сергеенко в октябре 1897 года. Этот экземпляр сохранился в личной библиотеке писателя, и в нем рукой Толстого также сделано множество подчеркиваний, и несколько заметок на полях. Из этого следует, что до получения 2-го издания в 1897 году Толстой пользовался первым изданием Даля («стокгольмским» экземпляром) почти 20 лет — с 1880 по 1897 год и несколько позже.

О серьезном интересе Толстого к русским народным пословицам свидетельствует также и то, что в его личной библиотеке была книга И. Снегирева «Русские народные пословицы и притчи»

издания 1848 года (ее он получил не раньше 1877 года). Кроме этого он пользовался сборником И.И. Иллюстрова «Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках», изданным в 1910 году. Сборник лежал на его письменном столе, когда осенью 1910 года он покинул свой дом в Ясной Поляне. И в этих книгах имеется большое количество заметок, сделанных рукой Толстого².

Л.Н. Толстой часто употреблял пословицы в своих литературных произведениях, особенно в «Войне и мире», во «Власти тьмы», в «Хаджи-Мурате» и в различных «народных рассказах». Он часто применял пословицы в своем дневнике, в письмах и беседах. В различных произведениях писателя можно встретить пословицы в виде заглавий, эпиграфов или вступлений. Так, пословицей «Если веруешь, то горы подвинешь» начинается «Фантастический рассказ»; «Вражье лепко, а божье крепко» является заглавием другого его рассказа.

В статье «Кому у кого учиться писать», напечатанной в 1862 году, Толстой рассказывает о том, каким образом он использовал пословицы в своей педagogической деятельности: он давал детям, которых обучал в своем имении, задания писать сочинения, рассказы, исходя из разных пословиц. Тот факт, что в окончательных вариантах различных произведений многие пословицы, использовавшиеся им самим, удалены («Все хорошо, что хорошо кончается» было первоначальным заглавием «Войны и мира», например), дает основание предположить, что они служили Толстому источником вдохновения и исходным пунктом для размышлений. так же, как и детям в его школе, а позже, в готовом произведении, их можно было исключить.

Толстой сам собрал и опубликовал небольшой сборник «Календарь с пословицами на 1887 год», но планировал он издание сборника пословиц, по-видимому, гораздо раньше, на что указывает содержание «Записной книжки № 9» за 1879 год и особенно «Записной книжки № 12», почти полностью состоящей из пословиц.

В последней из записных книжек (далее обозначаемой ЗК) мной обнаружен целый ряд пословиц со сносками на страницы в книге Даля, что облегчило в некоторой степени дешифровку сокращений и неразборчивых пометок Толстого в «стокгольмском» экземпляре, а сопоставление этих двух источников открывает новые, неисследованные ранее возможности для более глубокого понимания духовных поисков Толстого.

В начале ЗК имеется истолкование молитвы «Отче наш» исключительно в этических категориях (позже это развито в его «Кратком изложении Евангелия», 1881 год), что сопоставимо с его комментариями к пословицам в книге Даля: «соблазны», «жестокость», «люби ближнего» и т.п. Далее в ЗК есть три списка с различными, этическими опять-таки, категориями:

- первый — с 9-ю категориями (далее I),
- другой — с 55-ю категориями (II),
- и последний — с 66-ю категориями (III).

Слова и выражения в них оказываются соответствующими заметкам на полях книги Даля. Писатель, по-видимому, читал Даля в 1880 году, делал заметки и одновременно записывал

некоторые из них вместе со своими размышлениями в свои ЗК. Я склонен рассматривать эти категории как рубрики глав задуманного Толстым сборника пословиц. Рубрики пронумерованы и иногда писатель довольствовался обозначением некоторых пословиц только цифрой, указывающей на ЗК.

Для того, чтобы понять связь между комментариями в книге Даля и заметками в «Записных книжках» надо читать их одновременно. Но прежде следует отметить, какие главы в книге Даля интересовали Толстого более всего и к каким главам он отнесся с меньшим вниманием.

Заметки и подчеркивания сделаны почти во всех главах, но больше всего их под заголовком: «жизнь-смерть», «соблазн», «правда-кривда», «богатство-убожество» и т.п. По видимому, мало интересовали его главы: «смех-шутка-веселье», «свадьба», «гадание», «человек-приметы», то есть пословицы о празднествах в крестьянском быту или о вере в существование сверхъестественного: здесь почти совсем нет заметок и подчеркиваний. В главе «Русь-Родина» писатель подчеркнул следующие пословицы:

341. Где кто родится, там и пригодится.

342. Где ни жить, только бы сытым быть.

343. На Руси никто с голоду не умирал.

В общей сложности Толстой отметил несколько тысяч пословиц посредством подчеркиваний и пометок. К концу книги заметки появляются все реже. Кроме того, есть все основания полагать, что Толстой с течением времени частично изменял свою систему классификации пословиц по моральным категориям так, что если в начале книги Даля он следовал второму списку (II), то в конце ее — третьему (III). Позже рассмотрим вкратце разницу между этими списками. Теперь же попытаемся представить, как сборник Толстого мог бы выглядеть.

На первых страницах книги Даля неоднократно повторяется заметка Толстого: «м.о.», что при помощи ЗК можно растолковать как «мне отмщение». Это сокращение стоит под номером восемь во втором списке рубрик в ЗК (II,8). Эта цитата из Послания к римлянам (12,19) является эпитафией к «Анне Карениной». Два примера использования пословицы, которая отмечена этой пометкой:

5. Бог долго ждет, да больно бьет.

Бог наказывает раньше или позже того, кто согрешил. Анна Каренина наказывается под конец за свою супружескую измену — отчуждение общества вынуждает ее к самоубийству. Эта же пословица была приведена Толстым еще в подготовительных работах к «Войне и миру» (13,47).

Другой комментарий, состоящий из слов Нового Завета: «б.н.» — «блаженны нищие» (II,31), где из «блаженств» он отмечает, например,

935. Золотая клетка соловью не потеха.

Это сокращение — «б.н.» — сочетается часто вместе с — «г.б.» — «горе богатым» (II,41), встречающимся несколько сот раз среди заметок Толстого в книге Даля. В том числе у пословиц:

57. У богатого черт детей качает.

315. Телу простор — душе теснота.

Греховность богатства становится главной темой заметок, так же, как это стало основным и для нравственных взглядов Толстого и в его личной жизни. В это время им написаны такие произведения, как «Исповедь» и «Так что же нам делать?», где он с пафосом указывает на то, что богачи являются виновниками тяжелого положения бедняков. К заметкам, касающимся этой темы, можно также отнести: «жалей бедного» (II,23), «соблазн богатства» (III,47), «соблазн излишества» (III,49).

При помощи множества заметок писатель пытается посредством пословиц определить сущность Бога, например, — «с.в.Б.» — «сила в Боге» (II,5):

4. *Не нашим умом, а Божьим судом.*

5. *Ни Он тебя, ни ты Его не обманешь.*

245. *Божье Богу, а Царево Царю.*

Первую из этих пословиц употребляет Каратаев в «Войне и мире» (12,46). Последний пример — это знаменитая сентенция Христа об отношениях между мирской и духовной властью — проблема, так сильно занимавшая Толстого в его поздний период.

Еще одна заметка, служащая для определения сущности Бога, это — «Б.в.л.» — «Бог в любви». Это определение встречается позже в теоретических работах Толстого в 1880-х годах. Приведем два примера:

812. *Где любовь, тут и Бог. Бог — любовь.*

818. *Совет да любовь, на этом свет стоит.*

Еще одно определение Бога среди заметок — «Б.в.п.» — «Бог в правде» (такой рубрики нет). Как видим, даже определение Бога является для Толстого моральной, а не метафизической категорией.

Большая группа пословиц, отмеченных Толстым, предназначена для определения смысла жизни. Например, пометка — «з.ч.в.» — «знать, что важно» (II,25), стоящая при следующих пословицах:

139. *Не то беда, что во ржи лебеда, а то беда, как ни ржи, ни лебеды.*

306. *Были бы хоромцы, будут и знакомцы.*

Еще одна заметка, того же типа — «наз.ж.» — «назначение жизни» (II,1):

287. *Горько, горько, а еще бы столько (т.е. пожить).*

Лучше век терпеть, чем вдруг умереть.

34. *Человек не для себя рождается.*

Последнюю пословицу Толстой обвел двумя обрамлениями и, кроме того, на полях написал NB, чтобы оттенить важность для него этой мысли. Он отметил здесь пословицу, указывающую, по его мнению, на стоическое отношение к жизни.

Ряд пословиц, отмеченных Толстым, подчеркивает ответственность отдельного человека за свое поведение. Толстой делает пометки — «д.о.с.» — «добро от себя», «з.о.с.» — «зло от себя», «г.о.с.» — «грех от себя», «н.о.с.» — «несчастье от себя» (II,33). Два первых понятия встречаются даже дважды в третьем списке рубрик в ЗК (№ 14 и 53). Приведем примеры обоих:

233. *Добра желаешь, добро и делай.*

233. *Всяк от своих дел осудится и оправится.*

Учение Толстого о непротивлении злу, почерпнутое из Евангелия, высказывается заметкой — «н.б.» - «не борись» (II, 27) и — «н.пр.» — «не противься (злу)» — (II, 27):

142. *Бедного убить — не спасение нажать.*

142. *Обижена слеза не капнет на землю, а все на человеческую голову.*

Еще заметка, относящаяся к этой же теме, также взята из Библии — «н.с.» — «не суди» (II, 15):

208. *Согрешающих видим, а о кающихся Бог весть.*

814. *Не суди других, не осудишься от них.*

208. *С грехом бранись, а с грешником мирись.*

Последняя пословица употребляется Толстым в «Круге чтения» (41, 200). Сюда же можно отнести и его заметку «смирение»:

215. *Держи голову уклонну, а сердце покорно.*

Христианская форма смирения становится одной из важнейших тем в позднем творчестве Толстого. Особенно это проявилось в его рассказе «Отец Сергей».

В произведении «В чем моя вера?» (1883) Толстой указывает, что мысль о непротивлении злу насилием является, по его мнению, самой важной заповедью Евангелия: «Эта четвертая заповедь Христа была первой заповедью, которую я понял, и которая открыла мне смысл всех остальных. Четвертая простая, ясная, исполнимая заповедь: никогда силой не противься злу, насилием не отвечай на насилие: бьют тебя — терпи, отнимут — отдай, заставляют работать — работай, хотят взять у тебя то, что мы считаем своим — отдавай» (23, 362). Яснее этого невозможно выразить радикально-пацифистский взгляд. Толстой стремится и это понятие найти в пословицах.

Многие заметки касаются смерти, ее неизбежности. Это является продолжением заинтересованности Толстого проблемой смерти в «Анне Карениной». На полях около пословиц Даля писатель записывает — «см.» — «смерть» (II, 6):

29. *Голым родился, голым и умру.*

Или — «смерть добро»:

297. *Умирать — не лапти ковырять (т.е. не мудрено). Лег под образа, да выпучил глаза, и дело с концом.*

И еще одно сокращение — «смерть нужна». Толстой отмечает те пословицы, которые говорят о естественном отношении крестьян к смерти как к необходимости.

Группа пословиц, интересовавшая Толстого как писателя, касается слова, его силы и слабости. Он делает пометку «слово» на полях:

445. *Живое слово дороже мертвой буквы.*

Но чаще все же он отмечает пословицы, в которых слово и речь имеют негативный оттенок. На полях в этих случаях стоит «краснобайство», «празднословие» (I, 9). Пример последнего:

429. *Язык мой — враг мой.*

Эту пословицу цитирует Пьер в «Войне и мире» в своем дневнике, когда ищет верного способа жизни: «Присел брат Уру-

сов, беседовали о суетах мира. Рассказывали о новых предназначениях государя. Я начал осуждать, но вспомнил о своих правилах... Язык мой — враг мой» (10,180). Таким образом, как видим, пословицы употребляются в произведениях Толстого не только для придания народного тона речи действующих лиц, но также и как сентенции, обобщающие мысли его героев.

В начале книги Даля постоянно повторяется сокращение «все равно» (II,9), т.е. что доля и бедняка и богача, и незначительного и высокопоставленного человека, сама по себе, в принципе, одинакова:

23. *Не узнав горя, не узнаешь и радости.*

302. *Всякая могила травой зарастает.*

Последнюю поговорку можно найти в материалах к «Войне и миру».

Принимая во внимание биографию Толстого, представляется небезынтересным присмотреться к пометкам, сделанным им в главе «муж-жена» у Даля. Одна из записок тут: «не.пр.» — «не прелюбодействуй» (II,28) рядом с несколько шуточной поговоркой:

388. *Жена не седло: со спины не сымеешь.*

Толстой, как известно, очень строго относился к нарушению супружеской верности. Другая, подтверждающая это записка — «не.раз.» (III,48) — «неразрывность брака»:

193. *Муж да жена — одна душа.*

Муж да жена — одна сатана.

Самое важное понятие в записках Толстого это все же «соблазн», которое определяется и истолковывается посредством большого количества пословиц. Особенно важным становится это понятие в третьем списке в ЗК. Иногда это слово стоит само по себе, но часто оно уточняется и другими определениями: «Соблазн эгоизма» (III,61):

66. *Всякая сосна своему бору шумит.*

«Соблазн праздности» (III,60):

683. *Не наше дело пахать, наше дело орехи считать.*

«Соблазн богатства» (III,47):

842. *Лучше на убогой жениться, чем век с богатой волочить-ся.*

«Соблазн суеты» (III,63):

613. *Поспешишь, да людей насмешишь.*

И так далее. Под конец «соблазн» становится категорией, заслоняющей все остальные, и все рассматривается, исходя из этого понятия. Здесь, может быть, и кроется причина того, что сборник так и не был создан — границы между различными категориями затухивали все больше и больше по мере продвижения работы и подпали, наконец, под общее понятие «соблазн» (III-й список). «Соблазн» оказался самым показательным понятием в его описании действительности посредством пословиц.

Разумеется, количество записок во много раз превышает упомянутые здесь. Возьмем несколько примеров без указания пословиц, которые были Толстым отмечаны: «Б.п.» — «Божий путь», «в.Б.» — «воля Божья», «ж.в.Б.» — «жизнь в Боге», «л.вр.» —

«любви врага», «л.б.» — «людское безумие», «учись» и «труд».

Иногда Толстой подчеркивал пословицы без всяких пометок, и подчеркивание в основном означает согласие с высказанной мыслью. Но по подчеркиванию следующей пословицы следует, например, судить о его отношении к служителям церкви:

883. *Ходи в кабак, вино пей, нищих бей, будешь архирей.*

Некоторые особо важные для Толстого пословицы отмечаются посредством NB, как например:

569. *Не учи бездельно, учи рукодельно (с пометкой «труд»).*

В отдельных случаях применяются более длинные заметки, встречающиеся лишь однажды или дважды. При пословицах:

509. *От ворон отстала, к навам не пристала.*

511. *От черта отстал, а к людям не пристал* — стоит заметка: «колебания, нет еще веры».

На странице 291 далевого сборника пословиц Толстой написал: «Не за горами грех и спасение» — замечание, указывающее на его понимание того, что божье царство и борьба между добром и злом находятся «не за горами», а здесь, на земле.

При пословице:

289. *Вперед смерти наживайся. Жил не жил, а помирай,* — Толстой записал: «Эпикурическое назначение жизни». Такой подход к жизни был им осужден в «Исповеди» и означал для него способ жизни высшего слоя, противостоящий стоицизму простого народа.

Две более длинные заметки касаются Евангелия от Матфея (7, 16): «По плодам их узнаете их». А именно — «добро в плодах» и «смотреть по плодам» при следующих пословицах:

173. *Не родит верба груши.*

174. *Какой мастер, такова работа.*

Надо судить по результату, а не по замыслу, подразумевал Толстой.

Еще несколько примеров более пространных замечаний: «нет дурного, кроме греха» (П, 26) при пословице:

37. *От сумы да от тюрьмы — никто не отрекайся.*

Или: «Не смерть губит, а грех»:

177. *Не море топит корабли, а ветры.*

Иногда Толстой изменяет пословицы, Подчас это делается по стилистическим причинам:

124. *Крови и кровью не смоешь.* (Толстой вычеркивает «и»).

88. *В ропсук веселее, а с зажимкой прибыльнее* (т.е. жить). (Толстой перемещает предложения).

34. *Куда натянешь, там и круто.* (Толстой пишет: «натянет»).

В некоторых случаях он идет на изменение смысла пословиц для того, чтобы таким путем высказать свое мнение:

88. *Беручи рука приберется, а даючи не придается.*

Толстой здесь перемещает отрицание при втором глаголе к первому, чем придает своей заметке значение «жалей бедного».

Изменением другой пословицы выявляется критическое отношение Толстого к городской жизни.

175. *В оригинале: — У вас (в лесу) рубят, к нам (в город) щеп летит.*

В толстовском варианте: У вас в городе рубят, к нам в деревню щепка летит. То есть, в городе живут в роскоши и избытке, а деревне достаются только крохи.

Пословица о соотношении народа, духовной и светской власти изменяется следующим образом:

246. Коли Царь Бога знает, Бог и Царя и народ знает.

В толстовской редакции: Коли Царь Бога знает, народ и Царя и Бога знает. Этот вариант, где «Бог» стоит дополнением, несомненно более логичен и, что более важно, определяет царю скромную роль.

Как видим, Толстой положил много труда на исследование книги Даля «Пословицы русского народа». Чтобы разобраться в причинах этого, надо сопоставить его кропотливую работу над пословицами с литературным творчеством и биографией писателя этого периода.

В конце 1870-х годов Толстой переживал глубокий личный, духовный кризис, о чем свидетельствует, среди прочего, его «Исповедь».

Писательский труд и семейная жизнь уже стали недостаточными для того, чтобы в них находить смысл жизни. Как жить с сознанием близости смерти, спрашивал себя писатель. Устами Левина в конце романа «Анна Каренина» он формулирует эти мысли следующим образом: «С той минуты, как, при виде любимого умирающего брата, Левин в первый раз взглянул на вопросы жизни и смерти сквозь те новые, как он называл их, убеждения..., он ужаснулся не столько смерти, сколько жизни без малейшего знания о том, для чего, зачем и что она такое» (19,367).

Ответ на этот вопрос о смысле жизни Толстой наконец находит в учении Евангелия о любви к ближнему. В 1880-х годах он пишет целый ряд произведений, где обсуждает учение Евангелия: «Краткое изложение Евангелия» (1881), «В чем моя вера?» (1883), «Так что же нам делать?» (1886). Те морально-эстетические категории, которые сопровождают заметки Толстого к пословицам, подверглись тщательному анализу в этих произведениях.

Правда о смысле жизни, приходит к окончательному выводу Толстой, кроется в мудрости простого народа. Крестьянин учит помещика Левина в «Анне Карениной», что он должен жить для своей души. В «Исповеди» Толстой рассказывает о том, каким образом он в конце концов пришел к выводу о том, что именно вера простого народа истинна: «Жизнь же всего трудящегося народа, всего человечества, творящего жизнь, представилась мне в ее настоящем значении. Я понял, что это — сама жизнь, и что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принял его» (23,40). Работа, затраченная Толстым на «Пословицы русского народа» Даля, обуславливается в значительной мере его стремлением объединить мудрость народа, выраженную в пословицах, с учением Евангелия. Толстому хотелось доказать, что нравственная суть пословиц и Нового Завета — одна и та же³.

Особенно интересным в связи с заметками Толстого к пословицам становится то, что они были сделаны так рано. Их можно воспринимать как квинтэссенцию или как набросок религиозно-

философских взглядов Толстого к его произведениям 1880-х годов. Поэтому было бы крайне важным издать полностью все заметки писателя с соответствующими им пословицами, т.е. в какой-то мере осуществить планы самого Толстого. В этом случае стало бы возможным создать понятие о семантической сфере многих пословиц, встречающихся в произведениях Толстого, таким же способом, каким мной в данной статье осуществляется реконструкция хода мысли самого Толстого: путем тщательного рассмотрения пословиц, воплощавших, по мнению писателя, народную мудрость и истину, через призму нравственной проблематики.

По комментариям и заметкам к пословицам можно не только проследить за ходом мысли Толстого в его поисках выхода из духовного кризиса, но и заглянуть в его творческую лабораторию, увидеть, как он выбирает пословицы, как он изменяет их для своих целей, что он ищет в них и к каким выводам приходит. В «Анне Карениной» Кити и Левин объясняются в любви при помощи ряда сокращений. А в «стокгольмском» экземпляре Даля перед нами предстает нравственная философия Толстого, зашифрованная посредством столь же, на первый взгляд, неразборчивых сокращений и условных знаков. Однако пытливый ум исследователя способен сорвать с них столетний покров тайны и открыть новым поколениям возможность сопутствовать Толстому в его поисках смысла жизни и смерти...

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Зайденшнур Э.Е. Пословицы и поговорки в произведениях, дневниках и письмах Толстого. // Литературное наследство. Т.69. Лев Толстой. Книга первая. М., 1961. С.566. Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. 1. Книги на русском языке. Ч.1. М., 1972. С.243 и 250.

2. Зайденшнур. Указ. соч.

3. О религиозных взглядах Толстого см.: Weisbein Nicolas. L'évolution religieuse de Tolstoi. Paris, 1960.

Т.Н. Архангельская

ТОЛСТОЙ ЧИТАЕТ РОМАН В. ГЮГО «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

1

Изучение книг, сохранившихся в яснополянском доме-музее Л.Н. Толстого, неоднократно помогало выявлять новые факты творческой биографии писателя. Не составляют в этом отношении исключения и сочинения В. Гюго — имеющиеся здесь свыше двух десятков книг в различных изданиях на французском и русском языках.

Л.Н. Толстой относил В. Гюго к числу писателей, которые «переживут несколько поколений и будут оценены не одними соотечественниками» (74,236). Составляя список сочинений, имевших на него наибольшее влияние в возрасте от 35 до 50 лет, Толстой оценил выше всего, как произведший «огромное впечатление», роман Гюго «Отверженные». О сохранившихся в Ясной Поляне изданиях этого произведения и пойдет далее речь. При непосредственном обращении к книгам обнаруживаются любопытные детали, до сих пор не отмеченные исследователями.

Еще в 1872 г. Толстой изложил один из эпизодов «Отверженных» — встречу епископа Мириеля с Жаном Вальжаном — в рассказе для «Азбуки» под названием «Архиерей и разбойник». Этот же эпизод, но в иной обработке, был включен Толстым в качестве «Недельного чтения» в «Круг чтения», напечатанный в 1906 году. Изучение процесса создания этого текста имеет свою историю. М. Чистякова в статье «Лев Толстой и Франция» (Лит.наследство, 1937. Т.31-32) утверждала, что Толстой снова переработал главу из романа Гюго в пору подготовки изданий для «Посредника»; А.А. Сахалтуев, («Материалы VI конференции... Шадринского Пединститута», 1969 г.), развивая это ошибочное утверждение, добавлял, что отрывок о Мириеле, который Толстой «перевел на русский язык», вышел в «Посреднике» уже после смерти Толстого. Кстати, Толстой получил из Петербурга в 1909 г. сохранившееся в библиотеке отдельное издание его рассказа под названием «Епископ Мириель», вышедшее в первой серии книжек «Библиотечки-Копейки». В 1957 г. в комментариях к 42-му тому собрания сочинений Толстого Н.Н. Гусев писал: «Для “Круга чтения” Толстой поручил своей племяннице, Е.В. Оболенской,

подготовить сокращенный перевод этого эпизода романа Гюго. Сохранился написанный Е.В. Оболенской сокращенный перевод соответствующих глав романа, исправленный Толстым...» (42, 666). Несмотря на то, что ничего не сообщалось об источнике этих сведений, о времени этой работы, факт перевода текста Гюго Е.В.Оболенской как бесспорный был впоследствии дважды отмечен в статьях Э.Е. Зайденшнур и Б.М. Шумовой, в сборнике «Толстой — редактор» (М., 1965). Б.М. Шумова обратила внимание на то, что при публикации текста в «Круге чтения» не указан переводчик. Изучение дневников и писем Толстого, мемуарной литературы, относящейся к периоду его работы над «Кругом чтения», ничего не прибавляло к сказанному в комментарии.

Между тем, оказалось, что начальная фраза написанного Е.В. Оболенской текста абсолютно совпадает с соответствующей фразой Гюго «Отверженные» в первом русском переводе книги в издании А.С. Суворина (1882 г.). А дальнейший сравнительный анализ записи Оболенской и текста Гюго по сохранившемуся в Ясной Поляне экземпляру этого издания с учетом оставшихся в книге пометок карандашом убеждает в том, что хранящаяся в архиве Толстого в Москве рукопись Е.В. Оболенской — это отнюдь не ее перевод, а обработка книжного текста, сделанная, возможно, при ее участии. Анализ правки, большей частью далеко не механической, сделанной не только в целях сокращения, позволяет утверждать, что это не была, как иногда случалось с другими текстами для «Круга чтения», работа, выполненная по поручению Толстого, на первых порах без его участия. Ряд обнаруженных изменений текста, иногда тут же отвергнутых или исправленных, проявляющиеся в них типичные для Толстого особенности и приемы сокращения и обработки выбранного материала дают основание считать несомненным участие в этой работе Толстого, хотя его помет в этой части книги не встречается. Видимо, с самого начала при обработке текста, может быть, на слух, при чтении и в беседе, Толстой определял те или иные места в тексте и останавливался на них. Иногда встречаются в книге как бы беглые заметки торопившихся внести изменения за говорившим: недописанное слово, незакрытая скобка, скобка, поставленная наспех не там, где надо (например, на с.32, с.47). Далее речь пойдет о следах работы редакционного характера, оставшихся в тексте глав I-XII второй книги романа «Отверженные». Окончание работы отмечено двумя параллельными «отчерками» в конце XII главы второй книги. Подвергшийся правке текст занимает в книге 23 страницы. После правки он составляет 9 листов в рукописи Оболенской и 6 страниц в т.42 Полного собрания сочинений Толстого.

Из первой книги романа была заимствована лишь одна начальная фраза: «В 1815 году преосвященный Шарль-Франсуа-Биенвеню Мириель был епископом в Д». Вслед за этим в книге поставлена карандашом скобка, означающая сокращение всего последующего текста. Пометы в тексте I главы второй книги («Вечер после дня ходьбы») отразили поиск начала повествования. Часть надписей, видимо, тут же была стерта. Сохраняя довольно пространное описание пешехода, искали, как сократить малохарактерные опи-

сания города, его обитателей. Упрощена фраза о доме епископа: вместо «низенький дом рядом с епископским дворцом» — вписаны слова: «маленький дом епископа». К словам старушки: «ступайте постучитесь» были приписаны слова: «Путник постучался». Следующий далее текст II главы оказался в скобках, кроме последних слов: «Войдите, — отозвался епископ». ...Здесь непосредственно начиналось действие интересовавшего Толстого эпизода. Все предыдущие наметки правки были оставлены. К первой фразе в записи Оболенской было приписано для связи: «Однажды в дверь епископского дома кто-то постучался довольно громко». — На полях с.32 в книге сохранились надписи, образовавшие эту фразу: «однажды вечером» и «в дверь епископского дома». Слова «довольно громко» были заключены в скобки и, хотя они и вошли в запись Оболенской, их потом Толстой исключил, возможно, найдя их лишними и справившись еще раз в книге. К книжному варианту Толстой возвратился и во фразе: «епископ спокойно смотрел».

Поскольку текст первых трех листов записи Е.В. Оболенской с анализом правки ее Толстым полностью приведен в публикации Б.М. Шумовой («В. Гюго. Епископ Мириель») в сборнике «Толстой — редактор», укажем лишь на несколько случаев имеющих здесь и на следующих листах рукописи расхождений с текстом Гюго. Очевидны бóльшая ясность, простота и точность, проявившиеся при такой замене слов: «энергически — энергично»; «новоприбывшему — пришедшему»; «собирался уже лечь спать-укладывался»; «приготовлена ... постель — постлана ... постель»; «жандармский бригадир — жандарм»; «двенадцать лье — двенадцать верст»; «всякий вечер — всякий раз» и т.д. Подобная стилистическая правка отразилась и в пометках в тексте книги; например, слова: «жандарм», «верст» надписаны в книге. Во фразе: «Ранец висел у него за плечами» — измененный порядок слов тут же обозначен цифрами над словами. Эту фразу, привлекающую внимание, вероятно, неудачным построением, Толстой еще раз изменит при правке записи Оболенской. Подобная же неудачная фраза о желтом паспорте: «это служит к тому, чтобы...» была изменена в записи Оболенской: «он служил к тому, чтобы», а затем еще раз исправлена Толстым весьма лаконично: «Из-за него»...

Создается впечатление, что приводимый ниже пример изменения текста — тоже результат поиска и совета Толстого:

У меня деньги есть.
Мой заработок. Сто девять
франков пятнадцать су,
добытые работой на
каторге в продолжение
девятнадцати лет.

У меня деньги есть,
сто девять франков,
заработанные мной
в продолжение девят-
надцати лет на каторге.

Любопытно, что в записи Е.В. Оболенской после слов: «У меня деньги есть» было надписано сверху и, видимо, тут же ею зачеркнуто: «109 руб. 15 коп.», а на полях приписано «сто девять франков». Излишне «руссифицированный» вариант был отменен. Зато выражение из книги «мосье» сразу было заменено на «государь»; в 1903 г. при подготовке 2-го издания «Круга чтения» Толстой изменит его на «сударь».

Приведенные примеры разночтений — свидетельство не просто стилистических усовершенствий, которые могли бы позволить себе помогавшие Толстому в работе помимо его участия. Иначе почему, например, от отрывка: «Славный вы священник, наверное, и денег с меня не возьмете? Вы кюрэ? Кюрэ этой большой церкви?» — осталась лишь довольно нейтральная фраза: «Вы, верно, священник этой большой церкви?» В корректуре снята фраза о доброте епископа и из описания беседы перед ужином. Дорожа идеей рассказа, Толстой избегает преждевременных, не подкрепленных делом, суждений о доброте Мириеля, чтоб не раздробить, не ослабить впечатления в конце рассказа, где с такой силой проявится это главнейшее свойство его натуры.

Большинство случаев первичных разночтений, как правило, обозначает места, подвергавшиеся и позднее уточнениям, выбору более удачного варианта, вплоть до правки Толстым в корректурах. Рукопись Е.В. Оболенской представляет интерес как промежуточное звено в процессе этой работы.

О второй части рукописи Е.В. Оболенской (4-9 листы) в статье Б.М. Шумовой сказано, что здесь «за исключением одного слова, нет исправлений Толстого». Это неудивительно при общем бережном отношении Толстого к тексту одного из самых любимых им произведений. И все-таки интересно продолжить сравнение текста у Толстого с материалом остальных 15 страниц его книжного источника. Сравнительный анализ текстов Гюго и Толстого позволяет говорить, что и в этой части повествования была сделана настоящая редакторская правка, своеобразная, не всегда отразившаяся в пометах в книге или в тексте записи, иногда возникшая в корректурах, вполне соответствующая по своей направленности и приемам уровню Толстого-редактора. Вот несколько примеров:

Здесь никто не хозяин,
кроме того, кто нуждается
в крове. Я говорю вам,
путнику, вы здесь более
хозяин, чем я сам.

Здесь хозяин тот,
кто нуждается
в крове.

Послушайте, господин
кюрэ! — воскликнул гость, —
Я был очень голоден, но
вы так добры, что теперь
Бог знает, что со мной
делается, даже голод со-
всем прошел.

Да, я голоден,
когда вошел сюда, —
сказал гость, — но
вы так удивили
меня, что и голод
прошел.

Промежуточная стадия обработки этого отрывка отражена в записи Оболенской: «Я был очень голоден, когда вошел сюда, воскликнул гость, но вы так поразили меня своей добротой, что теперь Бог знает, что со мной делается, даже голод прошел». На с. 34 яснополянского экземпляра книги Гюго есть следы изменений фразы о принесенных приборах. В сочетании «три прибора» слово «три», обведенное карандашом, было исключено, исправлено соответственно «приборы», а вместо «симметрически расположенные перед каждым из сидевших», стало «симметрично разложенные

перед каждым из сидящих». Далее были введены слова «После ужина» перед следующей фразой. Все эти изменения отражены в рукописи Оболенской.

Отметим разночтения в тексте на с.36:

Гость поставил подсвечник на столик. — Ну, — сказал епископ, теперь пожелаю вам доброй ночи.

...епископ поставил подсвечник на столик и, пожелав ему спокойной ночи, удалился.

Пропустив далее заключенное в скобки в книге окончание главы V и полностью текст VI-IX глав, Толстой переходит к отрывку из главы X (с.44) о раздумьях проснувшегося ночью Жана Вальжана перед кражей им серебряных приборов. Отрывок также записан с изменениями:

Вместе с суповой ложкой продажей их можно было выручить до двух сот франков. Вдвое больше, чем то, что он заработал в девятнадцать лет.

...продав их, он мог выручить вдвое больше того, что заработал в течение своего девятнадцатилетнего пребывания на каторге.

В следующем отрывке главы X восстановлена из скобок, поставленных в книге, фраза «в доме все было тихо». Были колебания относительно названия обуви, в книге написано «сапоги» над зачеркнутым «башмаки». В записи Оболенской здесь встречается, видимо, ее правка, сделанная тут же со слов Толстого: зачеркнут отрывок «взял ... на постель» (14 слов), слово «сапоги» зачеркнуто и на полях восстановлено «башмаки»; о ранце было записано «взвалил на плечи», это зачеркнуто и восстановлено, как в книге: «вздел на плечи». Интересна перестройка последних слов отрывка. В книге читаем: «Дойдя до двери, он нашел ее только притворенной». В записи Оболенской фраза совпадает с книжной, но добавлены очень важные для характеристики Мириеля слова: «Дойдя до двери, он нашел ее только притворенной: епископ даже не запер ее за собой». В окончательный текст вошло: «Дверь спальни была притворена: епископ даже не запер ее за собой». Отметим изменения в идущем далее отрывке из окончания главы XI:

...зашагал вдоль постели прямо к шкафчику, находящемуся у изголовья.

...быстро, не глядя на епископа, прошел прямо к шкафчику.

(В рукописи Оболенской написано «к шкафчику».)

...не обращая внимания на шум, достиг двери, вернулся в моленную, открыл окно... сунул серебро в свой ранец, бросил корзину, пролетел через сад, перелез через забор, как тигр, и убежал.

...не обращая внимания на производимый им шум, дошел до окна... сунул серебро в ранец и, быстро перебежав сад, перелез через забор и скрылся.

В тексте книги в этом месте заключены в скобки слова: «двери

... открыл» и подчеркнуто слово «пролетел». Разночтения в этом отрывке также образовались на стадии записи Оболенской; стиль его, безусловно, выиграл, приобретя ясность и большой динамизм.

Перечеркнутая в книге скобка, восстановление в записи Оболенской фразы, намеченной к исключению, встречается в словах об украденном серебре (с.47). Фраза «ушел, а серебро украдено» изменена и у Толстого оживлена: «Он ушел и унес наше серебро. Глядите, вот он перелез тут!» Последние слова добавлены из предыдущего абзаца.

Неотмеченные в книге для сокращения отрывки об оловянных и железных приборах, о ворчании мадам Маглуар, однако, не вошли в текст Толстого, видимо, как не имеющие прямого отношения к сюжету рассказа. Зато заключительная часть главы размером в целую страницу перешла в текст Толстого почти без изменений, хотя и здесь найдем кое-где скобки в книге и небольшие стилистические усовершенствования в тексте. Например:

Брат и сестра собирались
встать из-за стола, когда
в дверях раздался стук.

Он только собирался
встать из-за стола,
как в дверях раздался стук.

... взял подсвечники с расте-
ранным видом.

... машинально взял
подсвечники и растерянно
смотрел на них.

Поправлена (в рукописи Оболенской) и самая последняя фраза, где зачеркнуты слова «мрачные мысли».

2

Рукопись Е.В. Оболенской, ставшая наборной рукописью «Епископа Мириеля», обнаруживает следы поспешности в завершении работы над ней. После правки Толстым первой части, ее начал переписывать Н.Л. Оболенский. Но далее, как это не раз случалось с рукописями Толстого, сюда были переложены те листы из первоначальной редакции, где правка Толстого незначительна, здесь лишь встречаются отдельные исправления Оболенских. Возможно, эта подготовка рукописи происходила во второй половине декабря 1904 г., когда «Круг чтения» завершался для отправки в Москву И.И. Горбунову-Посадову. Н.Л. Оболенский в это время жил в Ясной Поляне.

Относительно же времени и обстоятельств описанной выше работы над текстом романа Гюго можно высказать лишь предположения. В архиве Толстого сохранился список «Недельных чтений», составленный Х.Н. Абрикосовым и уточненный Толстым. Он упоминается в письме И.И. Горбунова-Посадова, датированном началом января 1905 г. «Недельные чтения» тогда назывались «Воскресеньями». В списке, озаглавленном «Воскресенья (готовые)» под № 53 значится «Епископ Мириель», отнесенный Толстым к возникшей с самого начала работы над «Кругом чтения» рубрике «Добро». В подобном списке «Воскресений», составленном Д.П. Маковицким, также находим это название с уточнением отдела и сюжета: «Добро за зло. Мириель и Жан Вальжан».

Косвенным свидетельством времени работы Е.В. Оболенской над этим материалом, возможно, является запись в дневнике Д.П. Маковицкого, гостившего тогда в Ясной Поляне с 26 октября по 2 ноября 1904 г. 30 октября им записано: «Лев Николаевич приглашает всех домашних работать над «Кругом чтения»... При мне Льву Николаевичу в работе над «Кругом чтения» помогали: Мария Львовна, Н.Л. Оболенская, Н.М. Сухотина, А.В. Толстая, Ю.И. Игумнова, В.В. Нагорнова, Х.Н. Абрикосов, И.И. Горбунов, Александра Львовна, Михаил Львович, Е.В. Оболенская»¹.

Анализ пометок в издании «Отверженных» позволяет установить, что они были сделаны рукой Х.Н. Абрикосова, которой, по словам Д.П. Маковицкого, «больше всех помогает Льву Николаевичу в работе над «Кругом чтения»... Лев Николаевич иногда подходит к груде материалов для «Круга чтения» и говорит: — Это — абрикосовская фабрика»².

Пометки Х.Н. Абрикосова, запись текста Е.В. Оболенской, таким образом, отразили процесс обработки глав из романа Гюго Толстым. Вполне возможно, что сделано это отчасти под диктовку с одновременным редактированием. О том, что такой метод был свойствен Толстому, свидетельствует Д.П. Маковицкий в той же записи дневника. По поводу одного из отрывков для «Круга чтения» Толстой сказал 29 октября 1904 г.: «Сейчас продиктую кому-нибудь завешание мексиканского короля». 31 января 1905 г. Толстой, прочитав английскую книгу, обратился к В.А. Кузьминской: «Читал Капентера... и буду тебе диктовать по-русски для «Круга чтения»»³.

Работа над рассказом о Мириеле, когда Толстой вновь обратился к тексту, хорошо ему знакомому, по-видимому, заняла непродолжительное время, и этот частный эпизод не нашел отражения ни в дневнике Толстого, ни в мемуарной литературе.

Немало помет, также не привлекавших до сих пор внимания исследователей, осталось в тексте первой книги этой же части романа «Отверженные», посвященной жизнеописанию Мириеля. Это — отчеркивания карандашом, типичные по манере для позднего Толстого.

На раннем этапе работы, как отмечает Н.Н. Гусев в статье об истории создания «Круга чтения», в сентябре 1904 г. у Толстого появилась мысль поместить в него «в виде «Недельных чтений» ряд биографий людей, духовно ему близких» (42, 559). В октябре Толстой писал Стасову о том, что его интересуют «биографии великих добродетелью людей», «истинно великих людей, не одних русских» (75, 178, 179). Практически к этой работе Толстой не приступил, но его намерение сказалось, например, в интересе к личности французского священника и философа Ламеннэ, очерк жизни и изречения которого приведены в «Круге чтения». Мириель, при всем своеобразии его как литературного персонажа, имеет много общего с Ламеннэ в отношении кодекса моральных истин и пути «из католичества, из христианства в революционерство»⁴.

Представляется существенным и такой факт: в период работы над «Кругом чтения», перечитывая Лескова, Толстой заинтересовался серией его рассказов о «праведниках». В тексте лесковского

«Однодума» Толстым было отчеркнуто свыше 300 строк⁵. Пометки в интересующей нас части романа Гюго и по направлению, и по внешнему виду однородны с пометками в томах собрания сочинений Лескова. Эта книга «Отверженных», кстати, называется «Праведник». Можно было бы проследить некоторую аналогию в проявлениях характера и взглядах на жизнь обоих «праведников» при всем различии положений квартального и французского епископа. (У того и другого, например, в торжественный момент не оказалось приличного «форменного платья», оба довольствуются в жизни малым, отказываясь от возможных добавок к «жалованью», оба честны, совестливы, справедливы. По поводу слов епископа о том, что он не по праву владел серебряными вещами, которые должны были бы принадлежать бедным, можно напомнить суждение лесковского Рыжова о податях: надо «еще прибавить на всякую вещь роскошную, чтоб богатый платил казне за бедного». К тому и другому можно отнести слова Лескова из «Однодума»: «широкое боговедение... отвечало его душевной настроенности»).

3

Таким образом, обращение Толстого к описанию жизни и характера Мириеля — шаг естественный и логичный в этот период его творчества. Пометы в первой книге «Отверженных» захватывают более 900 строк (на 24 страницы текста, напечатанного в два столбца), что по объему составляет не менее одной трети текста. Ниже приводится краткий анализ этих помет, публикуемых впервые.

Три первых отчеркнутых отрывка (всего 20 строк) касаются описаний молодости Мириеля, его внешности, женитьбы, дальнейшей судьбы в годы эмиграции и исполнения обязанностей кюре в Бриньомсе уже стариком. На с.2 отмечено описание важной в биографии Мириеля встречи с Наполеоном, результатом чего было удивившее Мириеля назначение его епископом в город Д. Толстой отметил характеристики двух спутниц жизни Мириеля, описание его водворения в епископский дворец. А на следующей странице выделил отрывок в 42 строки о том, как «двадцать шесть больных были переведены в епископский дворец» по решению Мириеля, а епископ перешел в маленькое помещение бывшего госпиталя.

Целиком отчеркнул Толстой своеобразную «смету расходов» Мириеля, включая и слова о том, что во все время управления епархией епископ сохранил ее неизменной, т.е. его забота о ближних не прекращалась. Отчеркнул Толстой и строки о подобном же употреблении на благотворительные дела дополнительно выхлопотанных денег.

В описании прибытия епископа в старинную резиденцию отмечена фраза: «Во время объездов он был снисходителен и кроток и менее проповедовал, чем беседовал». Далее Толстого привлекла беседа епископа с людьми, ссорившимися из-за денег, когда приводилось в пример одно из селений, где дружно живут, не зная «ни судьи, ни приставов».

Не обошел вниманием Толстой и освещенный доброй иронией

момент в библиотеке, когда епископ, будучи мал ростом, подшучивает над собой: «мое высокопреподобие не достает до этой полки». Особенно пространны выделенные Толстым отрывки в главе IV под названием «Дела соответствуют словам». — Это и ответ епископа кузине, заранее делящей наследство, и ироническое замечание о жадном купце, который, наслушавшись об ужасах ада и прелестях рая, стал подавать мизерную милостыню в один су нескольким старухам («Вон г. Жеборан покупает на один су рая»); полностью отмечен текст о маркизе Шантерсье, скупом на помощь бедным.

На с. 7 выделен отрывок о том, что епископ не спешил осуждать, его рассуждения о грехе. Начиная со слов: «Он был снисходителен к женщинам и к бедным», отмеченные отрывки следуют один за другим. Здесь выпадают из складывающегося связного рассказа, оставаясь неотчеркнутыми, лишь строки, не важные для нити повествования. Например, сразу начато с описания суда за фальшивую монету, не отмечены рассуждения о приговоренном, отвлеченные заключения о епископе как «великом утешителе». В отчеркнутую часть вошло, однако, обширное авторское повествование об эшафоте. Это — проявление давнего интереса Толстого к близкой ему у Гюго теме борьбы против смертной казни.

В описаниях ежедневного распорядка дня, занятий епископа, обстановки его дома (гл. V, VI) Толстой выделяет конкретные детали. Это например, занятия в саду, здесь включен разговор с мадам Маглуар о пользе красоты. Не отмечив пространной характеристики сочинений и исследований епископа, описаний спальни и библиотеки, т.е. как раз того, что не пригодится для рассказа о Мириеле в связи с последующей встречей его с Жаном Вальжаном, Толстой, как бы памятуя об этом, выделит описание серебряных приборов и подсвечников, выше отметит, что в молельной стояла запасная кровать, а на следующей странице отчеркнет важные для рассказа слова о том, что дверь дома Мириеля оставлялась нараспашку перед каждым желающим войти.

Полностью, кроме 5 последних строк, отчеркнут текст гл. VII («Краватт»), где, по словам автора, повествуется об одном случае из тех, «которые лучше всего обрисовывают личность епископа», одержавшего нравственную победу над разбойниками.

Ничего не отметив в гл. VIII, Толстой выделил в гл. IX отрывки из писем мадемуазель Батистин, дающие сжатую характеристику свойств и привычек Мириеля. Причем отрывок о своеобразной храбрости епископа, который не запирает дверь даже ночью, отчеркнут второй раз. Отмечено Толстым (на с. 18) и то, что епископ при его простодушии, кротком и скромном виде «делал иногда великие и смелые вещи, сам, по-видимому, не догадываясь об этом».

В гл. X, XI отмечен рассказ епископа о поездке в синод епископов в Париж, где он «не привился», отчеркнуто авторское отступление о прямой зависимости роскоши одних от бедствий других; дважды отчеркнуты (на с. 21) строки об одиночестве не пришедшегося ко двору епископа. Тема одиночества заострена Толстым и в очерке о Ламенне, жившем в старости «почти в

удинении и бедности, посвятив себя исключительно литературным занятиям» (42, 163).

Есть пометки и в гл. XII («Во что он верил»). На с. 22 отмечен авторский отзыв о епископе, содержащий такие слова: «мы убеждены лишь в одном: он никогда не разрешал религиозных затруднений лицимерием»..., «вне пределов веры и выше ее в епископе был избыток любви». Находя нужным отчеркнуть на с. 23 абзац о том, что каждому узнавшему его епископ виделся не только «добряком», но и «внушительным человеком», Толстой отметил в последней главе еще десять строк, своеобразно завершающих характеристику епископа Мириеля: «Есть люди, трудящиеся над добыванием золота — он трудился над добыванием жалости. Мировая нищета была его рудой. Везде горе было для него поводом выказать великодушие... «Любите друг друга», — эту заповедь он провозглашал совершенной, не желал большего и в ней состояло для него все вероучение».

Сделав эту первичную редакционную обработку первой книги романа, Толстой, вероятно, не предполагал использовать сложившееся в итоге повествование как самостоятельное произведение. Выше было замечено, что он не упустил моменты повествования, которые будут развиты в главах второй книги. Гораздо более динамичная, богатая действием вторая книга оказалась ярче и по существу воссоздала тот же душевный облик Мириеля, но проявленный в конкретных поступках. И материал, намеченный на страницах первой книги, был заключен в скобки и оставлен, как это не раз случалось у Толстого, и произошло, к примеру, с «Однодумом» Лескова.

4

Анализ помет Толстого дает более полное представление о том, что же было так дорого ему вообще в образе Мириеля. Сцена же встречи с Жаном Вальжаном всегда сильно волновала писателя. В апреле 1907 г., когда рассказ уже был напечатан в «Круге чтения», Толстой попросил гостившего в Ясной Поляне Ф.А. Страхова прочесть его мальчикам в школе, прибавив при этом: «Я не могу... Это такая история, — она меня за душу хватает, я ее не могу читать»⁶. Незадолго до этого Толстой выбрал в сборнике И.И. Горбунова-Посадова «Рождественская звезда» (сохранился в Ясной Поляне) большой отрывок из романа «Отверженные» о Козетте («Жаворонок в неволе»), чтобы включить его в задуманный «Детский круг чтения», и сказал: «Козетта из «*Misérables*» как хороша! Представляю себе, как будет нравиться детям»⁷.

В яснополянской библиотеке сохранилась перedelка романа Гюго в драматическую форму, присланная Толстому автором перedelки (Paul Maugice) в 1900 г.

Еще в середине 80-х годов у Толстого возникло намерение издавать некоторые сочинения Гюго в переложении для народного чтения через книгоиздательство «Посредник». Обработку «Отверженных» согласился сделать старший сын Толстого. Сообщая об этом В.Г. Черткову, Толстой писал 16-17 января 1886 г.: «“*Misérables*” очень понравилось Сереже. Я буду поощрять его»

(85, 308). Это намерение не осуществилось. Но, возможно, в связи с этим возникли следы чтения Толстого в последующих главах того же экземпляра «Отверженных». Карандашных помет здесь нет. Но страницы, оставшиеся до сих пор с загнутыми уголками, обнаруживают некоторую закономерность в их подборе: все они посвящены тем или иным существенным моментам описания жизни Жана Вальжана. Так загнут типично для Толстого («вдвое») уголок с.200; здесь читаем о том, как Козетта получает от незнакомца куклу. На с.212 начинается глава о Жане Вальжане и Козетте «Гнездо для совы и малиновки». (Приведем фразу с соседней страницы: «Епископ пробудил на его горизонте зарю добродетели, а Козетта — зарю любви»).

«Вдвое» загнут уголок с.595; здесь повествуется о том, как Жан Вальжан освобождает и отпускает Жавэра. Отмечены также страницы, рассказывающие о спасении Жаном Вальжаном из топи умирающего Мариуса (с.626-627), о встрече Жана Вальжана с Жавэром (с.637-639), об отказе Жана Вальжана от Козетты (с.687). В качестве резюме по поводу отношения Толстого к герою романа Гюго напомним одну его фразу. В 1908 г., в пору, когда при подготовке второго издания «Круга чтения» Толстой снова обратился к сочинениям Гюго, внес мелкие поправки в текст «Епископа Мириеля», — Н.Н. Гусев привел в разговоре слова из беседы с посетителем о том, что уголовные «очень доступны, восприимчивы, отзывчивы на христианские взгляды». — «Как же, Вальжан — уголовный»⁸, — тут же с готовностью подтвердил Толстой.

В 90-е годы «Посредник» издал несколько переложений произведений Гюго. В яснополянской библиотеке сохранилось, наряду с другими, издание «Праведный старец» (1894 г.). Автор в книге не указан. Текст предназначен для народного чтения, составлен произвольно, встречаются фактические неточности. Книжка охватывает те же две начальные главы романа, к которым десять лет спустя обратится Толстой.

В мае 1888 г. в Ясной Поляне гостил английский журналист Уильям Стэд. Одной из самых значительных тем его бесед с Толстым была тема о возможности организации Международного «Посредника». Как отметил Стэд, Гюго Толстой «предполагал издать в первую очередь из французов, заметив при этом, что «Отверженные» заслуживают того, чтоб их читали на всех языках мира»⁹.

В библиотеке Ясной Поляны роман Гюго имеется также в русском издании 1902 г. (под заглавием «Несчастные»). В книге неоднократно встречается оттиск штампа яснополянской народной библиотеки. Была ли она в руках у Толстого, неизвестно.

Представлены в Ясной Поляне и первые зарубежные издания «Отверженных». Это первая часть романа «Фантина», вышедшая в Париже в 1862 г.

5

Исследователь связей В. Гюго с Россией М.П. Алексеев отмечал, что в условиях усиления цензурного режима в начале 60-х годов прошлого века старания «правительства лишить русского

читателя перевода этого романа не смогли уменьшить огромного к нему интереса. Его читали у нас по-французски, привозя экземпляры из-за границы, и они ходили по рукам, вызывая споры и восторги»¹⁰.

8 февраля 1863 г. появилась в дневнике Толстого лаконичная, но выразительная запись: «*Misérables* — сильно» (48, 52). Запись, вероятно, была вызвана чтением упомянутого выше издания. Есть также в Ясной Поляне четыре книжечки малого формата, охватывающие IV–XVI главы романа в брюссельском издании 1862 г. Здесь есть некоторые следы чтения, возможно, принадлежавшие Толстому, но они не столь определенны и еще ждут исследования. Если пометы можно отнести к периоду первого чтения романа Толстым в 1863 г., то это было время работы над «Войной и миром», мог сказаться его интерес к конкретным деталям французской истории. Например, в гл. 4 кн. II было отмечено загнутым уголком на с. 30 описание осмотра Брюнезо парижских клоак, шедшее с 1805 по 1812 год. Кстати, в русском издании в этом же месте романа Гюго загнут уголок. На с. 89 в кн. IV брюссельского издания отчеркнуто 22 строки, содержащие критику Курфейраком хартии, дарованной народу. Соответственно загнут уголок с. 324 в русском издании романа.

Зарубежное издание романа, видимо, явилось источником упомянутой выше первой обработки Толстым сюжета о епископе и Жане Вальжане для «Азбуки». Уже тогда отозвалась в душе Толстого тема Гюго об относительности понятий преступления и наказания, общественного или служебного долга — на фоне проявлений доброты и человеколюбия. Любопытны варианты окончания истории с Мириелем. В автографе «Азбуки» было написано, что после слов архиерея о том, что вещи подарены разбойнику, «полицейские пустили его». Преступление вообще не рассматривается. В окончательном варианте «Архиерея и разбойника», напротив, нет речи о том, чтобы отпустить виновного. Вопреки спасительным доводам архиерея «разбойник заплакал и сказал полицейским: «Я вор и разбойник, ведите меня». Видимо, для детей, в воспитательных целях, такое окончание было признано лучшим. В «Епископе Мириеле», как уже было сказано, Толстой почти точно повторил текст Гюго.

Возможно, со времени раннего чтения Толстым романа Гюго остались загнутые уголки в тексте кн. IV в главе под названием «Жавэр сошел с рельсов» (в брюссельском издании с. 128–130, им соответствуют загнутые уголки в русском издании с. 637–639). Толстому встретилась здесь та же ситуация, что выражена в автографе рассказа в «Азбуке», когда разбойник «бросил дурные мысли и стал добрым». Толстого заинтересовали размышления Жавэра, который «изменил себе». Его пугают новые мысли о том, что каторжник, оставив ему жизнь, не только исполнил долг, но сделал «нечто большее». — «А я, помиловав его в свою очередь, что исполнил? Долг свой? Нет, нечто более. Итак, существует что-то еще, кроме долга». По аналогии с непростыми для Жавэра размышлениями о добре, человеколюбии и долге, Толстой, вероятно, отметил (загнутыми уголками и отчеркиванием) и главу,

посвященную размышлениям Говэна, сраженного «молнией благодетяния Лантенака», на страницах парижского издания романа Гюго «Девяносто третий год» (с. с. 349-350) яснополянского экземпляра). В маленькой книжке «Брат на брата», вышедшей в «Посреднике» в 1887 г., где автор переделки Е.П. Свешникова пересказывает содержание этого романа Гюго, Толстой оставил загнутый уголок на с. 27 в главе «Совесть», соответствующей тому же месту романа.

Время возникновения этих следов чтения Толстым произведений Гюго установить трудно, потому что сочинения Гюго не раз перечитывались Толстым на протяжении почти полувека.

В июне 1910 г., за несколько месяцев до смерти, Толстой как бы завещал читать и изучать Гюго, сожалея, что о таких авторах, как Гюго, Руссо принято «знать только понаслышке или прочитывать, кто они были, в энциклопедии — и — довольно!»¹¹.

«Редко, очень редко в одном человеке, — как-то сказал он, — писал со слов Толстого П.А. Сергеевко, — сочетается такой талант с такой силой чувства и духа, как у Виктора Гюго»¹².

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Маковицкий Д.П. Яснополянские записки. М., 1922, Вып. I. С.31.
2. Там же.
3. Маковицкий Д.П. У Толстого. Яснополянские записки // Лит. наследство. М., 1979, Т.90. Кн. I, С.157.
4. Там же. С.154.
5. Анализ помет Толстого в тексте «Однодума» см. в статье Т.Н. Архангельской «Толстой редактирует Лескова» // Яснополянский сборник. 1986. С.147.
6. Маковицкий Д.П. Лит. наследство. Т.90. Кн. II. С.424.
7. Там же. С.408.
8. Там же. Кн. III. С.215.
9. Лит. наследство. Т.75. М., 1965, Кн. II. С.110.
10. Там же. Т.31-32. М., 1937. С.841.
11. Булгаков В.Ф. Л.Н. Толстой в последний год его жизни. М., 1957. С.73.
12. Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978. Т.2. С.143-144.

В.Б.Ремизов

ТОЛСТОЙ И МОНТЕНЬ В ИХ РАЗДУМЬЯХ
О ЖИЗНИ, СМЕРТИ, БЕССМЕРТИИ

Первое упоминание о Мишеле Монтене мы находим в повести Л.Н.Толстого «Детство». Описывая кругозор одного из героев произведения, князя Ивана Ивановича, автор замечает, что наряду с другими французскими писателями (Расином, Корнелем, Буало, Мольером) князь «... мог и любил часто цитировать ... Монтеня ...»

Идут последние месяцы жизни писателя. Толстой ощущает себя крайне одиноким человеком. Все меньше сил для работы и чтения. Из большого числа любимых книг он выбирает лишь несколько, но самые дорогие его сердцу и разуму. Среди них¹ — «Опыты» Монтеня. 5 мая 1910 г. он записывает в своем дневнике: «Опять сонливость, слабость мозга. Ничего не писал и не брался. Читал старинных французов: La Boétie, Montaigne, Laroche-foucauld. Гулял ... Только не портить, доживая» (58,44).

25 октября, за три дня до ухода из Ясной Поляны, Толстой в который раз открывает «Опыты» и делает пометку в дневнике: «...Вечером читал Montaign'a» (58,123). А 28 октября из Козельска он пишет дочери А.Л.Толстой: «Пришли мне или привези ... начатые мною книги Montaigne, Николаев¹, 2-й том Достоевского, «Une vie»» (82,216).

Книга «удивительного», по определению самого писателя, Монтеня прошла через всю его жизнь. В беседе с французским журналистом Ж. Анри Бурдоном Толстой как-то признался: «Я очень люблю вашего Монтеня, друга Ла Боэси; он обладал таким оригинальным, живым, гуманным умом, проявившимся в столь же чистом, искусном, богатом оттенками языке»².

Любовь эта была особой — строгой и сдержанной, как-то даже не похожей на толстовскую. Известно, если Толстому что-то нравилось, он мог говорить об этом постоянно, мог неоднократно цитировать в составленных им книгах афоризмов. Так было с Кантом, Шопенгауэром, Амием, Рескиным, Паскалем. Имя Монтеня в толстовских текстах встречается редко. Тем бесценней для нас то, что хранится в яснополянской библиотеке писателя и что до сих пор не стало предметом научного осмысления.

Передо мной небольшая в дорогом переплете книжка, на французском языке. Ни места издания, ни года выхода в свет.

Можно только предположить, что относится она к началу XIX в. Собраны в ней суждения Монтеня об искусстве быть счастливым (*Essai sur l'art d'être heureux*. 1815 ?). Быть может, книга эта перешла к писателю от деда и матери — Н.С. Волконского и М.Н. Толстой. Быть может, она появилась в Ясной Поляне позже. Теперь уже это навсегда останется тайной. Главное же в другом: книга хранит пометки, принадлежащие скорее всего молодому Толстому.

Два других издания монтеневских «Опытов» еще более примечательны. В одном из них³, хранящемся в верхней библиотечной комнате, Толстой сделал более 70 пометок, в другом⁴, лежащем на этажерке возле письменного стола в кабинете писателя, — 120. Одни из них представляют собой загнутые или двойные загнутые (типично толстовские) уголки, другие пометки — горизонтальные и вертикальные отчеркивания, третьи сделаны в форме словесных замечаний, возле четвертых стоит NB («отметь: хорошо»). Экземпляр, хранящийся в кабинете, содержит пометки, сделанные Толстым в последние годы жизни. Вопрос о датировке пометок в издании 1802 г. остается открытым, но можно предположить, что это 1884 г. На это косвенно указывают дневники писателя и тот круг проблем, который волновал Толстого в послепереломный период жизни. В нашем тексте эти пометки будут печататься курсивом. Это позволит избежать путаницы при цитировании мыслей Монтеня из разных изданий. Перевод с французского на русский дается по изданию: Монтень М. Опыты: В 2 т. М.; Наука, 1980-1981.

Еще несколько предварительных замечаний, прежде чем приступить к разговору о главном. Особое внимание Толстого привлекли главы «О том, что философствовать — это значит учиться умирать» (15 пометок), «О воспитании детей» (30), «О сходстве детей с родителями» (26), «Об искусстве беседы» (18), «О раскаянии» (12), «Об уединении» (12), «О педантизме» (15), «О славе» (10), «О суетности» (9), «О гневе» (5). «Кабинетное» издание «Опытов» осталось Толстым недочитанным. Об этом свидетельствуют неразрезанные страницы четвертого тома. Последние свидетельства чтения писателем этой книги, оставленные в главе «О суетности», по всей вероятности, можно отнести к трагическим дням его ухода из Ясной Поляны.

В философском осмыслении бытия Толстой опирался на вечные категории, ставя перед собой вечные вопросы, в поисках ответов на которые мучилось человечество не одно столетие. Важнейшей проблемой, волновавшей его на протяжении всего творчества, была проблема жизни, смерти, бессмертия. И.А. Бунин полагал, что Толстой «господином смерти» не был. Старший сын писателя С.Л. Толстой видел одну из причин коренного перелома в мирозерцании отца в страхе перед неведомым — перед смертью.

Сам Толстой не отрицал этого, но он всю сознательную жизнь готовил себя к мысли о неизбежности исчезновения. Ему в одинаковой степени были ведомы неистребимость жизни и бренность всего живущего.

Смерть рано вошла в жизненный опыт Толстого. Утрата матери

и отца в детстве, потеря двух братьев в молодости. Смерть любимого сына Ванечки и бесконечно дорогой ему дочери Маши, брата Сергея. Когда в 1860 г. на его руках скончался старший брат Николенька, он записал в дневнике: «Страшно оторвало меня от жизни это событие ... Николенькина смерть — самое сильное впечатление в моей жизни» (48, 29-30).

Через пять лет после этого Толстой, читая в книге Гизо-Витт доказательства в пользу религии, пишет и «первую статью по мысли, данной ... Монтенем» (48, 65). В этом наброске «О религии» он в который раз вопрошает себя: «Что я? Зачем живу? Что будет после смерти?» (7, 125). Какая именно мысль Монтеня послужила Толстому толчком к написанию статьи неизвестно, но, несомненно, уже в эту пору завязался незримый диалог между двумя великими мудрецами жизни.

Обоих мыслителей волновали вопросы, что будет с человеком за той границей, где кончается жизнь и начинается смерть? почему он боится переступить через эту черту? отчего, сознавая ее неизбежность, отчаянно отталкивает даже мысль о ней? В трактате «О жизни» Толстой попытался объяснить это состояние страха перед трагической неизбежностью. «То чувство, — писал он, — которое выражается в людях страхом смерти, есть только сознание внутреннего противоречия жизни ...» (26, 400). Человек говорит себе: «Я не должен умереть, и я умираю».

Говорит так потому, что полагает себя живущим лишь в телесном. Выход из этого состояния Толстой видел в признании первичности духовного «я», в нравственном движении человека к истине, ибо она одна выше всего. К подобному взгляду на жизнь и смерть человек приходит уже на высшей ступени своего миропознания. Начинается же все с психологической подготовки к восприятию самой сущности проблемы.

«Человек, — старается убедить Толстой читателя, — не знает своей смерти и никогда не может познать ее, она никогда еще не прикасалась к нему, про намерение ее он ничего не знает. Так чего же он боится?» (26, 398). Подобное рассуждение Толстой находит и у Монтеня: *«Что пользы пятиться перед тем, от чего вам все равно не уйти? Вы видели многих, кто умер в самое время, ибо избавился, благодаря этому, от великих несчастий. Но видели вы хоть кого-нибудь, кому бы смерть причинила их? Не очень-то умно осуждать то, что не испытано вами ни на себе, ни на другом»* (Т.1. С.90).

Такое поистине спартанское отношение к смерти могли иметь люди, которые или верили в обещаемое религией бессмертие, или принимали жизнь и смерть как два необходимых начала бытия, сменяющих друг друга и тем самым определяющих развитие всего и вся. Последнее кажется более справедливым по отношению к Толстому и Монтеню. Не случайны для Монтеня слова: «Смерть есть начало другой жизни». Толстой помещает их в книгу «На каждый день». Сам же в одном из писем утверждает: «...смерть есть рождение...» (63,160).

При незнании взглядов мыслителей в их целостности может возникнуть ощущение, что в подобных заключениях есть ответ

мистики. Однако и тот и другой были слишком рассудочны, чтобы впадать в фантазмагорию. Толстой еще в раннем рассказе «Три смерти» художественно запечатлел извечность борьбы жизни со смертью, как бы полагая, что оба начала равновелики. Срубленное дерево умирает, освобождая место другому, и рядом с его поникшим телом «деревья еще радостнее» красуются «на новом просторе». В этой связи примечателен и выделенный Толстым в «Опытах» фрагмент, содержащий в себе образное решение проблемы: *«Если вы присматривались к хороводу четырех времен года, вы не могли не заметить, что они обнимают собою все возрасты мира: детство, юность, зрелость и старость. По истечении года делать ему больше нечего. И ему остается только начать все с начала. И так будет всегда»* (Т.1. С.88).

И все же психологической мотивировки было явно недостаточно для того, чтобы вселить в человека истинное спокойствие, не исчерпывая ею и вопрос о сущности жизни и смерти. Более того, жизнь давала иные решения. Человеческая природа возставала против трагического исхода. От отчаяния многих живущих не спасали ни мысль о религиозно-мистическом бессмертии, ни идея воскресения всех умерших при конце мира.

Оба философа задумывались над причиной людского отчаяния. Толстому казалось, что она — в незнании смысла существования. В «Анне Карениной» Левин, во многом близкий автору, приходит к страшному заключению: «Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить. А знать я этого не могу, следовательно, нельзя жить» (19,370). В «Исповеди» сказано с еще большей определенностью: «Обманывать себя нечего. Все — суета. Счастлив, кто не родился, смерть лучше жизни; надо избавиться от нее» (23, 27). Совпадение с этими мыслями мыслей «сильных умов» — Сократа, Соломона, Будды, Шопенгауэра — еще больше усугубляло ситуацию. «Ужас тьмы, — признавался Толстой, — был слишком велик, и я хотел поскорее, поскорее избавиться от него петлей или пулей» (23,14).

Монтень в отличие от Толстого не считал отсутствие у мыслящего человека смысла жизни величайшей трагедией. Но, рассуждая о страданиях физических и унижениях нравственных, и он для избавления от них предлагал все тот же рецепт — смерть. «Смерть, — пишет он, — не только избавление от болезней, она — избавление от всех зол. Это — надежнейшая гавань, которой никогда не надо бояться и к которой часто следует стремиться» (Т.2. С.308). Он одобрял даже добровольный уход из жизни стариков, добавляя при этом: «...невыносимые боли и опасения худшей смерти являются оправданным побуждением к самоубийству» (Т.2. С.319).

Позднему Толстому, пережившему духовный кризис и нашедшему выход из него, подобные рассуждения были чужды. Но его не могли не привлечь ситуации, где выбор смерти был сопряжен с нравственной или просто личностной позицией человека. В этой связи примечательны пометки писателя на издании книги Монтеня, хранящейся в кабинете. Он отчеркивает следующий фрагмент «Опытов»: «...когда Людовик XI захватил город Аррас, среди

его жителей оказалось немало таких, которые предпочли быть повешенными, лишь бы не прокричать: "Да здравствует король!"» (Т.1. С.49). Выделен им и рассказ Монтеня об одном пиккардийце, который предпочел быть повешенным, чем жить с женщиной, имеющей физический недостаток. В творчестве самого Толстого немало героев, идущих на смерть из-за невозможности изменить собственным убеждениям. Стало быть, отношение человека к смерти во многом определяется тем, как он жил на этой земле, во что верил, чему поклонялся. Но Толстой и Монтень не были бы великими, если бы с легкостью приняли этот тезис. Смерть далеко не всегда уносит худших. Она равняет всех. В этом равенстве ее преимущество перед жизнью, но часто равенство оборачивается абсурдом.

«Никогда никого я так не любил, как этого человека, которого никогда не видел, — писал Толстой о рано умершем Н.В. Станкевиче. — Что за чистота, что за нежность! что за любовь, которыми он весь проникнут, и такой человек мучался всю жизнь и умер в мученьях...» (60, 274). И в другом письме прибавлял: «И зачем? за что? мучалось, радовалось и тщетно желало такое милое, чудное существо. Зачем?.. ничем кроме грустью и ужасом нельзя ответить на этот «зачем?»» (60, 272-273). Однако чувство не всегда подчинялось разуму. Это и хорошо. Это защищало Толстого от безжизненного ригоризма, поддерживало в нем живое начало, дыхание жизни.

Пометки, сделанные писателем на страницах «Опытов» перед уходом из Ясной Поляны, возвращают нас к духовным сомнениям Толстого. Он и в конце своего пути предстает ищущей личностью, которой ничто человеческое не чуждо, которая с болью всматривается в даль, где ждет ее смерть. «Мало кто умирает, — пишет Монтень, и Толстой подчеркивает эти слова, — понимая, что минуты его сочтены; нет ничего, в чем нас в большей мере тешила обманчивая надежда; она непрестанно напештывает нам: "Другие были больны еще тяжелее, а между тем не умерли. Дело обстоит не так уж безнадежно, как это представляется; в конце концов господь явил немало других чудес". Происходит же это от того, что мы мним о себе слишком много; нам кажется, что будто совокупность вещей испытает какое-то потрясение от того, что нас больше не будет ...» (Т.2. С.535).

Стоит ли, в самом деле, так высоко ценить себя, так жалеть, если смерть неизбежно несет с собой физическое исчезновение? Тем более жизнь так хрупка, «каждую секунду подвержена всем бесчисленным случайностям самого ужасного страдания» (26, 424). В повседневности человек не озадачивает себя такими вопросами. В трагической ситуации, сопряженной с опасностью для жизни, он еще менее способен к размышлениям такого рода. У великих на сей счет своя, особая правда.

«Страх смерти и страх перед страданиями, — отмечает Толстой, читая Монтеня, — боязнь боли, неистовое и неодолимое желание выздороветь во что бы то ни стало — вот что полностью ослепляет нас...» (Т.2. С.693). В записках Д.П. Маковицкого есть примечательное свидетельство внутреннего со-

стояния Толстого в период тяжелой болезни в Крыму. «У меня в Крыму были времена, — рассказывал писатель, — когда я бы спокойно умер. Монтень говорит, что о приближении смерти надо думать загодя. Надо рассчитывать, что завтра помру, тогда отпадут соображения приличия, корысти»⁵.

Толстой, действительно, был убежден, что человеку не должно думать о смерти как о чем-то далеком, уходящем в незримое будущее. Ему казалось, что сознание того, что жизнь может оборваться каждую минуту, способно изменить миропонимание человека и оказать воздействие на его поступки. Тогда восторжествоует естественность в общении между людьми, отомрет лицемерие, уменьшится зависимость личности от эгоистических желаний, тогда ее деятельность обретет нравственно-ценностное значение и будет направлена на совершение добра.

Д.П. Маковицкий передает одну из бесед в яснополянском доме: «Софья Андреевна говорила, как у нее после болезни мысли переменялись. Раньше упражнялась в музыке и другом, а теперь — готовится к смерти. Л.Н. сказал: — Это и хорошо. Монтень говорит: “Вся философия состоит в том — готовиться к смерти”⁶. У Монтеня, как и у Толстого, таких мыслей немало. Оба считают, что чем раньше человек привыкает к сознанию скоротечности своего бытия, тем счастливее он проведет свою жизнь. Преодолев же страх перед смертью, он поднимется на новую ступень самопознания, безбоязненно поведет диалог со своей совестью. Правда и ничего кроме правды — таков принцип личности, стремящейся выйти из одиночества на миру в ситуации смерти.

«...В этой последней схватке между смертью и нами, — эти слова Толстой выделяет в «Опытах», — нет больше места притворству; приходится говорить начистоту и показать, наконец, без утайки, что у тебя за душой...» (Т.1. С.75). Автор «Анны Карениной» не раз цитировал эту мысль Монтеня в своих письмах. Читая «Опыты» незадолго до ухода из Ясной Поляны, Толстой выделил в главе «О суетности» те места, где речь идет о должном, пристойном поведении человека перед лицом смерти. Монтень советует остаться наедине с собой и посвятить последние мгновения жизни только себе: «Обществу здесь не уготовлено никакой роли; в этом акте лишь одно действующее лицо» (подчеркнуто Толстым; Т.3. С.184).

Покидая Ясную Поляну, Толстой думал о смерти, он искал освобождения от общественных и семейных пут. Он хотел остаться наедине с тем, чего всю жизнь боялся и к чему всю жизнь готовился. В этом деле присутствие близких родственников только отягощает душу умирающего. Монтень считал, что от этого присутствия следует избавляться, а воспользоваться услугами постороннего человека. *«Если для того, — писал он, — чтобы появиться на свет, нужно содействие повитухи, то для того, чтобы его покинуть, мы нуждаемся в человеке еще более умелом, чем она»* (Т.3. С.184). Эти слова, отмеченные Толстым, были особенно близки и понятны ему в дни, когда вокруг него разгорелась «схватка» за завещание, когда подчас забывали о его старости. Душан Петрович был одним из немногих, кто понимал Льва

Николаевича и кто тихо и верно служил своему учителю. Его и избрал Толстой спутником для своего последнего путешествия.

Монтень советовал отказаться от всякой напыщенности и торжественности, которые часто сопутствуют умирающим. Уходящий сам должен распорядиться собой: *«Я попытаюсь улизнуть, словно кролик, и уклониться от этой публичной сцены — не из безотчетного страха перед ней, а совершенно сознательно»* (Т.3. С.184). Как созвучны эти мысли, подчеркнутые Толстым, тем словам, которые он написал, покидая тайно ночью яснополянский дом: *«Я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни»* (84,274). И еще одна характерная для Толстого пометка. Он резко очеркивает следующие слова: *«Я вовсе не намерен делать из этого акта испытание или доказательство моей стойкости. К чему? Ведь, перейдя этот порог, я утрачу права и на добрую славу и всякую заинтересованность в ней»* (Т.3. С.184).

Прожита была большая творческая жизнь. Через сколько страданий, сомнений он прошел ради того, чтобы обрести внутреннее спокойствие и в страшный час не ослабнуть, не сникнуть перед неведомым. Но, понимая, что в муках болезни слабеет душа человека, он предпочел остаться один на один с собой и вести разговор в одиночестве с прошлым, настоящим и будущим. В эти грустные для себя дни он и перечитывал во многом близкого ему Монтеня.

Монтень советовал учиться жить и умирать у простых людей. *«Обратите свой взор к земле, — писал он, — на бедных людей, постоянно склоненных над своей работой, не ведающих ни Аристотеля, ни Катона, никаких примеров, никаких философских поучений: вот откуда сама природа каждодневно черпает примеры твердости и терпения, более чистые и более ясные, чем те, которые мы так любознательно изучаем в школе. Сколько приходится мне видеть бедняков, не боящихся своей бедности! Скольких таких, что желают смерти или принимают ее без страха и скорби»* (Т.3. С.242).

Подобные уроки, как известно, брал у народа и Лев Толстой. Он всегда восхищался его мудростью жить и умирать. В «Круг чтения» Толстой поместил очень близкое ему суждение из «Опытов» Монтеня: *«Я люблю мужиков, они недостаточно учены, чтобы рассуждать превратно»*. Это высказывание он очень любил и часто приводил в разговорах и письмах. Та пристрастность, с которой он повторял эти слова, далека от заигрывания с народом. Ему не свойственно было подделываться под простолюдина. Если он одевался как крестьянин, пахал землю, косил траву, клал печи в мужицких избах, то не потому, что предпочел внешнее внутреннему, а потому, что таковой была потребность его души. В мечте Оленина, героя «Казаров», *«жить в крестьянской избе, заниматься крестьянским делом»* сказала мечта самого писателя. Было немало сделано, чтобы воплотить в жизнь эту мечту. Но ему казалось, что все это половинчато, все это не то и не так. За 30

лет до ухода зародилась мысль о бегстве из Ясной Поляны, но только тогда, когда дни жизни (и он это чувствовал, он это твердо знал) были сочтены, пришла решимость слиться с огромным и живущим на расстоянии от него крестьянским миром, хотя бы остаток дней провести вдали от суеты сует, от нелепого барства, в простой избе, отдаваясь течению дней и готовясь, подобно мужику, встретить как должное смерть.

Не на ученость нападал Толстой, когда цитировал Монтеня в «Круге чтения», а на искаженность сознания многих людей, отошедших под воздействием науки от самого сокровенного — естественного существования, от той природной основы, без которой нет и не может быть человека.

Безусловно, Монтеня меньше волновала этическая сторона ухода. Собственно перед ним эта проблема в конце жизненного пути не стояла. Им владело стремление раскрыть психологическую и природно-родовую сторону проблемы жизни и смерти. Толстой избрал другой путь постижения коренных вопросов бытия. Он попытался связать в один узел христианский идеал, сущность и предназначение человека, смысл рождения личности и обретение ею бессмертия.

Первоначально трактат «О жизни», писавшийся почти в одно время с повестью «Смерть Ивана Ильича», был озаглавлен «О жизни и смерти». Но впоследствии Толстой вычеркнул слово «смерть», ибо ее нет там, где была истинная жизнь. В «Опытах» же Монтеня лишь намечена подобная связь между тем, с чем человек приходит к концу своего существования, и тем, что есть самая смерть. Поздний Ренессанс не мог не отразиться на концепции книги. Вера в безграничные возможности человека была подточена, и Монтень откликнулся на происходящие изменения своим скептицизмом. Его жизнь протекала между желанием веры и реально владевшим им безверием. Выпав из одной системы ценностей, он не вошел в другую. Он остановился на полпути создания нового взгляда на мир и сущность человека. Философ и сам сознавал это, называя свои раздумья «Опытами» (эссе).

Толстой оказался в иной ситуации. Эпоха требовала нравственных решений. Надо было вписать человека в систему индивидуально-неповторимых, народных и общечеловеческих ценностей. Надо было придать всему этому божественный смысл. Надо было уберечь людей от цинизма и бессмысленности существования. Чтобы понять различие во взглядах мыслителей на проблему жизни и смерти, посмотрим на нее с точки зрения добра и зла.

Читая Монтеня в начале 1884 г. «с большим удовольствием и пользой», Толстой особо выделил для себя следующий фрагмент из «Опытов»: *«Жизнь сама по себе ни благо, ни зло: она вместительна и блага и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее»* (Т.1. С.88).

Нечто близкое по мысли мы находим в трактате Толстого «О жизни» (1886-1887). «Жизнь человека, — сказано там, — есть стремление к благу; к чему он стремится, то и дано ему: жизнь не могущая быть смертью, и благо, не могущее быть злом» (26,435). Можно предположить, что подобный ход толстовской мысли тяго-

теет к монтеневскому суждению. Но такое предположение чисто внешнее. Между мыслителями имеется серьезное разногласие. Если Монтень указывает на субъективный и относительный характер тех или иных ценностей, то Толстой стоит на иных позициях: для него жизнь есть благо, не зависящее от воли человека, но сам человек может отойти от логики жизни и тем самым лишить себя блага, обрекая на скорую духовную смерть. Замечу, что Толстой рассуждает о жизни как об определенной философско-нравственной категории, которую нельзя отождествлять с понятием жизни как реально развивающейся действительности. Употребляя слово «жизнь», Толстой имеет в виду некую целесообразную закономерность, которая лежит в основе нравственного прогресса.

При чтении Монтеня Толстой стремился уяснить для себя и толкование французским философом идеи бессмертия и ее связи с пониманием сущности человеческого бытия. На полях монтеневских «Опытов» он оставил лишь две пометки «NB», одна из них относится как раз к рассуждению о бессмертии: *«Вдумайтесь хорошенько в то, что называется вечной жизнью, и вы поймете, насколько она была бы тягостней и нестерпимей, чем та, что я (родительница-природа — В.Р.) даровала ему. Если бы у вас не было смерти, вы без конца осыпали б меня проклятиями за то, что я вас лишила ее. Я сознательно подмешала к ней чуточку горечи, дабы, принимая во внимание доступность ее, воспрепятствовать вам слишком жадно и безрассудно устремляться навстречу ей»* (Т.1. С.90).

Этот фрагмент «Опытов» не случайно отмечен не только подчеркиванием и подчеркиванием, но и «нота bene». Ведь речь идет об отрицании физического и мистического бессмертия. Толстой, подобно Монтеню, такого бессмертия никогда не утверждал. На вопрос: «Что ждет человека за порогом смерти» — художник всегда отвечал однозначно: «Не знаю». Бессмертие человека, живущего «по закону жизни», было для него несомненно. «Христос умер очень давно, — читаем в трактате, — и плотское существование Его было короткое, и мы не имеем ясного представления о Его плотской личности, но сила Его разумно-любовной жизни, Его отношение к миру — ничье иное, действует до сих пор на миллионы людей, принимающих в себя это Его отношение к миру и живущих им» (26,413-414).

Монтень разрушал в сознании своих современников иллюзию мистического бессмертия. Толстой пошел по тому же пути, но понимал, что этого недостаточно. Без сознания бессмертия человек распадется, превратится в животное. Глубоко прочувствовав потребность в возможности бессмертия каждого, кто пришел в мир, Толстой поставил вопрос о нравственном бессмертии личности, о связи отдельной человеческой жизни с прошлым, настоящим и будущим.

На слова Монтеня «жить и умирать — это одно и то же» Толстой ответил всем своим творчеством, своими духовными исканиями. «Веру в бессмертие, — писал он, — нельзя принять от кого-нибудь, нельзя себя убедить в бессмертии. Чтобы была

вера в бессмертие, надо, чтобы оно было, а чтобы оно было, надо понимать свою жизнь в том, в чем она бессмертна. Верить в будущую жизнь может только тот, кто сделал свою работу жизни, установил в этой жизни то новое отношение к миру, которое уже не умещается в нем» (26,415).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Николаев П.П. Понятие о божестве как совершенной основе жизни. Женева, 1907-1910 г. Имеется в яснополянской библиотеке.
2. Толстой и зарубежный мир: в 2 кн. // Лит. наследство. М., 1965. Т.75. Кн.2. С.50.
3. Essais Michel Seigneur de Montaigne. Paris, ANX. МДСССП. 1-3. В яснополянской библиотеке сохранились тома 1,3.
4. Essais de Montaigne ... Paris, G.Charpentier et. С. 1-4.
5. Маковицкий Д.П. У Толстого: Яснополянские записки: В 4 т. М., 1979. Т.1. С.258.
6. Там же. Т.2. С.305.

И.К.Грызлова

ПРОИЗВЕДЕНИЯ МОПАССАНА
В ЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ТОСТОГО

В личной библиотеке Толстого в Ясной Поляне хранятся сочинения Ги де Мопассана как на французском, так и на русском языке. Это издания, вышедшие в Париже при жизни их автора в 1885-1889 годах и изданные после его смерти в 1893-1904 годах.

Среди них — «Заведение Телье». Как известно, под таким названием вышел первый сборник рассказов Мопассана. Толстой познакомился с ним по рекомендации И.С. Тургенева, привезшего эту книгу в Ясную Поляну в 1881 году, в свой последний приезд. Прочитав сборник, Толстой сразу почувствовал редкий талант молодого автора, его свойство видеть новое в жизни, умение ее описывать с блестящим мастерством и большой искренностью. Несколько лет спустя Толстой вспоминал: «Настоящий талант сейчас чувствуется. Бьет в нос, как *air fixe*, когда пьешь сельтерскую воду из только что откупоренной бутылки ... Вот так мне прямо в нос ударил талант Гюи де Мопассана, когда я впервые раз прочел его рассказы»¹.

К сожалению, этот сборник в библиотеке Толстого не сохранился. Имеющийся в Ясной Поляне экземпляр — новое, расширенное издание Поля Оллендорфа, вышедшее в Париже в 1893 году. В нем напечатан рассказ «В семье», который Толстой оценил баллом «пять с плюсом» и перечитывал за месяц до своего ухода из Ясной Поляны. Под впечатлением этого рассказа Толстой задумал написать художественное произведение, о чем отметил в дневнике от 2 октября 1910 года: «Вчера чтение рассказа Мопассана навело меня на желание изобразить пошлость жизни, как я знаю, а ночью пришла в голову мысль поместить среди этой пошлости живого духовно человека. О, как хорошо! Может быть и будет» (58, 110-111).

В том же шкафу хранится сборник рассказов Мопассана, изданный в Париже, тем же издателем, в 1888 году под названием «Лунный свет», объединяющий семнадцать новелл. В нем — пометы, характерные для Толстого: загнутые уголки страниц, подчеркнутые карандашом отдельные слова, отметки ногтем на полях. В оглавлении проставлены оценки по пятибалльной системе, а против заглавия рассказа «Драгоценности» стоит «NB» — знак,

который Толстой ставил, когда хотел обратить на что-нибудь особое внимание. Рассказы «Лунный свет» и «Ребенок» отмечены баллами «5» и «4». Оценки, очевидно ставились Толстым при отборе рассказов для перевода на русский язык с целью ознакомления широкого круга публики с произведениями французского писателя.

В Отделе рукописей Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве сохранились два листка-автографа — перечень 48-ми произведений Мопассана с оценкой их по пятибалльной системе. Всего Толстым, как свидетельствует его записная книжка за 1893 год, было выделено более семидесяти произведений². Причем, отбирая, Толстой принимал во внимание прежде всего их высокую художественность³.

Среди отмеченных баллом «5» (с тремя плюсами) — рассказ «В порту». После оценки Толстым сделана надпись на французском языке: «Жестокая и святая правда, которую весь народ на земле не знает или делает вид, что не знает»⁴.

Жестокая правда рассказа потрясла Толстого, он сам взялся его переводить на русский язык, о чем и писал В.Г. Черткову 18 октября 1890 года: «Перевожу я вам в “Посредник” ужасной силы и цинизма и глубоко нравственно действующий рассказ Гюи де Мопассана» (87, 50-51). Этот рассказ, переведенный Толстым под названием «Франсуаза» был опубликован в газете «Новое время» 5 февраля 1891 г. и потом, переработанный Толстым, включен в сборник «Круг чтения».

В яснополянском кабинете до сих пор хранится сборник новелл Мопассана «Разносчик» (Париж, 1990 г. Посмертное изд.). Его перечитывал Толстой перед уходом из Ясной Поляны в ночь на 28 октября 1910 г. и, не дочитав, оставил открытым на рассказе «Каверза».

В тот же день 28 октября со станции Козельск Толстой в письме к дочери просил прислать ему недочитанный томик Монтеня, второй том «Братьев Карамазовых» и роман Мопассана «Жизнь». Последний Толстой перечитывал уже в который раз, ибо считал его не просто «превосходным романом» и «не только несравненно лучшим романом Мопассана, но едва ли не лучшим французским романом после “Отверженных” Гюго» (30, 7). Книги были доставлены в Астапово, однако Толстой уже не мог их читать.

Почти все книги Мопассана на французском языке, хранящиеся в личной библиотеке Толстого, сильно потрепаны — без переплета и обложек. Вероятно, это те самые книги, которые высылал Толстому переводчик Л.П. Никифоров для отбора из них к переводу произведений, понравившихся писателю. Свидетельством тому является письмо Никифорова к Толстому от 18 февраля 1893 года: «Простите, что беспокою Вас просьбой докончить выборку произведений Мопассана, по прилагаемым книгам... Непереплетенные книги мои и всякие на них Ваши отметки будут для меня приятны»⁵. Переводчик Л.П. Никифоров не случайно взялся за перевод сочинений Мопассана. Однажды в январе 1893 года Толстой в его присутствии «с восхищением» отзывался о Мопассане, выразив сожаление, что этот писатель мало известен

русской публике. Л.П. Никифоров вызвался перевести сочинения Мопассана, а Толстой согласился отобрать для перевода лучшие из них. Желая придать большую значимость своим переводам, Л.П. Никифоров решил связать свою работу с именем Толстого и просил старшую дочь писателя Татьяну Львовну помочь ему в редактировании перевода в надежде привлечь к этой работе самого Толстого. Надежды Никифорова оправдались: Л.Н. Толстой не только отбирал для перевода сочинения Мопассана, но и вместе с Татьяной Львовной участвовал в редактировании переводимого текста.

Среди книг, присланных Никифоровым, — сборник очерков «На воде», который Толстой также называл «лучшей книгой Мопассана». В яснополянской библиотеке этот сборник представляет собой разбитый экземпляр, без обложки, без титульного листа и года издания. На странице перед началом текста — надпись рукой Толстого по-французски: «На воде. Гюи де Мопассан».

В 1890 году Толстой работает над трактатом «Царство божие внутри вас», где одной из центральных проблем является проблема войны. Из книги очерков Мопассана «На воде» Толстой приводит несколько страниц с гневными высказываниями их автора об ужасах и бессмысленности войн. «Отчего же бы не судить правительство после каждой объявленной войны?» — писал Мопассан (28, 121).

Не случайно, что Толстой возвращался к этому сборнику спустя 14 лет, в период русско-японской войны, работая над статьей «Одумайтесь!» Он снова выбирает из сборника эпиграф к статье и находит гневные строки, перекликающиеся с отрывком из очерка «На воде»: «Да когда же это кончится? И когда же, наконец, обманутые люди опомнятся и скажут: «Да идите вы, безжалостные и безбожные цари, микады, министры, митрополиты, аббаты, генералы, редакторы, аферисты, и как там вас называют, идите вы под ядра и пули, а мы не хотим и не пойдем. Оставьте нас в покое пахать, сеять, строить, кормить вас же, дармоедов»» (36, 143).

Больше всего помет имеется на страницах романа «Монт-Ориоль», опубликованного в Париже в 1887 году. Это одно из ранних, прижизненных изданий романа, если учесть, что он был написан в 1886 году. Здесь, наряду с пометами, характерными для Толстого, много помет, сделанных другими лицами, возможно, старшей дочерью писателя Татьяной Львовной, по просьбе Толстого переводившей роман на русский язык. Об этом говорят проставленные на полях возле отчеркнутых строк буквы «Л.Н.» (Лев Николаевич — И.Г.). На ту же мысль наводит письмо Л.П. Никифорова к Т.Л. Толстой от 10 сентября 1893 года: «Преджде всего, конечно, я вполне с Вами согласен, что лучше несколько подзадержать выход Мопассана (лишь бы перевод был просмотрен Вами со Львом Николаевичем. Одно то, что он его просматривает, придает переводу такое значение, которое искупит все)»⁶.

Особенно много помет относится к портретным характеристикам главной героини романа и других действующих лиц, их мыслям и чувствам, раскрывающим их духовную сущность.

Издание — может быть, то самое, которое использовал Толстой, работая над «Предисловием к сочинениям Гюи де Мопассана», где он писал: «Я не знаю более сильного крика сердца, как тот, который есть в “Mont-Oriol”, когда несчастная обманутая женщина чувствует себя одинокой и всеми оставленной, и который так прелестно выражен в “Solitude”» («Одиночество» — И.Г.)⁷.

Отсюда не случайно в романе отчеркнуты двумя чертами на полях (вероятно, по просьбе Толстого) места, где дано подробное описание чувств героини, ее искренней горячей привязанности к возлюбленному, а потом — глубокого разочарования в нем и отчаяния от сознания своего одиночества. Один пример:

— «Она (Христиана - И.Г.) хорошо видела теперь, что ничего не может преодолеть невидимую преграду, разъединяющую людей, и они далеки друг от друга, как звезды, рассеянные в небе»⁸. Эти слова отчеркнуты с двух сторон на полях. Так же выделены строки, передающие мысли героини о ее отношении к мужу: «И ей даже хотелось улыбнуться, так все это сейчас казалось ей странным, потому, что между ними не было и никогда не могло возникнуть ни одной из тех связывающих нитей, которые рвутся так быстро, но кажутся вечными и несказанно нежными, почти божественными узами ...

Наверное, потому, что слишком уж чужды они были друг другу, слишком разной породы. Все в ней непонятно ему, и ей все было непонятно в нем. А между тем он был хорошим, преданным, заботливым мужем.

Но, должно быть, только люди одного и того же духовного склада могут чувствовать друг к другу нерасторжимую привязанность, соединяющую их священными узами добровольного долга»⁹.

К сожалению, в библиотеке Толстого не сохранился роман Мопассана на французском языке «Пьер и Жан» (Париж, Поль Оллендорф, 1893). В нем, судя по описанию личной библиотеки писателя, составленному секретарем Толстого В.Ф. Булгаковым в 1916 году, были пометы Толстого, а именно — в предисловии, содержащем рассуждения автора о том, в чем состоит правдивость художника, т.е. как передать всю правду красоты. Булгаков отмечает также, что в конце книги, на форзаце и на внутренней стороне обложки имеется перечень (по-французски, карандашом, неизвестным почерком) произведений Мопассана. «Против некоторых из них — баллы чернилами, проставленные, по-видимому, Толстым: “Жизнь” — 1, “Милый друг” — 2, “Монт-Ориоль” — 3, “Пьер и Жан” — 4, “Сильна, как смерть” — 4, “Наше сердце” — 5»¹⁰. Исходя из анализа, данного Толстым этим произведениям в его статье о Мопассане, цифры эти, вероятно, не есть их оценка, а определение места в порядковом ряду для печатания в издательстве «Посредник», готовившем к печати избранные сочинения французского автора.

Помимо французских, в личной библиотеке Л.Н. Толстого хранятся издания произведений Мопассана на русском языке. Это выпуски 1893-1894 гг. «Посредника» и типографии Т-ва И.Н. Кушнерева, отобранные и просмотренные Л.Н. Толстым.

В книгах есть пометы, принадлежащие Л.Н. Толстому. Так в

оглавлении подчеркнуты карандашом названия следующих рассказов: «Нищий», «Отцеубийца», «Исповедь», «Фабрикация уродов», «Вечер». Причем «Исповедь» отмечена как в русском, так и во французском варианте, очевидно, не случайно. Так называется и одно из сочинений Толстого 80-х годов. Новелла «Исповедь» французского мастера волновала Толстого не только откровенным повествованием героини о совершенном поступке, но и ее рассказом в содеянном — идеей нравственного воскресения человека, созвучной творчеству самого Толстого.

Содержание таких рассказов, как «Сын», «Отцеубийца», «Правдивая история», о жертвах внебрачных связей, о трагедиях незаконнорожденных детей и тяжелой судьбе их родителей перекликается с темой, затронутой в романе «Воскресение», над которым работал писатель в то время, когда им создавалась его статья о Мопассане.

В рассказе «Сын» — истории служанки, соблазненной молодым человеком из великосветского общества, и ее ребенка — внимание Толстого привлекло место, где автор раскрывает чувство глубокого раскаяния героя, который через 30 лет после случившегося узнает в несчастном оборванном калеке своего сына. Вся эта страница отмечена, согласно манере писателя, загнутыми сверху и снизу уголками.

Наибольшее количество помет мы находим в тексте драматического рассказа Мопассана о неверной жене («Вечер»): загнутые уголки страниц, заключенные в скобки целые абзацы, зачеркнутые строки. Они свидетельствуют о том, что Толстого интересовал не только сюжет рассказа, но и философские рассуждения автора о смысле жизни, о браке, об ответственности супругов друг перед другом, о положении женщины в семье — вопросы, поднимаемые писателем и в его сочинениях.

Толстого привлекло также описание экзотической природы Востока, необыкновенной красоты вод Бужийского залива, Кабийских лесов и гор. При этом видно, что писатель снова и снова задумывался над точностью перевода текста на русский язык, над сохранением национального колорита повествования, художественных особенностей стиля автора.

В одной книге вместе с рассказом «Вечер» напечатан роман «Сильна как смерть», где имеется множество страниц, отмеченных загнутыми снизу и сверху уголками. Некоторые из них загнуты вдвое, как это часто делал Толстой. В романе Толстой находил «печать ...поспешности, выдуманности» и главное, ... отсутствие правильного, нравственного, отношения к жизни, которое было в первых писаниях Мопассана. «Начинается это с того самого времени, — пояснил Толстой, — с которого устанавливается и репутация Мопассана как модного автора и он подвергается тому ужасному в наше время соблазну, которому подвергается всякий известный писатель, тем более такой привлекательный, как Мопассан» (30, 11).

Эти слова, по сути своей опреляющие главную мысль романа «Сильна как смерть», в какой-то степени помогают понять, почему те или иные страницы привлекли внимание Толстого. В них

раскрывается не только чувство любовного увлечения главного героя сначала графиней де Гильруа, потом ее взрослой дочерью, но и ощущение той отчужденности, которое вместе со своим героем испытывал автор, попав благодаря призванному таланту в аристократическое общество.

Произведения Мопассана — роман «Монт-Ориоль» (1894 г.) и сборник рассказов «На воде» (1894 г.) — предваряются предисловием Л.Н. Толстого. В нем он с болью писал о трагической судьбе Мопассана, не сумевшего до конца раскрыть свой богатейший талант: «Трагизм жизни Мопассана в том, что, находясь в самой ужасной по своей уродливости и безнравственной среде, он силою своего таланта, того необыкновенного света, который был в нем, выбивался из мировоззрений этой среды, был близок к освобождению, дышал уже воздухом свободы, но, истратив на эту борьбу последние силы, не будучи в силах сделать одного последнего усилия, погиб, не освободившись» (30,22).

И далее: «...Мопассан дожил до того трагического момента жизни, когда начиналась борьба между ложью той жизни, которая окружала его, и истиною, которую он начинал сознавать. Начались уже в нем приступы духовного рождения... Если бы ему суждено было не умереть в муках рождения, а родиться, он бы дал великие поучительные произведения, но и то, что он дал нам в своем процессе рождения, уже многое. Будем же благодарны этому сильному, правдивому человеку и за то, что он дал нам» (30,24).

В этих словах Толстого — ключ к верному пониманию и оценке его многочисленных помет на страницах сочинений знаменитого французского романиста и новеллиста.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Слова Толстого, записанные С.А. Стахович. — см. сб. Толстой и о Толстом. М., 1924. С.66.

2. Цит. по ст. Э.Е. Зейденшнур «Творческие связи Толстого и Мопассана»// Ученые записки Горьковского университета им. Н.И. Лобачевского. 1970. Выпуск 102. С.127.

3. См: Никифоров Л.П. Вместо предисловия к третьему изданию перевода романа Мопассана «Жизнь женщины». М., «Посредник», 1912. С.IV.

4. ГМТ, рукописный фонд. Перевод автора.

5. ГМТ, рукописный фонд. инв. №20788.

6. ГМТ, рукописный фонд. инв. №20496.

7. Предисловие к сочинениям Мопассана, черн. ред. рук.3, л. 4-50. (Примечание взято из статьи Э.Е. Зейденшнур «Творческие связи Толстого и Мопассана». С.128, 135).

8. De Maupssant Guy. Mont-Oriol, 35-me édition. Victor-Havard, éditeur. Paris, 1887. P 352. Перевод автора.

9. Там же. С. 355.

10. Ясная Поляна. Мемориальный дом Л.Н. Толстого. Рукопись В.Ф. Булгакова.

Л. Громова-Опульская

ГОГОЛЬ И ЛЕВ ТОЛСТОЙ —
ХУДОЖНИКИ И УЧИТЕЛИ ЖИЗНИ

1

Лев Толстой пришел в литературу в год смерти Гоголя. Когда после «Детства» в 1854 году в «Современнике» появилась его вторая повесть — «Отрочество» — И.С. Тургенев написал одному из своих корреспондентов: «Вот, наконец, преемник Гоголя, насколько на него не похожий, как оно и следовало ...»¹. Тургенев употребил слово «наконец», потому что с выходом в 1842 году первого тома «Мертвых душ» собственно художественная деятельность Гоголя прекратилась. Начался его «поздний» период, если это слово можно применить к писателю, которому исполнилось тогда всего 33 года, а с начала творческого пути прошло немногим более 10 лет. Тургенев имел в виду, конечно, преемственность двух художников.

Гоголь говорил, что все написанное им интересно в психологическом смысле. Толстой довел до совершенства инструмент психологического анализа и совершил величайшее художественное открытие: представил «диалектику души», воплощенную в слове.

Но Толстому довелось повторить путь и позднего Гоголя. С ним, как и с Гоголем, в середине творческой жизни случился нравственный переворот, имевший сходные последствия. Прежние художественные творения, приведшие, как в свое время и Гоголя, на вершину славы, представились чем-то ненужным, второстепенным и главное — недостаточным. На первый план выступила идея нравственного, религиозного очищения, покаяния, совершенствования своей души; проповеди, обращенной к каждому человеку, чтобы он нравственно изменился и тем самым содействовал преобразению всего мира. Вера во всемогущество художественного слова сменилась верой в слово нравственной проповеди.

Отвечая петербургскому книгоиздателю М.М. Ледерле относительно того, какие книги произвели на него особенно сильное впечатление в разные периоды жизни, Толстой о молодых своих годах написал: «Гоголь. Все художественные, кроме «Тараса Бульбы»; потом уточнил: «Гоголя Шинель. Иван Иванович, Иван Никифорович. Невский проспект. Вий. Мертвые души» (66, 67 и 70).

После духовного «прозрения», в 80-е годы, ориентация Толстого меняется. С особенной силой начинает занимать поздний Гоголь и последняя вышедшая в свет книга — «Выбранные места из переписки с друзьями». В судьбе Гоголя Толстой увидел подтверждение вечного закона жизни, если эта жизнь стремится к благу — от тьмы к свету. «Различие между людьми только в том, что один очунается в молодости, другой в зрелых летах, третий в старости, четвертый на одре смерти» (26, 648-649) — так писал Толстой в статье «О Гоголе», задуманной в 1887 и начатой в 1888 году, вскоре после чтения «Выбранных мест...». О впечатлении от этой книги, прочитанной в третий раз, Толстой рассказал в письме к своему тогдашнему другу, философу Н.Н. Страхову: «Ведь я опять относительно значения истинного искусства открываю Америку, открытую Гоголем 35 лет тому назад². Значение писателя вообще определено там... так, что лучше сказать нельзя. Да и вся переписка (если исключить немногое частное) полна самых существенных, глубоких мыслей» (64, 106-107)³.

Волновало отречение Гоголя от своих прежних сочинений (Толстой сам пережил то же), его покаяние (подобное тому, какое звучит в «Исповеди» Толстого), непонимание и насмешки окружающих (что остро испытал на себе Толстой: к 1884 году относится первая попытка уйти из дома).

О значении писателя у Гоголя говорится в письме XV «Выбранных мест...» — «Предметы для лирического поэта в нынешнее время»; письма обращены к поэту Н.М. Языкову, датированы 1844 годом.

Гоголь излагает здесь программу нравственно возвышающего и очищающего искусства, весьма близкую тому, что писал и говорил Толстой, в частности в обобщающем своем труде — трактате «Что такое искусство?», завершенном позднее, в 1898 году. Но первые его попытки изложить новый взгляд на искусство относятся к самому началу 80-х годов.

Гоголь взывал:

«Попрекни же прежде всего сильным лирическим упреком умных, но унывших людей...

Воззови, в виде лирического сильного воззвания, к прекрасно-му, но дремлему человеку. Брось ему с берега доску и закричи во весь голос, чтобы спасал свою бедную душу...

Опозорь в гневном дифирамбе новейшего лихоемца нынешних времен и его проклятую роскошь, и скверную жену его ...

Возвеличь в торжественном гимне незаметного труженика...

Ублажи гимном того исполина, какой выходит только из русской земли, который вдруг пробуждается от позорного сна, становится вдруг другим; плюнувши в виду всех на свою мерзость и гнуснейшие пороки, становится первым ратником добра...

На колени перед Богом, и проси у Него Гнева и Любви! Гнева — противу того, что губит человека, любви — к бедной душе человека, которую губят со всех сторон и которую губит он сам⁴.

Гневом и любовью, о которых с таким пафосом говорил Гоголь, проникнуты все сочинения позднего Толстого.

В сущности, Толстому довелось осуществить тот замысел, о

воплощении которого мучительно мечтал и с которым такую страшную неудачу потерпел Гоголь. «Будьте не мертвые, а живые души» — идея второго, несколько раз сжигаемого автором тома «Мертвых душ»; идея преображения, воскресения мертвых — главная в неначатом даже, а лишь задуманном третьем томе⁵.

Толстой довел до конца свое сочинение на эту тему — великий роман «Воскресение» (1889-1899). Довел, потому что смог остаться верным закону гармонии, блистательное воплощение которого представил Гоголь в первом томе «Мертвых душ». Гармонии смеха и печали, обличения и надежды, сарказма и лирического воодушевления — словом, Гнева и Любви. Гоголь полагал, что гнев не должен оставаться в его новых книгах, нужна лишь проповедь добра; все книги позднего Толстого содержат элемент проповеди; но всегда это проповедь-обличение и проповедь-призыв одновременно, в рамках одного сочинения. Это соединение внешне противоположных, а внутренне тесно связанных между собой начал и является тем цементом, на котором держится вся художественно-публицистическая постройка. В последнем романе Толстого авторских отступлений, рассуждений больше даже, чем в первом томе «Мертвых душ».

Последняя книга Гоголя составлена из писем «к друзьям». Толстой считал, что всякое сочинение вообще — письмо автора к людям. Замыслы многих его произведений, художественных и публицистических, родились как ответы на письма современников.

Мысль Гоголя в последние годы его жизни мучительно билась в поисках истины — нравственной, религиозной. И великое достижение наших дней состоит в том, что духовные искания Гоголя перестали трактоваться как заблуждение, близкое к сумасшествию (так полагали некоторые современники, прежде всего В.Г. Белинский, а вслед за ним многочисленные литературоведы), или как духовное помрачение, угасание, смерть при жизни — эту версию настойчиво отстаивал Абрам Терц (А. Синявский) в книге «В тени Гоголя». Предшественник российской социал-демократии и ее ярый противник, диссидент, пострадавший от советской власти, — сошлись в отрицании Гоголя. Невероятно, но факт! Не менее, может быть, невероятный, чем превосходное издание в 1990 году в Москве религиозно-нравственных произведений Гоголя последнего десятилетия его жизни, с глубокой статьей и отличными комментариями молодого исследователя В.А. Воропаева⁶. В аннотации книги справедливо говорится: «Выбранные места из переписки с друзьями» получили необычайно сильный общественный резонанс. В неприятии их сошлись разные по убеждениям люди. В то же время П.А. Плетнев, друг Пушкина, издатель книги, назвал ее «началом собственно русской литературы».

В каком смысле «началом» и началом чего? Думаю: началом того убеждения, что России нужен писатель, который сумеет объединить величайшее художественное искусство и поучение, основанное на личном покаянии. Исторически с Гоголя так у нас и повелось: писатель — непременно еще и учитель жизни, а литература — учебник жизни. Недаром Гоголь, как и Толстой, склонен был сочинять учебные книги («Учебная книга словесности

для русского юношества» одного, «Азбука», «Книги для чтения» другого). И заниматься преподаванием тоже. Трудно представить Пушкина или Чехова в школьном классе или на университетской кафедре. Гоголя и Толстого постоянно тянуло к этой деятельности. Учительство, явное или скрытое, так и продолжается — до А.И. Солженицина. Это совсем не просто было понять и принять. Даже С.Т. Аксаков, первоклассный литератор, в доме которого Гоголь был своим человеком, не принял книгу «Выбранные места...» и готов был согласиться с толками о помрачении ума у гениального художника. Он писал Гоголю укорительные письма, не такие резкие, как Белинский, но все же полные неудовлетворенности. Второй друг Гоголя, профессор русской словесности С.П. Шевырев, недоуменно вопрошал: «Зачем ты оставил искусство и отказался от всего прежнего? Зачем ты пренебрег даром Божиим?» Как и Белинский, он призывал Гоголя вернуться к художественной деятельности. Гоголь в ответ недоумевал: «Я не могу понять, отчего поселилась эта нелепая мысль об отречении моем от своего таланта и от искусства... Что ж делать, если душа стала предметом моего искусства, виноват ли я в этом? Что ж делать, если заставлен я многими особенными событиями моей жизни взглянуть строже на искусство? Кто ж тут виноват? Виноват Тот, без воли Которого не совершается ни одно событие»⁷.

Молодой И. С. Тургенев увидел Гоголя в его последнем московском пристанище — доме близ Никитских ворот — осенью 1851 года. Его художественные творения Тургенев знал наизусть. Но — «мы с Михаилом Семеновичем <Щепкиным> ехали к нему, как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове ... вся Москва была о нем такого мнения»⁸.

Случилось так, что тому же Тургеневу почти тридцать лет спустя пришлось быть современником и свидетелем духовного переворота, который совершился с Толстым. И про Толстого тогда петербургские и московские литераторы говорили, что он помешался. 27 мая 1880 г. Достоевский писал жене: «Сегодня Григорович сообщил, что Тургенев, воротившийся от Льва Толстого, болен, а Толстой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел»⁹. Тургенев читал «Исповедь» Толстого и не принял, осудил ее так же, как в свое время Белинский книгу Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Создателю «Казаков», «Войны и мира», «Анны Карениной» Тургенев написал знаменитое предсмертное трогательное письмо, которое трудно читать без слез: «Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар Вам оттуда же, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на Вас подействует!.. Друг мой, великий писатель русской земли, внимайте моей просьбе!»¹⁰. Ах, как повторяется иногда история спустя годы, на новом витке!

Толстой не ответил на письмо, отправленное из Буживаля во Францию, где умирал Тургенев, в Тулу, то есть Ясную Поляну, хотя оно тронуло его. Одному из тогдашних посетителей Толстой сказал: «Очень доброе письмо». И не ответил. Н.Н. Гусев полагал, что из письма Тургенева Толстой понял, как тот тяжело болен, и «счел неуместным писать умирающему другу о своих будущих

литературных занятиях»¹¹.

Возможно, соображение справедливо. Скорее, однако, Толстой не рассчитывал найти понимание, а спорить не хотел (и так у него в жизни было слишком много споров с Тургеневым). Тургенев не мог понять, что Толстой вовсе не отказывается от литературной деятельности. Просто иначе теперь понимает свои задачи, свой писательский долг. Он не может стоять на месте, потому что не может не идти. Когда во время разговора о письме Тургенева собеседник спросил, будет ли он писать художественные произведения, Толстой ответил: «Конечно, буду. Если умеешь писать, нельзя не писать, так же как если умеешь говорить, то нельзя не говорить»¹².

Мы знаем, что так оно и случилось. Вскоре были созданы «Смерть Ивана Ильича», «Власть тьмы», «Крейцера соната» и многое, многое другое.

Это было уже несколько иное художественное творчество, которое Толстой, в отличие от предшествующих своих книг, называл «сознательным». Это было искусство, соединенное с учительством. Художник и учитель жизни слились в одном лице и в единой деятельности. Такое слияние, стремление к нему — характернейшая черта всей русской литературы. У нас было в XIX веке лишь двое великих писателей, которые не стремились к учительству, полагая, что искусство само по себе учит: в начале века Пушкин и в конце Чехов. Поэт и прозаик, выше всего ценившие свободу художника. «Слова поэта суть его дела», — сказал Пушкин.

Гоголь, обожавший Пушкина, обязанный ему замыслами великих созданий — «Ревизора» и «Мертвых душ», не имел пушкинского дара «свободы». Вериги учительства (если уж не довелось стать монахом, о чем он мечтал) были ему необходимы. Справедливо суждение В.Воропаева: «Однако подлинный трагизм ситуации заключается в том, что монашеский склад был только одной и, вероятно, не главной стороной гоголевской натуры. Художническое начало побеждало в нем; кризис Гоголя — следствие глубочайшего внутреннего конфликта между духовным устремлением и творческим даром»¹³.

Гоголю не удалось выйти из кризиса. Толстому удалось — и в этом великое счастье русской и мировой литературы.

2

В собрании сочинений Толстого две статьи «О Гоголе». Одна — 1888 года, не завершенная и не напечатанная при жизни, вторая — 1909 года, опубликованная в русской прессе к 100-летию со дня рождения Гоголя.

Осенью 1887 года Толстой писал Н.Н. Страхову: «Я мечтаю издать Выбранные места из переписки в “Посреднике”, с биографией. Это будет чудесное житие для народа» (64, 107). О том же было сообщено и руководителям «Посредника».

В книге Гоголя Толстой отчеркнул, что надо пропустить. В 1888

году «Посредник» выпустил книжку: «Николай Васильевич Гоголь, как учитель жизни». На обложке — портрет работы И.Е. Репина. Составленная А. Орловым, книжка была просмотрена до ее выхода Толстым. Но обещанного предисловия не было. Статья «не пошла». В написанном тексте изложены мысли о нравственном перевороте, случившемся с Гоголем. Обрывается рукопись на полемике с Белинским, вернее — на пересказе точки зрения Белинского: «Белинский первый осудил “Переписку” и сказал: “Проповедник кнута, апостол невежества и мракобесия, панегирист татарских нравов и т.п.” Белинский сказал: “По-вашему, русский народ самый религиозный в мире. Ложь. В русском народе много суеверий, но нет и следа религиозности. Русский народ скорее можно похвалить за его образцовый индифферентизм в деле веры; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме; вот этим-то может быть огромность исторических судеб его в мире ...”» (26, 650—651).

Одному из своих знакомых, литератору Н.Тимковскому (участнику московского кружка, снабжавшего сельские школы бесплатными библиотеками), Толстой сказал, что ему не хотелось вступать в полемику с Белинским, и потому статья о Гоголе не была закончена.

Очевидно, вместе с тем, что мысли Белинского о нерелигиозности русского народа (в церковном смысле) были чрезвычайно близки к тому, что писал в эти годы и сам Толстой. Охладило пыл полемики с Белинским, чрезвычайно резкой в письмах 1887 года к друзьям, чтение как раз в феврале 1888 года (время работы над статьей о Гоголе) сочинений Герцена, горячего сторонника Белинского.

Гоголь был человеком искренне, страстно верующим. Но ему приходилось отстаивать веру, взывать к ее спасительной силе в условиях кризиса религиозного сознания.

Как написал его старший современник поэт Ф.И.Тютчев в стихотворении «Наш век» (1851):

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры — но о ней не просит...

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! — Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!...»

Другой поэт, Е.А.Боратынский, назвал все это временем промышленности забот, «железным веком»:

Век шествует путем своим железным...
Кризис веры, кризис религиозного сознания, начавшийся в

европейских странах в XVIII веке, ко временам Гоголя явственно распространился в России. При всей религиозности Гоголя этот кризис коснулся и его. У Толстого он обернулся полным отрицанием церковной веры и поисками своей, новой религии, основанной на исполнении евангельских заповедей.

Картина, нарисованная Гоголем в повести «Вий»: черти поселяются в храме — поистине символична. «Иконы вынесли из храма — и храм уже не храм; летучие мыши и злые духи обитают в нем», — сказано у Гоголя в отрывке «Рим».

В первой книге Гоголя — «Вечера на хуторе близ Диканьки» — если не случалось всегда победить нечистую силу, то удавалось вдоволь посмеяться над ней. Смех тогда господствовал, и в его чистом зеркале не было страшно. Впрочем, и там был ужасный рассказ, так и названный: «Страшная месть». Сквозь страницы серьезных, торжественных книг позднего Гоголя проглядывает безмолвная улыбка дьявольской силы.

Гоголь столкнулся с вечными противоположностями сознания — с Богом и дьяволом. В попытке примирить их он пришел к церкви и покаянию, полнее всего выразив это покаяние в «Размышлениях о божественной литургии»¹⁴ и в «Прощальной повести», которая до нас не дошла. Существует мнение, что замысел повести вылился в книгу «Выбранные места...»

Ужас, владевший сознанием Гоголя, можно почувствовать, прочитав в его «Завещании» (1845): «Страшна душевная чернота, и зачем это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоит перед глазами!...Соотечественники! страшно!»¹⁵

Гоголь — плохое приобретение для церкви, которая принимает веру слепую и отвергает веру испытующую. Церковь заботится о *вере*; Гоголь, как и Толстой, мечтал о *жизни согласно с верой*. Оба не столько верили, сколько испытывали веру. Гоголь, в отличие от Толстого, очень мало рассказывал об этом. Но не приходится сомневаться: он на самом деле испытывал, искал, что сильнее в душе человека — живое или мертвое, кто более властен над ней — Бог или дьявол, дух света или дух тьмы.

Здесь кончается Гоголь и начинается Достоевский с его двойниками, с его «Легендой о великом инквизиторе» из «Братьев Карамазовых».

«Меня не хотели понять!» — в отчаянии повторял Гоголь. Ему показалось, что современники остались глухи к языку его искусства. Он обратился к языку религиозного поучения, к проповеди. Его понимали еще меньше: религиозного чувства у людей было ничуть не больше, чем восприимчивости к искусству. Началось одиночество, которое сам он назвал «сиротством».

В истории отношений Толстого к Гоголю, как художнику и учителю жизни, особенно важна вторая его статья. Если бы не было точно известно, что обе статьи написаны Толстым, что все подтверждено рукописями, записями в дневнике, письмами, трудно было бы поверить, что автор двух статей — один человек.

Вот что сказал Толстой в 1909 году: «Гоголь — огромный талант, прекрасное сердце и небольшой, несмелый, робкий ум.

Отдается он своему таланту — и выходят прекрасные литера-

турные произведения, как «Старосветские помещики», первая часть «Мертвых душ», «Ревизор» и в особенности — верх совершенства в своем роде — «Коляска». Отдается своему сердцу и религиозному чувству — и выходят в его письмах, как в письмах «О значении болезней», «О том, что такое слово» и во многих и многих других, трогательные, часто глубокие и поучительные мысли. Но как только хочет он писать художественные произведения на нравственно-религиозные темы или придать уже написанным произведениям несвойственный им нравственно-религиозный поучительный смысл, выходит ужасная, отвратительная чепуха, как это проявляется во второй части «Мертвых душ», в заключительной сцене к «Ревизору» и во многих письмах» (38, 50).

В экземпляре Сочинений Гоголя (изд. 10-е, М., 1889, подготовлено Н. Тихонравовым) — толстовские пометы как раз 1909 года. Письмо «Значение болезней» оценено 5+; письмо «О том, что такое слово» — 5+++ . Но некоторые другие письма («О помощи бедным», «Об Одиссее, переводимой Жуковским», «Несколько слов о нашей церкви и духовенстве» и др.) оценены: 2, 1 и даже 0. Интересно, что эти пометы существенно отличаются от тех, что были сделаны в 1887-1888 годах на другом издании (СПб., 1857). «Светлое воскресение», завершающее книгу «Выбранные места...», в 80-е годы было расценено во многих местах 5+++; в 1909 г. — целиком: 1. То же относится и к «Авторской исповеди»¹⁶. Толстой сильно изменился. Переменилось и отношение к гоголевским книгам.

Гоголь, болезненно относившийся ко всему сделанному ранее, мог воскликнуть в конце жизни, увидев в библиотеке знакомого свои прежние книги: «Как! И эти несчастные попали в вашу библиотеку!»¹⁷

Толстой, при всех его сложностях и противоречиях, нашел возможность соединить искусство и проповедь, обличение и призыв к добру.

Составляя за год до смерти завещание, он отдал во всеобщее достояние все свои сочинения, то есть отказался от мысли, что его творчество до перелома — «духовного рождения», как он говорил, — не нужно людям. Он как бы воссоединил всего себя. Это обострило его личную, семейную драму, но укрепило и спасло его дух и его наследие.

Как и следовало ожидать, в 1909 году Толстой часто и много говорил о Гоголе. Это отразилось в «Яснополянских записках» Д.П. Маковицкого.

Был недоволен тем, что Гоголю ставят в Москве памятник: ведь Гоголь просил в завещании, чтобы не делали этого. В своем завещании Толстой настоятельно просил, чтобы ничего подобного не случилось на его могиле.

В другой раз Толстой вспомнил, что книга «Выбранные места...» имела огромное влияние на брата Дмитрия Николаевича. Он поселился в деревне, чтобы, как советовал Гоголь, иметь доброе нравственное влияние на крестьян.

Сравнивал Гоголя с Чеховым. У обоих замечательный смех. Но у Чехова не было «нравственной закваски». У Гоголя она есть, и

в этом его сила.

Не одобрял Белинского, который «не постыдился включить в свое гневное послание к больному и нищенствующему писателю язвительный намек, будто он пользуется своим болезненным положением, чтоб “устроить себе через земных богов сладкое существование”».

Восхищался, как всегда, «Коляской»: «Нет ничего лишнего, закончено все, с добродушной сатирой и смешно до невозможности». Соглашался с гоголевским изречением: «Со словом надо обращаться честно»¹⁸.

В конце жизни нашел Толстой и более удачную, во всяком случае более скромную и демократичную, форму проповеди своего учения. Гоголь говорил от себя, и только от себя. Современники и потомки упрекали его в излишнем самомнении, самовозвеличении и непомерной гордости. Он оправдывался, уверяя, что это говорит не он, а его душа, слышащая голос Бога. Волей - неволей получалось, будто он — пророк, подобный Христу, Будде, Магомету. Это в самом деле выглядело нескромно. Лишь очень глубокие и умные его читатели, такие как П.Я. Чаадаев, могли не придавать форме никакого значения, а видеть одну суть: «Находятся страницы красоты изумительной, полные правды беспредельной, страницы такие, что, читая их, радуешься и гордишься, что говоришь на том языке, на котором такие вещи говорят»¹⁹.

Толстой настаивал на том, что проповедуемая им нравственная истина не столько божественна, сколько *общечеловечна*: *все мудрые люди во все времена думали так*. Он составлял и выпускал сборники изречений мудрых людей, по-разному их называя: «Круг чтения», «На каждый день», «Путь жизни». Здесь выдержки из Евангелия, Корана, из Будды; из сочинений Толстого, с указанием имени и без указания его; но также великое множество мыслей иных мудрецов Востока и Запада. Афористическая форма изречения, краткого, точного, как бы закругленного, подобна глотку прозрачной воды, которым в самом деле можно утолить духовную жажду. Никто, никогда не упрекал автора «Круга чтения» в нескромности. Напротив, свою итоговую и самую любимую книгу, созданную на склоне лет, кода к нему пришла всемирная слава (он отлично знал это и почти ежедневно получал подтверждения), он наполнил мыслями мудрых людей всех веков и народов, а себе отвел маленькую часть ее пространства. Между тем здесь, в «Круге чтения», впервые увидели свет его рассказы того времени, такие художественные шедевры, как «Корней Васильев», «Божеское и человеческое», «За что?», «Ягоды». Но также и «Душечка» Чехова, «Бедные люди» В. Гюго, «Франсуаза» Мопассана, «Воров сын» Н. Лескова, даже рассказ, правда, очень трогательный, ныне мало кому известной Л. Авиловой. В отличие от Гоголя, Толстой не противопоставлял искусство, искусство и проповедь, поучение.

Что касается Гоголя, он вошел в «Круг чтения» достаточно скромно. Но вошел.

Включена сентенция против споров: «К спорам прислушивайся, но в споры не вмешивайся. Храни тебя Бог от запальчивости и горячки, хотя бы даже в малейшем выражении. Гнев везде

неуместен, а больше всего в деле правом, потому что затемняет и мутит его».

Рассуждения о жизни и смерти: «Путь жизни широк, но многие не знают его и идут дорогою смерти».

«Человек может жить двояко: истинной (внутренней) жизнью или жизнью ложной, призрачной (внешней)».

О значении страданий: «Только испытав страдания, узнал я близкое сродство человеческих душ между собою».

О нескончаемости нравственного движения: «Для христианина нет оконченного курса: он до самого гроба ученик» (41, 18, 159, 528; 42, 251).

Толстой до конца жизни высоко ценил страстное отношение Гоголя к вере и подтвердил это в статье «Паскаль», вошедшей в «Круг чтения». Но постулаты своего *общечеловеческого* вероучения формулировал самостоятельно, либо обращался к иным источникам, более надежным, чем книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». В «Круге чтения» несравненно больше, чем из Гоголя, цитат из Евангелия, Корана, Талмуда, индийской Дхаммапады, из Будды, Лао-Тсе, Конфуция, Марка Аврелия, Эпиктета, Сократа, Амиеля, Канта, Руссо, Ламенне, Паскаля, Дж. Мадзини, Дж. Рескина и даже из немецкого физика, философа и сатирика XVIII века Георга Лихтенберга и американки Люси Малори, издательницы журнала «World's Advance Thought».

Толстой объединил в одной книге мудрость всего мира, чтобы научить людей лучше жить. Научил ли? Будем надеяться, что в конце концов научит.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Тургенев И.С. Полн. собр.соч. и писем: В 28 т. М., Л., 1960-1968. Письма. Т. 2. С.241.

2. Толстой ведет счет от года смерти Гоголя: 1852. «Выбранные места...» появились в 1847 году, то есть 40 лет тому назад.

3. Эту «неоконченную (и поэтому малоизвестную) статью» о Гоголе своевременно вспомнил Б. Сушков (Слово. 1991. №6. С.19).

4. Гоголь Н.В. Полн. собр. соч: В 14 т. Изд-во АН СССР, 1937-1952. Т. VIII. С.280-281.

5. В журнале «Вопросы литературы» (1990, № 7) появилась статья норвежца Гейра Хьетсо, где высказана гипотеза, что второй том не был сожжен, а мог быть спрятан А.П. Толстым. Дошедшие данные опровергают эту гипотезу.

6. Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями/ Составление, вступительная статья и комментарий В.А. Воропаева. М.: Советская Россия. 1990.

7. Гоголь Н.В. Т. XIII. С.292.

8. Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952. С.532.

9. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч: В 30 т. Л., 1972-1990. Т.30. Кн. 1. С.166.

10. Тургенев И.С. Письма. Т. 13. Кн. 2. С.180.

11. Гусев Н.Н. Л.Н. Толстой. Материалы к биографии с 1881 по 1885 год. М., 1970. С. 208.

12. Там же.

13. Указ книга. С.10.

14. В Яснополянской библиотеке сохранилось издание 1894 г. Разрезаны 32 страницы (из 124).

15. Гоголь Н.В. Т. VIII. С. 220-221.

16. См.: Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. Библиографическое описание. 1. Книги на русском языке. Часть первая. А-Л. М., 1972. С.

190-200.

17. Воспоминания протоиерея И.И. Базарова // Русская старина. 1901. №2. С.294.

18. Литературное наследство. Т.90, кн. 1-4. У Толстого. 1904-1910. «Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого. Кн.3, с. 352; кн.4, с. 14,43,152.

19. Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М., 1989. С. 314.

А.Н. Полосина

ДНЕВНИКИ РАССКАЗЫВАЮТ*

Ранние дневники графини А.А. Толстой, — родной тетки Л.Н. Толстого, — поступившие в Ясную Поляну несколько лет назад, раскрывают нам сокровенные тайны жизни молодой светской женщины пушкинского и постпушкинского времени. Они хранят на своих страницах мечты и надежды, которыми жила их владелица в дни ее юности. Дневники перенасыщены описаниями прогулок, балов, событий семейной жизни, они хранят в себе и неизвестные факты из биографий наших знаменитых литераторов, вырывая из забвения еще несколько эпизодов их жизни.

Графиня Александра Андреевна Толстая родилась четвертым ребенком в семье полковника гр. А.А. Толстого и его жены, урожденной П.В. Барыковой. С конца 20-х годов они жили в Царском селе, А.А. Толстой служил советником в Царскосельском дворцовом правлении, должность эту он получил по протекции кн.П.М. Волконского, министра двора, и благодаря хлопотам жены¹. Мать гр. А.А. Толстой, Прасковья Васильевна, происходила из обедневшего, но очень древнего дворянского рода. Она была «женщина очень умная, образованная, прекрасная мать и хорошая родственница», она «жила вся в детях и старалась изо всех сил дать им прочное, хорошее образование»². Она была искренним и сердечным другом своих детей.

Происхождение графини А.А. Толстой объясняет ее широкие родственные отношения с известными дворянскими родами коренной России. Оттуда — давние знакомства как в высших сферах, так и в провинциальной среде. Так, отец графини приходился правнуком знаменитому сподвижнику «великих дел Петровых» тайному советнику Петру Андреевичу Толстому, которому царь Петр пожаловал графское достоинство. Он был младшим братом деда Л.Н. Толстого Ильи Андреевича. Из многочисленной родни по отцу семья графини была наиболее близка с семьей гр. Ф.П. Толстого, художника и медальера. Они дружили домами и навещали друг друга, особенно летом, когда Ф.П. Толстой переезжал с семьей в Царское село. Но самые близкие родственные узы связывали семью графини с гр. Ф.И. Толстым — «Американцем», прославившимся на весь свет отчаянной храбростью, дуэльными историями и карточной игрой. У этого «необыкновенного, преступ-

* Продолжение работы А.Н. Полосиной, опубликованной в «Яснополянском сборнике» 1988 г., с. 178-182.

ного и привлекательного человека», по словам его знаменитого племянника — Л.Н. Толстого, было две дочери, старшую Сарру любил он беспредельно. Их имена часто упоминаются на страницах дневника А.А. Толстой. Дочь «Американца» была необыкновенной во многих отношениях. Она писала меланхолические стихи на английском и французском языках о близком конце, о покое могилы, украшенной весенними цветами. Ее стихи были, по словам В.Г. Белинского, «поэтической биографией одной из самых странных, самых оригинальных, самых поэтических и по натуре, и по судьбе, и по таланту, и по духу личностей. Это прекрасное явление промелькнуло без следа и памяти»³. С.Ф. Толстая умерла 17 лет, оставив по себе память на страницах дневника гр. А.А. Толстой. В ее семье убитые несчастьем родители Сарры обрели утешение в своей скорби, обрели слезы искреннего участия. Поражает своей проникновенностью и глубиной понимания натуры Сарры такая запись в дневнике графини: «Я говорю себе: Ее смерть — это благо. Сарра ушла в этой жизни. Жизнь ей ничего не обещала. Никогда она не могла быть счастливой, никогда и никто не смог понять ее, она была чужой в этой жизни». В дневник свой графиня переписала стихотворение В.А. Жуковского на смерть С.Ф. Толстой, которое в прижизненных собраниях поэта не печаталось. В нем есть такие строки:

Для нее земля темницей душной стала,
и смерть ей выкупом из тяжких уз была.

Записи в дневнике за 24 апреля 1838 г. проникнуты глубокой скорбью о смерти Сарры: «На родителей Сарры больно смотреть, их жизнь разбита. Мы оплакиваем Сарру и сожалеем о ней, как о своей сестре, воспоминания о ней мне очень дороги, и они выше всяких слов».

Со стороны родни по материнской линии самыми близкими родственниками А.А. Толстой было семейство полковника А.И. Философова, ее дяди. Родители его выделялись своим культурным уровнем, любили литературу, зачитывались сочинениями Пушкина, Лермонтова, романами Загоскина. А.И. Философов был женат на А.Г. Столыпиной, родственнице М.Ю. Лермонтова, который был в числе приглашенных на их свадьбу в 1834 году. Все родственники и знакомые Философовых стали знакомыми Лермонтова, в том числе и семья графини Толстой. Однако у нас есть основание предположить, что с ее отцом и матерью Лермонтов встречался и раньше в Москве. 17-летний Лермонтов был автором эпиграммы некую Толстую, сочиненной для мадригального бала в зале Московского Благородного собрания в ночь на Новый 1832 год, где он, как пишет его родственник А.П. Шан-Гирей, появился в костюме астролога с огромной книгой в руках и, раскрыв ее, стал оглашать мадригалы и эпиграммы на известных московских красавиц: А.В. Алябьеву, А.А. Щербатову, на молодую поэтессу Е.П. Сушкову (впоследствии Ростопчину) и других. Одну из эпиграмм он адресовал Толстой:

Недаром она, недаром
С отставным гусаром.

До сегодняшнего дня лермонтоведение не имеет ответа, какая Толстая имеется в виду. Комментаторы сочинений Лермонтова называли гр. Аграфену Федоровну Закревскую, дочь гр. Ф.А. Толстого (родная тетка Л.Н. Толстого), но она замужем была с 1818 года за А.А. Закревским, и вряд ли Лермонотов мог знать ее как Толстую. Называлось имя гр. А. А. Толстой. Но увы, графине в 1831 году исполнилось всего 14 лет, а старшей ее сестре Елизавете было 16 лет, и их, видимо, только готовили вывозить в свет. Вероятнее всего эпиграмма адресована гр. П.В. Толстой, матери Александры Андреевны. Полина Толстая, так называли ее в свете, была очень красивая женщина. М.Ф. Каменская, дочь гр. Ф.П. Толстого-медальера, писала о ней в «Воспоминаниях»: «...маменька моя рассказывала, что тетушка смолоду была очень хороша собой, но и я застала ее еще очень сохранившеюся: у нее были чудные черные большие глаза, очень умное выразительное лицо и самая добрая ласковая улыбка»⁴. На двадцать пять лет она была моложе своего мужа гр. Толстого, который в 1810 году «по высочайшему повелению был уволен от службы полковником с мундиром в тридцать девять лет из Изюмского гусарского полка». Это был «настоящий гусар того времени, — писала о нем М.Ф. Каменская, — человек честный, благородный, души добрейшей, но в действиях своих не сдержанный, размашистый, кутила и забияка порядочный». Предположим, что граф с женой приехал в Москву, где у них был дом в Малом Власьевском переулке на Арбате, или в гости к гр. Ф.И. Толстому и явился на бал-маскарад в мундире, с красавицей женой. И она, гр. П.В. Толстая, была замечена М.Ю. Лермонтовым. А так как, видимо, лично они не были знакомы, и Лермонтов видел ее впервые, то и дополнительных сведений у него не было, кроме того, что она была красива и приехала на бал с мужем, отставным гусаром, то и эпиграмма составила из двух строчек, да «недаром» так легко рифмуется с «гусаром». В то же время другим красавицам он посвящает многоречивые мадригалы. Документальных подтверждений этой версии пока нет, она в процессе исследования.

Имя М.Ю. Лермонтова на страницах дневника графини не встречается, но его родственники, брат и сестра Вера и Николай Аркадьевичи Столыпины, тетка и дядя Лермонтова, упоминаются. О дуэли и смерти М.Ю. Лермонтова записей в дневниках графини за 1841 и 1842 годы нет. Известие о том, что Лермонтов убит на дуэли на Кавказе, дошло до Петербурга в конце июля из частных писем. В то время семья Толстых жила у своих родственников в «родовом гнезде» Протасовых в имении Троицком Чернского уезда. В сентябре они вернулись к себе в Царское село. А через три с половиной месяца они получили печальное известие с Кавказа о смерти гр. Василия Андреевича Толстого, брата графини. Вероятно, глубокое семейное горе, потеря любимого брата и личные переживания (в этот же 1842 год графиня сама пережила любовное потрясение) отодвинули на второй план другие ее интересы.

Большой интерес для нас представляют родственные отношения гр. Толстых с семейством родного дяди графини Александры

— Алексеем Романовичем Томиловым, высокообразованным военным инженером. Просвещенный любитель и знаток искусств, он был одним из первых собирателей произведений русских художников. Его близкими друзьями были и портретировали его и многих его родственников В.Л. Боровицкий, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, А.Г. Венецианов, А.Г. Варнек, П.Е. Заболотский. Они оставили по себе хорошую память картинами, этюдами, портретами в его родовом имении Успенское близ Новой Ладоги. Многим молодым художникам он помог получить образование, так, А.Р. Томилов особенно покровительствовал П.Е. Заболотскому, специализировавшемуся на портретной живописи. Он нашел способ помогать художнику материально (Заболотский был сыном небогатого тихвинского мещанина), предложив своим родственникам брать у него уроки живописи, а также заказывать ему портреты. Попутно вспомним, что в 1837 году Лермонтов брал уроки живописи у Заболотского, он познакомился с художником в доме дяди графини А.И. Философова. А в 1839 году и графиня получила десять уроков у блестящего мастера портретной живописи. Видимо, и художнику уроки в доме гр. Толстых пришлось по вкусу, о чем он написал в письме к Томилову: «Уроки у графини Прасковьи Васильевны идут прекрасно»⁵. Тогда же П.Е. Заболотский написал портреты родственников гр. Толстых: Барыковых, Томиловых и родственников Лермонтова: Столыпиных, Филосовых.

Графиня Александра Андреевна, при общей талантливости своей натуры, жившая в художественно-литературной среде, пробовала свои силы и в литературе, и в живописи, и в исполнительском искусстве: у нее был хороший голос (контральто). Однако разнообразные таланты ее одаренной натуры никогда не выходили за пределы любительства, что было характерно для ее эпохи и в ее среде. С детства графиня Александра воспитывалась на лучших образцах русской и западноевропейской живописи. В картинной галерее своего дяди А.Р. Томилова в Успенском графиня видела работы лучших художников России и Европы.

У ученицы П.Е. Заболотского в дневниках очень много карандашных рисунков, а летний травемюндский дневник ее просто переполнен пейзажами тех мест, по которым графиня Толстая вожаживала.

В дневнике 1838 года есть четыре женских и один мужской портреты, выполненные карандашом. В тексте дневника об этих портретах нет ни полслова. Они не подписаны автором. Попробуем определить, кто изображен на портретах. Начнем с изображения мужчины. На портрете изображен гр. Андрей Андреевич Толстой. Портрет идентифицируется по акварели, висящей в малой гостиной мемориального дома Л.Н. Толстого в Ясной Поляне. Эта акварель была среди вещей, переданных «на память» графиней А.А. Толстой после ее смерти и предназначавшаяся Л.Н. Толстому. С.А. Толстая писала об этом в своем дневнике: «В числе вещей были и три портрета: один ее отца и двух братьев»⁶. Сходство персон, изображенных на двух портретах, несомненно. Черты лица, прическа, мундир, поворот головы немного вправо — все

идентично настолько, что есть основание предположить, что автор яснополянской акварели и портрета из дневника один и тот же.

На втором портрете изображена гр. П.В. Толстая, мать графини Александры. Этот портрет идентифицируется по акварельному портрету гр. П.В. Толстой, находящемуся в Ленинграде во Всесоюзном музее А.С. Пушкина. Сохранилась также ее фотография в пожилом возрасте, хранящаяся в Москве, в ГМТ. Простым путем сравнения всех портретов и фотографии устанавливается сходство. А вышеприведенное описание внешности гр. П.В. Толстой современницей ее М.Ф. Каменской подтверждает правильность вывода. У гр. П.В. Толстой были очень красивые, выразительные глаза. Ее внучатый племянник Л.Н. Толстой писал о ней: «Я ее теперь очень часто как живую вижу перед собой, с особенным ей одной свойственным выражением этих прекрасных глаз — строгость и детская ласка» (62, 475).

На следующем портрете изображена гр. Сарра Федоровна Толстая, дочь графа Ф.И. Толстого-«Американца». Современники гр. С.Ф. Толстой оставили описание ее внешности: «Наружность Сарры была приятная: роста она была малого; черты лица правильные; цвет волос темно-русый, почти черный; глаза темно-карие, прекрасные; черные брови, довольно красивые; нос маленький; губы и рот приятные. Ее немного безобразила болезненная толстота»⁷. Это описание совпадает с нашим портретом. Мать Сарры, жена Толстого-«Американца» была цыганка, это проявилось в особенной выразительности черт лица дочери. Известен еще другой портрет Сарры, работы художника П.Ф. Соколова. Он находится в музее В.А. Тропинина и московских художников его времени. Оба портрета — акварельный и карандашный — имеют еле уловимую схожесть в овале лица, в прическе, в выражении лица и глаз. П.Ф. Соколов, непревзойденный мастер акварельного портрета начала XIX века, работавший в эпоху романтизма, идеализирует свою модель: ни «толстоты», ни «цыганистости», кроме смуглого цвета лица, в портрете его работы нет.

Оставшиеся два женских портрета сравним сначала между собой. У обеих женщин, изображенных на портретах, очень схожие черты лица: глаза, форма носа, линия подбородка. Но у них неодинаковые прически, разные платья. Выражение лица одной веселое, игривое, еле уловимая улыбка блуждает на лице, а у другой лицо серьезное, грустное. Женщины очень похожи друг на друга, фамильное сходство очевидно, вполне логично предположить, что «неизвестные» — две сестры, одна младшая, гр. Александра Андреевна, другая — серьезная — ее старшая сестра Елизавета Андреевна. При сравнении портретов сестер с их фотографиями, сделанными в 60-е годы, несмотря на огромную разницу во времени, сходство черт лица юных барышень и взрослых женщин не оставляет сомнений.

Теперь об авторстве портретов. Исполнены портреты вполне мастерски, с натуры, но не профессиональным художником. Автора отличает прекрасное знание моделей. Он прорисовывает до мельчайших подробностей давно знакомые и любимые черты лица, прически, костюмы. Сравнение всех портретов дает основание

говорить не только о родовом фамильном сходстве, но и о сходстве в манере исполнения: все до единого портреты поясные, все фигуры статичны, развернуты несколько влево, кроме мужской, все говорит о непрофессионализме художника-автора, о скованности его руки, неспособности обобщить характерные черты своей модели. Исходя из вышесказанного, имя автора портретов может быть названо как имя гр. А.А. Толстой. Аргументом в пользу авторства графини Александры могут служить и стиль и манера исполнения рисунков, и даже то, что все портреты находятся в ее дневнике — это еще и косвенное доказательство ее авторства.

Наконец, судя по прическам, костюмам, платьям портреты созданы в конце 30-х годов, но, очевидно, не позднее 1838 года, так как одна из моделей, гр. С.Ф. Толстая, в этом году умерла. Если условно обозначить год создания портретов 1838, то нашим портретируемым было бы: гр. А.А. Толстому-отцу 67 лет, его жене гр. П.В. Толстой 42 года, гр. С.Ф. Толстой 17 лет, гр. А.А. Толстой 21 год, а ее сестре гр. Е.А. Толстой 23 года. Возраст портретируемых, на наш взгляд, не противоречит этому.

Среди забытых и малоизвестных «теней» прошлого в дневниках гр. А.А. Толстой большой интерес представляют имена А.А. Воейковой, вошедшей в историю русской поэзии как «Светлана» В.А. Жуковского; генерал-адъютанта В.А. Перовского, друга Жуковского, и имя самого поэта. Некоторые записи в дневнике гр. Александры были сделаны в имении Бунино, Болховского уезда, принадлежавшем сестре поэта В.А. Жуковского по отцу — Е.А. Протасовой. Все это позволяет причислить семейство графини Александры Андреевны к числу белевских, а потом и царскосельских друзей поэта. Да и были они до некоторой степени родственниками: мать гр. П.В. Толстой, Елизавета Федоровна Барыкова, была замужем вторым браком за Василием Ивановичем Протасовым, деверем Е.А. Протасовой. В их имении Троицкое, Чернского уезда, часто упоминаемом в дневниках, гр. Толстые проводили летние месяцы. Видимо, семья графини Александры и познакомилась с поэтом через Протасовых. В 1811 году, женившись на П.В. Барыковой, гр. А.А. Толстой купил бывшее протасовское имение Сальково, Белевского уезда, в котором в конце XVIII века жил у Е.А. Протасовой В.А. Жуковский; проведенное там время он назвал «сальковской жизнью» и считал жизнь там недостижимым идеалом. В начале XIX века гр. Толстые жили в Белеве, где граф А.А. Толстой был предводителем уездного дворянства. Племянница Жуковского А.А. Воейкова и гр. П.В. Толстая были близкими подругами. Дружба в их кругу ценилась выше всего на свете и ставилась всегда выше любви. «Вы трое (Жуковский, Перовский и Полина) — любите друг друга — это все мое счастье», — писала Воейкова перед смертью Жуковскому. Умирающая от чахотки Воейкова поручила заботу о своих детях не мужу, а своим друзьям — Жуковскому, Перовскому и гр. П.В. Толстой. В подруге своей «Светлана» не обманулась. Гр. Полина Толстая приняла участие в судьбе младшей дочери Воейковой, Марии: она жила в ее доме, пока бабушка Е.А. Протасова не увезла ее к себе в Бунино. Культ А.А. Воейковой в семье гр. Толстых не угасал. В дневнике за 1842

год гр. Александра переписала письмо К.К. Зейдлица со списка В.А.Перовского о последних днях «Светланы». Графиня Александра провела детство вместе с дочерьми А.А. Воейковой: Екатериной и Александрой. Характерна запись в дневнике 30 июля 1841 года: «Бунино. Быстрее надо записать хотя бы одно слово, чтобы отметить этот удивительный день, который я провела в Бунино, день, который быть может никогда не повторится в моей жизни. Этот день я провела с моими дорогими подругами детства Катей и Сашей Воейковыми. Этот единственный и неповторимый день так быстро прошел, как все хорошее. Ах, как нужно сердцу счастье друзей». А дальше рукой Александры Андреевны Воейковой приписано: «Мы созданы, чтобы заслужить счастье, а не для того, чтобы достичь его». Эти записи — гимн дружбе в стиле Карамзина и Жуковского. С дочерью «Светланы» А.А. Воейковой графиня Александра сохранила дружеские отношения до старости.

Невозможно сказать с достоверной, точностью, что В.А. Жуковский был частым гостем в доме гр. Толстых в Царском селе. Но об одном визите его 4 ноября 1839 года графиня Александра Андреевна оставила запись в дневнике. Как известно, В.А. Жуковский в жизни был большим любителем шуток, розыгрышей, балагурства, столь непохожих на меланхолию его стихотворений, в кругу близких друзей его называли «шуточных и шутовских дел мастером». И вот однажды в доме графов Толстых его ждал сюрприз: поэт сам стал предметом шутки. На своей тарелке на обеденном столе он обнаружил вместо еды акварель. На ней был изображен обеденный стол, за которым сидят мыши и крыса. Одна мышь стоит у дверей комнаты и проливает слезы. Акварель написана художником Н.И. Тихобразовым, как иллюстрация к сказке Жуковского «Война мышей и лягушек», пародии на нравы царского двора и света. В сказке комически выведен сам поэт, «наставник мудрый крыса-Онуфрий», жена мыши царского происхождения «Белая шубка» «Прасковья-Пискунья» — гр. П.В. Толстая: Гр. Александра Андреевна Толстая пишет в своем дневнике: «Вот небольшой рисунок на память о прекрасном дне, проведенном у нас любезнейшим Жуковским. Полина⁸ и Саша⁹ уехали в Петербург, поэтому маленькая мышь у дверей проливает слезы. Обед дан в честь крысы-Онуфрия мышью Прасковьей-Пискуньей». Жуковский был очарован магией этого фарса, приготовленного ему в доме гр. Толстых. Сохранилось несколько шуточных писем поэта к гр. Полине Толстой с уведомлением о визите, они опубликованы в «Русском вестнике» и «Русской старине».

Находясь в конце своей жизни в Германии, Жуковский в каждом письме просил свою внучатую племянницу А.А. Воейкову сообщать ему все подробности о жизни гр. П.В. Толстой и ее семейства. Сама же графиня Александра Андреевна пользовалась особым уважением и любовью со стороны поэта. Об этом знали друзья Жуковского. Так на последнем письме Жуковского, написанном уже теряющим зрение поэтом В.А. Перовскому, найденном после его смерти в его «особо важных бумагах», сделана рукой Перовского следующая надпись: «Передать после моей смерти графине Александре Андреевне Толстой, которой будет очень

приятно иметь это письмо В.А. Жуковского»¹⁰.

Интересно вспомнить, что все письма В.А. Перовского графине Толстой побывали в руках Л.Н. Толстого, на большинстве из них были сделаны пометки синим карандашом. Письма Перовского понадобились Л.Н. Толстому в качестве материала для романа «Декабристы», который Л.Н. Толстой так и не написал. Благодарную память о В.А. Жуковском графиня Александра Андреевна хранила всю жизнь. В дневнике за 1883 год она записала о Жуковском: «Такие привязанности не могут умереть, одна память о нем способна согреть и освятить других»¹¹.

Самый большой интерес из всех дневников гр. А.А. Толстой имеет тетрадка, в которой осталось всего тридцать листов, заполненных цитатами на французском языке из сочинений Жорж Санд, да список книг, которые графиня прочла в 1837 году. Тайна утраченных дневниковых записей с июля 1836 по март 1837 года остается на сей день неразгаданной. Удастся ли ее когда-нибудь разгадать? Сейчас трудно даже определить, в какой период записи были утрачены, при жизни гр. Александры Андреевны или в другие времена, ведь дневники, прежде чем попасть в музей, прошли не через одни руки. С чувством глубокой сердечной боли сожалеешь об этих, может быть навсегда исчезнувших записях, как еще об одном документе, который, возможно, дал бы новый материал о последних месяцах жизни, дуэли и смерти А.С. Пушкина или по крайней мере можно было бы узнать, на какой стороне была графиня Александра в истории дуэли Пушкина. Попытка определить, когда исчезли дневниковые записи о Пушкине, пока не увенчались успехом. Возможно графиня А.А. Толстая сама уничтожила эти записи, но когда? Что в них таилось? Была ли графиня беспристрастной свидетельницей или судила, не понимая как большинство людей светского общества, причин трагедии А.С. Пушкина, которая разыгрывалась на их глазах? Семья графини Александры была в числе московских и петербургских знакомых А.С. Пушкина. Близкие знакомые гр. Толстых принимали прямое участие в разворачивающихся событиях: В.А. Жуковский, Карамзины, А.И. Тургенев.

Интересна в этом смысле непосредственная связь вышесказанного со списком книг, которые графиня Александра прочла за 1837 год. Книги она читала не для развлечения, а для пользы душевной, следуя завету В.А. Жуковского: «Читать — значит совершенствоваться, стремиться к тому высокому идеалу, который назначил творец». Конечно же, она, как и всякая девушка ее круга, не расставалась с Фенолоном, все дневники ее насыщены выписками из нравоучительных сочинений Фенелона, который «как неразлучный товарищ умеет дать твердость, надежду и ясность», в нем она ищет успокоения от тревог сердца. В великопостные дни ежедневным ее чтением было Евангелие. Глубокая религиозность графини Александры Андреевны с годами переросла в веру твердую, непоколебимую, которую не смог расшатать даже Л.Н. Толстой, отрицавший русскую ортодоксальную церковь. Вера сформировала ее характер, во всем покорный провидению, судьбе. Молитва была ее утешением.

Чтение А.А. Толстой носило «французский характер», как это было принято тогда. В романах Бальзака у нее не было недостатка, поглощались «Утраченные иллюзии», «Покинутая женщина», «История тринадцати». Ее интерес к истории восполняли «Этюды, или Исторические речи о падении Римской империи» Шатобриана, а также Бульвер-Литтона «Евгений Арам» и «Риенцы, последний из римских трибунов». Она читала эти сочинения на французском языке, которым владела в совершенстве, предпочитая его, порой, русскому. «Дон-Кихота» Сервантеса графиня также прочла по-французски. Ее мыслям не был чужд вольнолюбивый скептицизм Вольтера, интерес к которому в России не ослабел еще к 1837 году; без Вольтера трудно было представить любую домашнюю библиотеку в России.

Значительное место в читательских пристрастиях А.А. Толстой занимала «женская литература»: романы Жорж Санд, Сталь, де Севинье, Д'Абрантес, опусы Луизы Лавальер. Предощущение счастья в 19 лет, жажда веселья пробудили в ней интерес к комедиям и водевилям Скриба, насмешка которого над жизнью и нравами была мягкой и снисходительной. Многие его комедии читали вслух в семье Толстых. Она зачитывалась бесчисленными живыми и веселыми комедиями полузабытых в наши дни французских драматургов, популярных в России писателей времен первой империи Александра: Дювала, Деламина и других еще менее известных авторов. Как далека, видимо, была графиня Александра от понимания «страстных недель» А.С. Пушкина, от понимания его трагедии, которая, как сказано выше, разворачивалась на глазах ее близких и знакомых. И единственная запись, которая скупо характеризует отношение А.А. Толстой к А.С. Пушкину в этот год: в списке книг за январь 1837 года она пишет, что прочла «Капитанскую дочку», повесть Пушкина, и далее по-французски: «Бедный Пушкин! Это был его последний росчерк пера». А в июле 1837 года в ее семье читали вслух ходившее тогда в списках знаменитое письмо В.А. Жуковского к отцу поэта Л.С. Пушкину. Не исключено, что после этого Александра Андреевна уничтожила свои записи в дневнике о Пушкине. Но это мог быть лишь один из вариантов их возможного исчезновения.

В принадлежавших яснополянскому музею Л.Н. Толстого дневниках гр. А.А. Толстой записи заканчиваются 1844 годом. Это был грустный для нее год: умер отец, умерла любимая тетка П.С. Барыкова. Через два года после этого графиня станет придворной дамой, проживет при царском дворе всю свою оставшуюся жизнь, застанет царствование пяти императоров, заслужит любовь и уважение света и двора. Пристрастие к литературе приведет ее к знакомству с Л.Н. Толстым, талантом которого, как своего родственника, она очень гордилась.

Дружба с В.А. Жуковским, близость к кругу его друзей и знакомых, среди которых были Карамзины, И.И. Козлов, А.И. Крылов, Н.И. Гнедич, А.Ф. Воейков, Н.И. Греч, А.С. Пушкин, знакомство с М.Ю. Лермонтовым и его окружением, родственные узы с семьями Барыковых, Томиловых, Философовых, — в этой элитарной русской среде сформировалась А.А. Толстая как чело-

век большой культуры.

Умная, образованная, одаренная, постоянная в своих привязанностях (она до глубокой старости осталась верна всем, кого любила в молодые годы), «придворная до мозга костей», женщина, которой было далеко за тридцать лет, и о которой Л.Н. Толстой запишет в своем дневнике в 1857 году: «Прелесть Александрин, отрада, утешение. И не видал я ни одной женщины, доходящей ей до колена» (47, 160). Такой она предстала перед Л.Н. Толстым, прославившимся тогда повестью «Детство». Сначала их отношения носили характер, как говорят французы, «*amitie amoureuse*»*, а потом переросли в «неукладистую дружбищу», по словам Л.Н. Толстого. Привязанность между ними существовала всю жизнь, несмотря на глубокие разногласия по вопросам веры и религии, несмотря на духовный разлад, после того, как Л.Н. Толстой стал доказывать ей «бесполезность и вред, приносимый церковью».

Они переписывались 50 лет до самой смерти графини в 1904 г. Их переписка, которую Л.Н. Толстой назвал «своей лучшей автобиографией», была опубликована в 1911 году. Перечитывая копии писем А.А. Толстой в последний год своей жизни, Л.Н. Толстой говорил: «Когда я оглядываюсь на свою долгую темную жизнь, воспоминания об Александрин — всегда светлая полоса».

Они встречались в Москве, в Петербурге, на железной дороге, когда она ехала в Крым с царской семьей. Л.Н. Толстой любил и ценил общение со всей семьей графини: матушкой, сестрами Лизой и Софьей, братом Ильей. «Как-то так славно пахнет от них толстовско-барыковско-твердо-родственным, приятным духом», — писал о них Л.Н. Толстой (60, 274).

Графиня Александрин с 1887 года стала бывать у Толстых в Ясной Поляне. Однако самый первый ее визит в Ясную Поляну в 1884 году остался незамеченным биографами Толстого. Вот что писал о гр. А.А. Толстой с ее слов в своих воспоминаниях И.Н. Захарьин-Якунин: «Гр. А.А. Толстая не любила крестить. Но раз в своей жизни она не только напросилась в крестные матери, но и сама рапоряжалась ритуалом крестин. Это случилось около 20 лет тому назад. Ей сообщили, что некий отец не желает, чтобы его новорожденный ребенок был крещен. Письмо было подано в 4 часа дня. В 7 часов Александра Андреевна уже мчалась курьерским поездом по Николаевской железной дороге. Она вышла на другой день далеко за Москвой и взяла почтовых лошадей в усадьбу — «туда и обратно». По приезде она живо распорядилась послать за священником и крестным отцом. Затем, когда на вопрос — какое имя дать при крещении — родители ответили молчанием, графиня приказала назвать новорожденную своим именем — Александрой. После обряда, немного отдохнув и любезно со всеми распрощавшись, <...> Александра Андреевна, как ни в чем ни бывало, села в почтовую кибитку и уехала обратно на железнодорожную станцию». В приведенном отрывке все соответствует действительности. «Это случилось около 20 лет назад», действительно, Захарьин-Якунин писал свои воспоминания в 1904 году, стало быть речь

* любовь-дружба (фр.).

идет о 1884 году. «Некий отец» — это Л.Н. Толстой, у которого 18 июня 1884 года «родилась третья дочь». Действительно, родители не собирались крестить новорожденную из-за ссоры, которая произошла между ними накануне. «Усадьба за Москвой» — это Ясная Поляна. В государственном архиве Тульской области сохранилось свидетельство о том, «что событие рождения дочери Александры по метрике Николаевской церкви села Кочаков Крапивенского уезда за 1884 год под № 53 значится так: июня 18 числа сельца Ясной Поляны у порутчика артиллерии Л.Н. Толстого и законной жены его Софьи Андреевны, родилась дочь Александра, крещена 28 числа того же месяца священником Иоанном Кулаковым с причтом, восприемники были председатель Петербургского окружного суда действительный советник Александр Михайлович Кузминский и фрейлина двора его императорского величества гр. Александра Андреевна Толстая»¹². Раньше, однако, считалось, что графиня была «заочной» крестной матерью дочери Толстого. Графиня была «глубоко религиозной женщиной и строгой хранительницей традиций былого времени», она ни с чем не посчиталась: ни с дальней дорогой, ни со своим временем, ни со своим 67-летним возрастом, она выполнила долг перед своей совестью так, как она его понимала.

«Сикстинская мадонна» Рафаэля, подарок А.А. Толстой, радовала Л.Н. Толстого в молодости, а в последние годы жизни писателя она стала безмолвным свидетелем его творческого труда. Литографические фрагменты этой знаменитой картины Рафаэля, висящие над письменным столом в рабочем кабинете писателя, напоминали ему о его друге Александрин, «самой светлой полосе его жизни».

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Архив Государственного исторического музея, — ф.344, ед.хр.11, л.201.
2. Каменская М.Ф. Воспоминания// Исторический вестник. 1894. Т.57. №7. С.220.
3. Белинский В.Г., Полн.собр.соч. Спб., 1907. Т.VIII. С.312-313.
4. Каменская М.Ф. Указ.соч. С.248.
5. Картины русских художников в собрании Е.Г. Шварца// Старые годы, Спб., 1916. №1-2. С.76.
6. Толстая С.А. Дневники в двух томах. М., 1978. Т.2. С.102.
7. Толстая С.Ф. Сочинения в стихах и прозе. М., 1838. С.ХХ.
8. Полина — П.С. Барыкова (17...-1844), тетка и воспитательница гр. А.А. Толстой.
9. Са ша — А.А. Томилова (1815-1878), троюродная сестра гр. А.А. Толстой, дочь А.Р. Томилова.
10. Вестник Европы. Спб., 1901. №4. С.550.
11. ЦГАЛИ, ф.318, ед.хр.43, л.165.
12. Государственный архив Тульской области, № ф.39, оп.2, д.2285-а, с.92.

В.Н. Абросимова

ТОЛСТОЙ — ДИЛЛОН — ГЕ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ПИСЬМА
(По архивным материалам)

В 1890 году в иностранной почте Л.Н. Толстого появилось новое имя: Эмилий Диллон (Dillon, Emile Joseph, 1854-1933). На протяжении двух лет он был одним из самых активных корреспондентов Толстого. Письма Диллона содержат богатый историко-литературный материал, касающийся прежде всего растущего влияния Толстого за границей¹. Цель данного исследования: ввести в научный оборот документы, которые вносят новый оттенок в историю отношений Толстого с Н.Н. Ге, И.И. Горбуновым-Посадовым и др. и позволяют понять, почему именно в Англии в декабре 1890 года был впервые опубликован текст Толстого «К картине Ге (Тайная вечеря)».

* * *

Ирландец по происхождению, доктор Лувенского университета Эмилий Диллон в конце 70-х годов приехал в Россию для совершенствования своих знаний в области восточной словесности. За десять с лишним лет он вырос в известного ученого², журналиста, переводчика. Постепенно, по его собственным словам, Россия становилась для него второй родиной³. И когда в 1887 году ему предложили стать петербургским корреспондентом лондонской газеты «Daily Telegraph», он сразу же согласился. С небольшими перерывами Диллон представлял эту газету в Петербурге вплоть до 1914 года, начала первой мировой войны. К этому времени относится знакомство Диллона с крупнейшими русскими учеными, писателями, художниками, общественными и политическими деятелями. Среди его добрых друзей — Н.Н. Ге, Н.С. Лесков, В.С. Соловьев и др. Особую роль в жизни Диллона сыграло его знакомство с Л.Н. Толстым.

С начала 80-х годов Диллон внимательно следил за изменениями в творчестве писателя, связанными с его религиозными исканиями. Сильное впечатление произвело на него письмо Толстого к А.А. Фету от 17/29 октября 1860 года, впервые опубликованное в «Русском обозрении» в январе 1890 года. Прочитав его, Диллон впервые ощутил, что здесь, в России, рядом с ним — тот великий художник

и мыслитель, к встрече с которым он готовился всю сознательную жизнь. Ему было в то время 35 лет. Он только что познакомился с «Крейцеровой сонатой» Толстого и вступил в переписку с автором по поводу перевода и издания повести в Англии⁴.

В процессе работы Диллон сблизился с молодыми друзьями и единомышленниками Толстого (В.Г. Чертковым, И.И. Горбуновым-Посадовым и др.), получил от них списки некоторых неопубликованных произведений писателя. Среди них был и текст Толстого «К картине Ге (Тайная вечеря)». Написанный в 1886 году, он так и остался неизвестным широкому кругу читателей. Диллон решил перевести его и включить в свою статью о Ге, для которой он начал собирать материал сразу же после скандального снятия новой картины мастера «Что есть истина?» с XVIII передвижной выставки.

Она открылась в Петербурге 11 февраля 1890 года⁵, а уже 13 февраля «Петербургская газета» в заметке «Э-эх, господа, господа!» с неудовольствием настаивала на безликости представленных на выставке работ. В качестве примера приводилась названная картина Ге. Критик с раздражением писал: «... Это нечто ужасное и в композиционной технике, утрированное до той крайней границы, за которой начинается безобразное ... у гг. передвижников всегда должен быть какой-нибудь “гвоздь” на выставке, — вот эта картина г. Ге и есть нынешний “гвоздь” ... гвоздь ржавый, изломанный, но все же гвоздь ... трактована картина в смысле реалистического безобразия и низведения Христа до уровня какого-то человека, не помнящего родства. Это прямое нарушение, даже возмущение человеческого смысла». Картина Ге явилась поводом для очередного наступления на передвижников: «Перед нами наклон, очень крутой наклон, по которому наши даровитые художники, увлеченные рогожностью письма и пошлостью реализма по-Стасовски, опускаются все ниже и ниже к прозе, к грязи, воображая, что это понятнее и им, и толпе. В таких вульгарных картинах художники хотят выступать мыслителями-атеистами, пропагандистами отрицания, а это, во-первых, не дело искусства и показывает только невежество и глупость нынешних художников ... Христос г. Ге — это невозможность, это даже не тенденция, а одна жалкая утрировка, грубая до наглости и ничего не выражающая». Рецензент усмотрел в картине Ге что-то «неразумное влияние» и обрушился на «целую школу гг. Репиных, Крамских, Перовых, Поленовых, людей, бесспорно, даровитых, покушавшихся на создание своей стасовской школы, не владея даже порядочным обучением. ... Не находя в себе ни таланта, ни образования, чтобы понять Христа в его эпоху, художники начинают низводить Христа до собственного уровня, до собственного невежества и дикости»⁶.

Тон дальнейшему обсуждению был задан. «Петербургскую газету» поддержал «Петербургский листок». Сначала его заметки были сдержанными, но потом он начал «сердиться». 15 февраля в развернутом комментарии «Петербургский листок» обосновал трактовку картины Ге как откровенной и неудачной пародии на евангельский текст: «...это вовсе не художественное произведение,

а нечто, доказывающее, что наши художники, в погоне за реализмом, зашли в какие-то дремучие дебри, где нет ни чувства, ни знания, ни художественной правды, а есть только глумление над тем, что дорого всякому, не испорченному в конец человеку»⁷. 17 февраля в итоговом обозрении на его страницах было выдвинуто требование чистого искусства, «без всяких тенденций и погони за реализмом»⁸.

Постепенно в полемику включились другие издания. 18 февраля «Неделя» упомянула о картине Ге как о «производящей сенсацию и собирающей около себя толпу»⁹, а 22 февраля 1890 года газета утверждала: «...Слоном выставки, по словам критиков, является полотно г-на Ге «Что есть истина?» ...это абсурд, до которого непременно должны были прийти передвижники, исповедуя изображение жизни «такою, как она есть», или «такою, какою она в действительности была». Картина Ге приравнивалась к «идейной фотографии, освещенной не солнцем, а потоками прованского масла. Так оно и должно было случиться, потому что теория передвижников с самого начала носила в себе нелепое противоречие. Это была теория тенденциозного, т.е. идейного реализма. Идейность противоречила и искажала реализм, а реализм подрывал идейность. Она — точка тому направлению, которое с 60-х годов господствовало среди передвижников»¹⁰.

18 февраля появилась заметка и в «Живописном обозрении». Работа Ге была представлена как «одна, действительно, выдающаяся картина и выдающаяся настолько, что можно с уверенностью сказать — ни на одной художественной выставке не было ничего подобного (и дай Бог, чтобы никогда не было). ...Безусловно неверная в историческом отношении, картина г. Ге крайне не удовлетворительна и по композиции, и по колориту»¹¹.

Так формировался тот идейно-художественный и социально-нравственный контекст, без которого невозможно было применить санкции к знаменитому мастеру. 18 февраля 1890 года «Сын Отечества», без ссылки на источник, информировал: «Нам сообщают, что вызвавшая общие порицания картина художника Н. Ге — “Что есть истина” на днях будет убрана с выставки товарищества передвижников»¹². Через три недели¹³ произошло событие, желанное для тех, чье мнение выражала эта газета. 5 марта 1890 года она использовала полотно Ге для демонстрации вредного «духа времени»¹⁴. На следующий день вмешались иные силы. 6 марта 1890 года свое клеймо поспешил поставить К.П. Победоносцев. В послании к царю он оценил картину Ге как «кошунственную, глубоко оскорбляющую религиозное чувство, и при том неслыханно тенденциозную». Появилась и новая, по сравнению с журналистами, интонация: «Можно представить себе, какое произведет она впечатление в народе и какие — смею прибавить — [вызовет — В.А.] нарекания на правительство, так как наш народ до сих пор еще думает, что все, раз решается им о правительством, им одобрено». Резолюция Александра III гласила: «Картина отвратительная; напишите об этом И.Н. Дурново, я полагаю, что он может запретить возить ее по России и снять теперь с выставки»¹⁵. До ее закрытия оставалось меньше

не застал меня дома ... Если бы Вы были так любезны пожаловать ко мне во вторник в 2 часа дня ... Вас постигло горе, я боюсь и не смею сказать Вам слова утешения — горе матери так велико и так глубоко, что я мысленно молюсь Богу, чтобы у Вас хватило сил все это тяжелое перенести, ибо Вы мать, а мать никто, никогда и нигде не заменит. Чем больше она живет, тем крепче и дольше живет семья...»⁴.

Наступила осень. И Софья Андреевна вновь оказалась под наблюдением профессора. «Он нашел, — сообщала она в Ясную, — что здоровье мое лучше ... но произвел на меня впечатление, что он сам ничего хорошенько не понимает»⁵. Но почему С.А. Толстая так критично отнеслась к познаниям Владимира Федоровича? Дочь врача, она на протяжении всей своей жизни, отличаясь особым пристрастием к медицине, будет считать как бы ее привилегией право на оценку профессиональной деятельности медиков, так или иначе причастных к лечению писателя и его семьи.

— Хорошие доктора знают как лечить и хорошо лечат, — скажет Лев Николаевич. — А кто хорошие, решает Софья Андреевна ... ⁶.

«Я перестала лечиться, — признается она в следующем письме, — и мне стало хуже». Обстоятельства болезни возвращают пациентку к врачу и уже 4 ноября она сообщит: «Сегодня я лучше ... Он <Снегирев> продолжает меня лечить, меры его энергичные и сильные». Среди медицинских средств названы в письме опий, горячая вода, компрессы. Толстого пораждает душевный настрой Софьи Андреевны, но «нехорошо, — напишет ей Лев Николаевич, — что такие средства употребляешь. Только могут они, доктора, портить, а пройдет болезнь только от того, что пройдет ее время и организм преодолет ее»⁷.

Подобные суждения Толстого нередко оценивались как доказательство его негативного отношения к врачам и медицине. Однако они вполне соответствуют медицинскому представлению о закономерном циклическом развитии болезни. И в тех случаях, когда врачебная помощь оказывается неспособной прервать его, решающая роль в ее исходе принадлежит не лечению, а защитным силам организма больного человека. И разве не так выздоравливал Пьер Безухов в Орле, «несмотря на то, что доктора лечили его ...»⁸ Еще со времен знаменитого Галена было сказано, что «природа — лучший из врачей. Она излечивает 3/4 своих больных и никогда не говорит гадостей о своих товарищах по работе»! И слова Толстого о ходе болезни и ее лечении это не отрицание медицины, а критический взгляд на ее несовершенство, взгляд широко эрудированного в этих проблемах писателя.

С середины 90-х годов, когда Толстые переезжали на зиму в Москву, встречи писателя и В.Ф. Снегирева нередко происходили у врача в его двухэтажном деревянном особняке на Плющихе. «Л.Н. Толстой, — рассказывал ученик Владимира Федоровича профессор А.П. Губарев, — не один раз приходил к нему вечером побеседовать об интересовавших их обоих вопросах»⁹. Об «их длинных сердечных беседах» на Плющихе вспоминал и брат профессора Л.Ф. Снегирев¹⁰.

В мае 1905 года газеты сообщили о поражении русского флота под Цусимой. Толстой нашел на географической карте место сражения, был подавлен и грустен. В Ясной были обеспокоены нездоровьем Льва Николаевича, а болезнь вновь пришла к Софье Андреевне.

19 мая у С.А. Толстой случился приступ сильных болей. Домашний врач Д.П. Маковицкий заподозрил опухоль. Толстой принял это известие «как крестьянин, когда градом побьет хлеб». Он был сдержан, внешне спокоен, понимая, — если врач прав, — и безнадежность больной, и собственную беспомощность¹¹. Софья Андреевна искала у врача ответа на вопрос о своей болезни, но Д.П. Маковицкий молчал. Сказать больной о своем подозрении он не мог. С.А. Толстая писала дочери: «Наш Душан при вопросе, что делать и что он думает сядет против меня и как филин глядит и упорно молчит...»¹² Пожаловалась она и Толстому.

— Вы плохой политик, — сказал писатель врачу¹³.

На консилиуме в Москве 1 июня говорили о воспалительном заболевании. «А я думала рак», — записала С.А. Толстая в ежедневник¹⁴. По рекомендации П.С. Усова, ранее лечившего Толстых, в Ясную Поляну приглашается Владимир Федорович Снегирев, 13 июня профессор, вместе с ассистентом А.М. Новиковым, был у больной¹⁵. Подозрение на опухоль исключить не удалось, а для уточнения болезни требовалось дальнейшее наблюдение.

Вскоре В.Ф. Снегирев выехал в Харьков. А как Софья Андреевна? Владимир Федорович телеграфирует в Ясную: «Убедительно прошу тотчас написать письмо <о> здоровье <в> Москву, где пробуду понедельник, вторник»¹⁶.

Приступы у Софьи Андреевны повторялись. 22 июня В.Ф. Снегирев приехал в Ясную Поляну. И снова его охватили нелегкие раздумья: болезнь оставалась нераспознанной. 28 июня врач отправляет телеграмму к больной с просьбой сообщить о состоянии здоровья¹⁷. Получив благоприятный ответ, Владимир Федорович все-таки считает необходимым повторный осмотр и просит разрешения посетить Ясную. «... Не лишайте меня возможности, — обращается он к Софье Андреевне, — еще раз послушать Льва Николаевича. Я ведь смотрю на него как на собирательное русское народа — все, что было в истории этого многострадального народа хорошего или дурного, великого и слабого — вся сила наиболее выразилась или отразилась на Льве Николаевиче. В моих глазах это мудрец, сидящий под дубом былинной эпохи русского народа. Нет резче, ярче примера, как в Льве Николаевиче — это стремление, постоянное, настойчивое, не дающее никогда отдыха и заражающего других и составляет сущность его жизни. Это стремление, это движение и есть та правда, которую нам дано найти. Находясь в этом процессе и отражая на себе все страды русской земли, — он мученик и борец ...»¹⁸ Пожалуй, никто из врачей, знавших Толстого, не сказал о писателе так ярко, полно и искренне.

4 июля и 12 августа В.Ф. Снегирев снова посетил Ясную Поляну. Софья Андреевна чувствовала себя хорошо. 8 ноября врач писал в Ясную, что его радует хорошее состояние здоровья С.А. Толстой. Он благодарил за присланные ему бюст Льва Николаевича и фотографию семьи писателя. «...Я узнал, — писал далее В.Ф. Снегирев, — что Лев Николаевич здоров, хотя глубоко скорбит о всех ужасах, совершаемых на Руси, как проповедник и человек любви и смирения. Да, ему сугубо тяжело, ибо теперь все захотели власти, денег и крови». Врач знал и понимал боль и горе своего народа, говорил о «сгнившем и провалившемся» Петербурге, называя его немецким приказом и лабораторией власти, хроническим недугом и несчастьем русской земли, скорбел о народе, которым хотят править «прихвостни людей с идеалами оберполицмейстеров». Особенно он был нетерпим к казнокрадам, словоблудцам и бездельникам, которые «образовали союзы инженеров, адвокатов ... и все учебные заведения образовали "Союзы ничегонеделания" и у всех «одно желание — прострелить белую грудь своего близкого»¹⁹. Лев Николаевич заметил в беседе с Д.П. Маковицким:

— Снегирев пишет Софье Андреевне остроумное, бойкое письмо...²⁰

III

22 августа 1906 года размеренный и привычный ритм жизни Ясной Поляны был вновь нарушен вернувшейся к Софье Андреевне болезнью. Через несколько дней приступ повторился. На телеграммы В.Ф. Снегиреву ответа не последовало. Решили послать секретаря писателя В.А. Лебрена в Алексин за Владимиром Федоровичем и хирургом Вл.М. Чеканом. Толстой писал профессору: «Дорогой Владимир Федорович! Мы Вам послали телеграмму и в Москву, и в Алексин, прося приехать к тяжело больной жене ... Она очень страдает, и положение ее опасно. Очень будем благодарны за ваш приезд, которого он<а>...» (76, 192). Лев Николаевич оторвался от письма, перечитал написанное и отложил ручку. Были телеграммы к врачу, теперь за ним едет В.А. Лебрен, письмо лишнее²¹.

На следующий день сначала пришла телеграмма от В.Ф. Снегирева, а вскоре прибыл и он сам. Подозрение на опухоль вновь озадачило профессора. Когда на следующее утро В.Ф. Снегирев покидал Ясную, Александра Львовна рассказывала Д.П. Маковицкому, что «папа хохотал над докторами, что ... они ничего не знают»²².

29 и 31 августа приступы у Софьи Андреевны повторялись.

— Я застал графиню Софью Андреевну в сильных болях. Она кричала и рвала все на себе, — рассказывал профессор, приехавший к вечеру 31 августа в Ясную²³.

— Операция неизбежна, — говорил Владимир Федорович. — Если не сделать операцию сейчас же, то больная умрет.

— Приблизилась великая и торжественная минута смерти, которая на меня действует умиротворительно. И надо подчиниться воле

Божьей, — не соглашался с решением врача Толстой. — Я против вмешательства, которое, по моему мнению, нарушает величие и торжественность великого акта смерти... Все мы должны умереть не сегодня, завтра... через пять лет. Я понимаю вас, что вы иначе действовать не можете. И я устраниюсь: я ни за, ни против...

... 7 сентября Владимир Федорович прощался с Толстыми. Лев Николаевич был неразговорчив, сумрачен и сидел нахмурившись, явно недовольный врачебным вмешательством. Но В.Ф. Снегирев ни себе, ни своим помощникам не мог высказать ни одного упрека. Пройдет еще несколько дней, и только когда состояние Софьи Андреевны восстановится полностью, Толстой перестанет осуждать докторов.

28 сентября В.Ф. Снегирев приехал к Софье Андреевне. Она чувствовала себя хорошо. Ласково и гостеприимно встретил профессор Лев Николаевич. И какой это был контраст в отношении к врачу по сравнению с его отъездом после операции!

— Больше не хочу видеть его, — говорил Владимир Федорович о Толстом, — ибо уже никогда не увижу его в таком обольстительном виде. И пусть я умру с этим впечатлением. Это — мое ...

IV

Так завершился последний визит профессора в Ясную Поляну. В памяти врача навсегда останутся и необычная операция, и долгие беседы с писателем²⁴, и, конечно, завидное положение первого слушателя новых его произведений («Ягоды», «Как освободиться рабочему народу?»).

Известны и высказывания писателя о Владимире Федоровиче. 21 июня 1905 года Толстой говорит о профессоре:

— Любезный человек и все знает, что его наука достигла²⁵. Но вскоре его мнение о враче будет иное. В.Ф. Снегирев, скажет Лев Николаевич, «выпивает, но приятный человек, православный, но симпатичного вида, несколько народного. Но как большинство медиков совершенно невежественный человек. Он ничего не читал, не знает. В письме — это пустяк, но типично, написал слово «истина» через два «н»²⁶. По почерку врача Толстой будет говорить, что Владимир Федорович человек и умный, и религиозный, и художественный²⁷.

Причину столь противоречивых суждений о профессоре, наверное, следует искать в этической концепции писателя. «Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских, — утверждает Толстой, — и иногда проявляет одни, иногда другие и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем самим собою» (32, 194). Разные черты, разные особенности натуры В.Ф. Снегирева подмечены в высказываниях о нем писателя. Что-то объективно, что-то гипертрофированно отразилось в них. Была бы корректура, было бы, по словам писателя, отдано в печать, Толстой обязательно расставил бы акценты и показал в каких обстоятельствах и как выразилась «текучесть» личности Владимира Федоровича.

54911
в. умера
Насмущено + 1° 2

21 марта 1907г.

Глубокоуважаемый,
Лев Николаевич,

Вашу просьбу и спешные
намерения Билвино в Кемингу,
что оно может пробыть до
6^{го} апреля, и даже Кемвино
Кемингу Жаровского и про-
двинуть напередней нам.
Срочно с Кемвино, сфа-
са Кемвино, Ж. Кемвино у ней
Билвино, погребенный Проф.
Ромо, Кемвино.

Ну, как же, слово
моя оправдание. Прощаю

Автограф письма В. Снегирева к Л.Н. Толстому.
21 марта 1907 г. Москва.

Высок был профессиональный авторитет врача в семье писате-
ля, у него лечились и Татьяна Львовна, и Мария Львовна. Толстой

не раз обращался к Владимиру Федоровичу, содействуя через него оказанию медицинской помощи больным. Еще в мае 1895 года Лев Николаевич отметил в записной книжке: «Женщину к Снегиреву» (53,250). 13 марта 1907 года Толстой писал профессору: «Милый Владимир Федорович! Не можете ли помочь этой очень жалкой особе лечь бесплатно, и лечиться в клинике» (77, 63). Вскоре врач сообщил писателю: «Вашу просьбу исполнил»²⁸.

26 ноября 1906 года в Ясной Поляне умерла от воспаления легких Мария Львовна. Через месяц врач писал Софье Андреевне: «Много горя выпало на Вашу долю и Вашу семью. И только благодаря Вашей энергии и Вашим умственным устоям, Вы все еще бодры, заботливы и полны внимания не только к своим нуждам, но и чужим. Вы скорбите об убитых, повешенных, расстрелянных». Революция была разгромлена, шла волна репрессий. «... Иногда необходимо выжечь все невыгодное каленым железом, чтобы вернуть ткани к здоровому состоянию — продолжал свое письмо врач. — Довольно этого издевательства над бедным, терпеливым, трудящимся народом... Только вот кругом лохмотья, недоедание, да изможденные лица и темь...» Рассказывал Владимир Федорович, что крестьяне про Государственную Думу «не говорят и не надеются» и их, лишенных земли, «теперь трудно заставить поверить второй раз» и остается одно: «Если самому не взять <землю>, то кто же тогда даст(?)»²⁹.

Не забывал профессор поздравить Софью Андреевну с днем ангела и в одной из телеграмм написал: «Силе чарующей энергии поздравление ангелом, хозяину мир, здоровье семье»³⁰. Владимир Федорович беспокоился о здоровье Льва Николаевича и писал, что «надо его очень стеречь»³¹.

V

1910 год заканчивался уже без Льва Николаевича. Мучительно одиноко и безысходно было Софье Андреевне. Она говорила, что стоит мрак зимней ночи и мрак в душе. Была зима, все снежно, все бело, и все ни к чему, все не нужно, пусто. Она шла на могилу Толстого, плакала и молилась, просила прощения у ушедшего мужа, корила себя, что «не сумела сделать его счастливым <в> последнее время его жизни».

А в обществе продолжали толковать о «загадном» и «таинственном» уходе Толстого, называли его бегством и среди причин яснополянской трагедии обсуждали семейный разлад с Софьей Андреевной. «Мне грустно, — писала она, — я столько дала людям любви и встречаю столько несправедливости, недоброй морали, осуждения и холодности»³². А как тяжелы были для нее переговоры о продаже Хамовнического дома, какими вероломными представлялись ей разосланные дочерью Александрой Львовной нотариальные акты, запрещавшие Софье Андреевне работать над архивом писателя, издавать его произведения. Были и другие «подобные гнусные поступки»³³.

В апреле 1911 года в Ясную Поляну пришло письмо от В.Ф. Снегирева. «Христос Воскрес, Софья Андреевна, — писал врач, —

... мне в этот день хочется побеседовать с Вами, так как все 6 месяцев с начала этого события, я всегда думал и думаю как об этом внезапном событии, так и о Вас ... ибо на долю Вашу ... выпало много горя, огорчений, незаслуженных обид, укоров, и не только от людей посторонних, но и от своих близких, кровных, и даже от ушедшего человека, которому Вы дали свой 48-летний труд, свои заботы и свое неустанное попечение об его семье. Я, видевший воочию Вашу жизнь, видел, и так сказать, осязал весь колоссальный Ваш ежедневный труд, Вашу заботу о нем и о каждом находящемся в доме и вне его ... Все и вся находили привет, указания, покой, и всем этим это обязано Вам, графиня. Не было часа, а, может быть, и минуты, где бы Ваша мысль отвлекалась от него... Правда, когда я описывал события при Вашей операции в альманахе Сергеев³⁴, меня поразило, что ...они не напечатали именно те страницы, где я, как свидетель, высказывал определенные свои впечатления, что сама судьба, провидение послало покойному Вас, что Вы именно та женщина, которая наиболее целесообразно была предназначена ему в жены, и что в своей деятельности неукротимой, или вернее своей неопостижимой деятельности при его гении, он был во многом обязан Вам, и что именно ни одного золотника нельзя было ни прибавить, ни убавить от вас обоих, чтобы не нарушить той удивительной гармонии, той замкнутости духовной жизни при множестве народа, окружающего Вас ... Ваша удивительная эластическая энергия, Ваша несокрушимая подвижность прямо физически его заражали. Ваше острое колющее амбициозное тщеславие, на нем покоящееся и для него поддерживаемое сильно, очевидно, отразились на нем ... А жизнь, устроенная как часы, а неустанное наблюдение, а эти труды писаря, эта привычка ночной собаки, сторожа. Неужели такой великий человек, вечно стремящийся к справедливости и совершенствованию не знал, не обонял, не сознавал всего этого, что и для простого смертного было очевидно, наглядно, так обязательно бросалось в глаза. Ужели ум проникновенный, огромной опытности, художественной наблюдательности проходил мимо всего этого.

Позвольте же, дорогая Софья Андреевна, сказать мне свое слово — человека почтительно относящегося к людям — где и у кого и как совершились эти события, опечалившие не меня одного, а всех людей, особенно русских и особенно тех, которые имели возможность видеть и наблюдать и самого Творца — Гения, и его семью, и его последователей. Ведь это такая масса впечатлений, такое разнообразие тканей — что нет никакой возможности говорить детально, с подробностями — это дело историка. Но мы, современники, можем только предположительно решать... Лев Николаевич и ушел из дома, и умер, и оставил семью в разгроме — подобно взорвавшейся бомбе: именно, со страшным шумом, треском, заставившим весь мир удивиться, ужаснуться, и жадно, алчно искать причины этого взрыва, разрушившего дом, семью и оставившего после себя разгром, раздор в семье, заставивший дочь идти на мать и даже довести дело до суда...

В продолжении всей почти своей жизни он одинаково воспитыв-

вал, обрабатывал дух и тело свое и при своей неутомимой энергии и дарованиях, воспитал их одинаково сильно, крепко связал их и слил — где кончалось тело и начинался дух — сказать невозможно... Сильные натуры, скрепленные единством существа и существования, бегут из дома, из насиженного места умирать вдали от него, чтобы при разъединении духа и тела не мешали суетные предметы, предметы обиходности, привычности и привязанности, не затягивали этого процесса, всегда тяжелого и всегда сознательного. Это есть роды души, где вместо болей бывает тоска — самая мучительная боль, которая существует на свете — боль духа...

Но теперь позвольте отойти от этого психологического объяснения и нет ли физических причин. Ведь несомненно он погиб от крупозного воспаления легких, так мне говорил один из пользовавших его врачей ... Эта инфекция иногда сопровождается даже маниакальными припадками. Не было ли бегство ночное совершено в одном из таких припадков? Ибо инфекция иногда проявляется только за несколько дней до болезни, т.е. организм ранее местного процесса уже отравлен. Поспешность и блуждание во время путешествия вполне согласуются с этим.

Но ведь этим не объясняется происхождение духовного завещания. Да, это не имеет никакого отношения к этому. Оно есть следствие всего его учения не законченного и, может быть, не могущего быть последовательно законченным, как учение без времени и пространства, идущего по вершинам гор и не захватывающего долин, идеала, построенного на отношении всего существующего, и конец такого учения должен быть парадоксальным, т.е. отрицая суд и власть, пришлось прибегнуть к ним, отрицая собственность, пришлось ее признать даже личною. Указывалось, что тут играло влияние постороннее, я не знаю этого... Но я думаю, что и без этого было достаточно мотивов, необходимых для него лично кончить так, как он сделал, чтобы хоть немного согласовать проповедуемое им, исповедуемое им с действительностью...

Простите, дорогая Софья Андреевна, что я осмеливаюсь все это Вам напоминать, — но сегодня день такой: "простим и обнимем" — но я не мог удержаться от впечатлений и мыслей. Ведь Вы мне памяты, часть моей души истрачена и на Вас, а горе Ваше так необыкновенно, обида, Вами испытанная и несомая, так сильна, что когда я вчера прочел в газетах Вашу просьбу избавить Вас в деревне от любопытных и судящих, ибо, наверное, большинство посещающих Вас лично осуждают, я понял этот стон, вопль души ... Да, в Вашей жизни много было необыкновенного, и 48-летнее сожителство с такой исключительной гигантской силой было необыкновенно, и надо удивляться как, каким образом, какой силой оно продолжалось так долго... Когда Вам судьба уготовила такой удар, Вы, хранительница, создательница жизни Л.Н. Толстого, не имеете ли и Вы права приподнять голову и сказать: «Если вынесла 48 лет на плечах Толстого жизнь, если сохранила его до старости, оберегла все его помыслы и даже последнее... то Вы и все Вы и даже он не могли ничего другого сказать, как обвинить меня в его смерти...»

Исполненный надежд и желаний, зная Ваши силы, я думаю и

убежден, что справедливость коснется Вас и дым взрыва рассеется и ясное станет очевидным, слепые прозрят. Да будет мир Вашей душе. Позвольте крепко поцеловать Вашу руку...»³⁵.

Письмо врача. Оно написано в пасхальные дни на даче, в живописном уголке близ села Шахты, что в 6 км от города Алексина, Тульской губернии. Сюда с 60-х годов прошлого столетия приезжал Владимир Федорович после многотрудной медицинской деятельности. А она была не из легких. Как-то врач получил приглашение в Хамовники. В письме к Софье Андреевне он так мотивировал свой отказ от визита: «Сегодняшняя операция сразила меня, я так устал, что ни лежать, ни сидеть, ни ходить не могу, весь избит и точно налит какой-то волнующейся жидкостью ...»³⁶. А были еще приемы больных, обходы в клинике, заседания ученого совета, заботы об акушерско-гинекологическом обществе.

Уход Толстого был встречен в обществе, говоря словами врача, «подобно взорвавшейся бомбе», которая заставила «весь мир удивиться, ужаснуться и жадно, алчно искать причины этого взрыва». И все-таки не стоит оценивать письмо Владимира Федоровича как попытку дать исчерпывающий ответ на вопрос о причине ухода Толстого. На это не претендовал и сам автор, утверждая, что «мы, современники, можем только предположительно решать». Из рассмотренных в письме мотивов остановимся на психологических и физических причинах, как их назвал В.Ф. Снегирев.

«В протяжении всей своей жизни, — пишет профессор, — он <Толстой> одинаково воспитал дух и тело свое». В мировоззрении Толстого дух и тело, их место и значимость в жизни человека занимают особое место. Писатель видел их в противоборстве и победу духовного над физическим называл главным в своей жизни. «Чем больше тяжесть на конце телесном, чем хуже телесно, — писал он, — тем выше поднимается конец духовный, тем лучше душе» (55, 135). Ошибка в том, указывал Лев Николаевич, что не «учитывается приостановление с возрастом физического развития, в то время как духовный рост продолжается до глубокой старости и смерти» (55, 231). Представление о телесном и духовном нашло отражение и в жизни писателя, и в его творчестве, в том числе касающемся медицинских коллизий. Так в повести «Смерть Ивана Ильича» Толстой избрал долгую и мучительную болезнь, чтобы «продлить борьбу духовного с физическим и утвердить победу духовного над физическим»³⁷.

Путь к приоритету духовного писатель видел в самоусовершенствовании, что принесет человеку не меньшую радость, чем обладание телесной силой. И такие задачи Толстой решал. В Москве доброй славой пользовался врач-гомеопат Д.С. Трифоновский. В гостях у Ф.А. Страхова Лев Николаевич неодобрительно отзывался о враче. Вскоре Лев Николаевич попрощался и ушел. Однако, неожиданно вернулся и на вопрос не забыл ли что, ответил:

— Да, забыл ... Бога забыл. Вот осудил человека, а это нехорошо. Пришел вам сказать, что беру свои слова обратно. Он, может быть, и нехороший человек, а я-то гораздо хуже его³⁸.

А вот суждения, относящиеся к медицине, лечению. «Вред

медицины, — утверждает Толстой, — в том, что люди заняты больше телом, чем духом» (56, 35). Он писал, что его тесть врач А.Е. Берс «тяжел своей непрестанной, томящей заботой о своем здоровье»³⁹. В этом писатель укорял и себя: «Я боюсь, что начинаю вдаваться в лечение себя и слежение за собой» (53, 38). Однако, по свидетельству врача Г.М. Беркенгейма, «как это ни парадоксально, но Л.Н. любил лечиться, и это была одна из привычек, привитая ему с детства»⁴⁰. Д.П. Маковицкий в последний год жизни писателя восхищался: «Какой он энергичный! Как он заставляет себя делать, что нужно ему и в телесном, и в умственном отношении»⁴¹.

Проблемы духовного и телесного особенно занимали Толстого в 90-е годы и они могли быть темами бесед писателя и В.Ф. Снегирева в доме врача на Плющихе.

А теперь о болезни, которая могла явиться, по мнению профессора, причиной ухода Толстого. О ней уже было известно Софье Андреевне от сына Ильи Львовича, встретившегося в Москве с В.Ф. Снегиревым⁴².

Воспаление легких, как считал Владимир Федорович, возможно, начинавшееся еще в Ясной Поляне, могло привести к болезненной реакции, побудившей писателя к уходу из Ясной Поляны. Такие реакции хорошо известны медицине и они могут возникать, в частности, при обострении тех хронических заболеваний, которыми страдал и писатель (малярия, болезни желудочно — кишечного тракта и печени).

Однако, болезненные расстройства обычно возникают не на «немом» фоне, а им, как правило, предшествуют лихорадочное состояние или первые очевидные признаки основного заболевания. Однако ни того, ни другого у Льва Николаевича не было, что лишает версию В.Ф. Снегирева убедительных научных доказательств. И примечательно, что и сам он не сводил причины ухода Толстого к болезни, говоря, что, конечно, было «достаточно мотивов, необходимых для него <Толстого> лично кончить так, как он сделал». И здесь позиция профессора вполне согласуется с тем, что известно в настоящее время о причинах ухода Толстого⁴³.

4 ноября 1919 года С.А. Толстая скончалась от воспаления легких. Но и смерть не сняла с нее обвинения в уходе Толстого из Ясной. Может быть в наиболее прямой и резкой форме оно нашло свое место в книге В.Г. Черткова «Уход Льва Толстого», изданной в 1922 году. Автор писал: «... я не знаю ничего хуже на свете, чем рабство перед безрассудной, своевольной женщиной, которая уверена, что чего она не захочет, ее раб-муж сделает. Не такова ли Софья Андреевна и не в рабстве у нее ли Лев Николаевич?». В.Г. Чертков обвинял жену в «истязаниях не уступавших... пыткам инквизиции в превосходящих их»⁴⁴.

В защиту С.А. Толстой выступил А.М. Горький. Он писал, что Софья Андреевна «прожив пятьдесят трудных лет с великим художником крайне своеобразным и мятежным человеком... была единственным другом на всем его жизненном пути и деятельной помощницей в работе»⁴⁵.

Софье Андреевне не было суждено знать доброго горько-

вского слова в ее защиту. Но, оказывается, такое слово было сказано еще при жизни жены писателя. Случилось это в пасхальные апрельские дни 1911 года и автором его был профессор Владимир Федорович Снегирев.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кускова Л.А. Памяти учителя В.Ф. Снегирева.// Труды московского акушерско — гинекологического общества. М., 1927. С.60.
2. Губарев А.П. Речь на экстренном заседании московского акушерско — гинекологического общества. Б.г. С.5.
3. С.А. Толстая. Дневники: В 2 т. М., Худож. лит., 1978. Т 1. С.238.
4. Письмо В.Ф. Снегирева С.А. Толстой от (?) марта 1895 года. Письма В.Ф. Снегирева к Л.Н. Толстому и С.А. Толстой публикуются впервые по автографам, хранящимся в отделе рукописей Государственного музея Л.Н. Толстого.
5. Здесь и далее сведения о болезни С.А. Толстой заимствованы из ее писем к Л.Н. Толстому от 24, 25, 28, 31 октября и 4 ноября 1895 года./ В кн.: Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому (1862-1910). М.-Л. 1936. С.622, 625 628, 629-630.
6. Маковицкий Д.П. У Толстого. Яснополянские записки. М., 1979. Кн. 2. С.156.
7. Толстой Л.Н. Письма гр. Л.Н. Толстого к жене. 1902-1910. М., 1915. С.495.
8. Сладковский Б.С. Толстовский парадокс.// Яснополянский сборник. Тула, 1986. С.161-166.
9. Губарев А.П. Снегирев Владимир Федорович. 1847-1916. Некролог. М., 1917. С.38.
10. Снегирев Л.Ф. Воспоминания о В.Ф. Снегиреве. ЦГАЛИ, фонд 478, оп. 1, дело 8, л. 14.
11. Маковицкий Д.П. У Толстого. Кн. 1. С.290.
12. Письмо С.А. Толстой Т.Л. Сухотиной-Толстой от 28 мая 1905 года (ГМТ).
13. Маковицкий Д.П. У Толстого, Кн. 1. С.293.
14. Толстая С.А. Ежедневник. 1905. Л. 67.
15. Толстая С.А. Дневники. Том 2. С.234. Д.П. Маковицкий (У Толстого. Кн. 1. С.311) называет другую фамилию ассистента — Алексинский. В машинописи «Яснополянских записок» (тетрадь VIII, 31 мая-14 июня 1905 года) фамилия ассистента написана в кавычках и через черточку — «Алексин-ский» (л. 22), т.е. имеется в виду не фамилия врача, а приезд врача из г. Алексина. При подготовке «Яснополянских записок» к печати машинописи правил Н.Н. Гусев, а Д.П. Маковицкий вносил свои поправки и все же кавычки и черточка в «фамилии» оказались утраченными (Машинопись, с. 479). Эта ошибка осталась незамеченной. Следовательно, А.М. Новиков, указанный в дневнике С.А. Толстой, и «Алексинский» у Д.П. Маковицкого являются одним и тем же лицом.
16. Телеграмма В.Ф. Снегирева С.А. Толстой от 19 июня 1905 года.
17. Телеграмма В.Ф. Снегирева С.А. Толстой от 28 июня 1905 года.
18. Письмо В.Ф. Снегирева С.А. Толстой от 2 июля 1905 года.
19. Письмо В.Ф. Снегирева С.А. Толстой от 6 ноября 1905 года.
20. Маковицкий Д.П. У Толстого. Кн. 1. С.448.
21. Сузя по дневнику Д.П. Маковицкого отъезд В.А. Лебрена в Алексин состоялся 26 августа и следовательно этим днем должно быть датировано письмо Л.Н. Толстого.
22. Маковицкий Д.П. У Толстого. Кн. 2. С.220.
23. Здесь и далее ссылки на публикацию В.Ф. Снегирева «Операция»// Международный толстовский альманах, 1909. Изд. «Книга». С.332-340.
24. Маковицкий Д.П. У Толстого. Кн. 1. С.312, 321, 332. Кн. 2. С.219, 227.
25. Там же. С.318.
26. Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. М: Госиздат худож. лит. 1959. С.166.
27. Маковицкий Д.П. У Толстого. Кн. 2. С.268.
28. Из письма В.Ф. Снегирева Л.Н. Толстому от 21 марта 1907 г.
29. Письмо В.Ф. Снегирева С.А. Толстой от 27 декабря 1906 года.
30. Телеграммы В.Ф. Снегирева к С.А. Толстой от 14 сентября 1906 года, 17 сентября 1908 года, 17 сентября 1909 года.
31. Письмо В.Ф. Снегирева С.А. Толстой от 27 декабря 1906 года.
32. Толстая С.А. Дневники. Том 2. С.328-329, 336, 345.
33. Там же. С.352.

34. Имеется в виду публикация В.Ф. Снегирева «Операция» (см. примеч. 23).
35. Письмо В.Ф. Снегирева С.А. Толстой от 10 апреля 1911 года. Первая публикация этого письма — в статье Б.С. Свадковского «Я понял этот ... вопль души»// Медицинская газета. 1989. 28 апреля №51 (4912).
36. Письмо В.Ф. Снегирева С.А. Толстой от (?) 1895 года.
37. Жданов В.А. От «Анны Карениной» к «Воскресению». М., 1967. С.122.
38. Страхова Н.Ф. Лев Николаевич Толстой и Федор Алексеевич Страхов// . Л.Н. Толстой и его близкие. М., 1986. С.104.
39. Письмо Л.Н. Толстого С.А. Толстой от 25 ноября 1864 г. Письма гр. Л.Н. Толстого к жене. С.375.
40. Беркенгейм Г.М. Из воспоминаний о Л.Н. Толстом и его последних днях// Русские ведомости. 1911. 11 ноября. №256.
41. Маковицкий Д.П. У Толстого. Кн. 4. С.236.
42. Толстая С.А. Дневники. Том 2. С.333.
43. Мейлах Б. Уход и смерть Льва Толстого. М. — Л., 1960. С.18; К.Н. Ломунов. Предисловие к сб. Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1955. С.29-30. Он же. Предисловие к кн.: Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. С.23-30.
44. Чертков В.Г. Уход Льва Толстого. М., 1922. С.16, 50.
45. Горький А.М. О С.А. Толстой.// Портреты. М., 1967. (ЖЗЛ. Вып. 14/368). С.153.

П.В. Николаев

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
(Творческие взаимоотношения)

На рубеже XIX — XX веков в русской прессе широко обсуждалась проблема взаимоотношений писателей старшего поколения с «литературной молодежью», в популярности у читателей не уступавшей признанным мэтрам.

Особое внимание критикой уделялось тогда творчеству Л.Н. Толстого и Л.Н. Андреева. В зависимости от существовавших в обществе симпатий и антипатий к ним подчеркивались либо их идейно-художественный антагонизм, либо творческая близость и даже преемственность Андреевым толстовских традиций.

Что же думал по поводу споров «о Толстом и Андрееве» сам Леонид Андреев? В письме к А.Е. Грузинскому от 17 октября 1912 г. писатель отказался сообщить подробности того, что «лично, при свидании говорил он <Толстой> о моих вещах и обо мне». При этом Андреев выразил несогласие с мнением о том, что Толстой не придавал должного значения его творчеству: «Приведенные Вами отзывы Толстого говорят как бы о некоторой его нетерпимости, равно как и другие его обо мне замечания... В действительности же Л.Н. смотрел на жизнь и литературу гораздо шире. Но это уже про домо суа»¹.

«Модный», как в ту пору писали о нем критики, писатель — вопреки существовавшим мнениям — относил себя к числу учеников Толстого. В ЦГАЛИ хранится конспект речи Андреева, подготовленной для выступления на собрании, посвященном кончине Л.Н. Толстого (речь произнесена не была). Здесь записано: «Как литератор я мог бы сказать много о той сердечной признательности, которой все мы, его дети и ученики, удачные и неудачные, плохие и хорошие, обязаны нашему почившему учителю»².

Спор об Андрееве и Толстом, начатый их современниками, не утих до сих пор, причем ни одна из точек зрения не получила приоритета. Уже одно это делает тему «Толстой и Андреев» актуальной. Но главное, — и это заставляет ученых вновь и вновь обращаться к сопоставлению творчества Толстого и Андреева, — в том, что исследуемые проблемы выходят далеко за рамки взаимоотношений двух писателей. Толстой и Андреев олицетворяют в литературе классические и современные (присущие молодой литературе 900-х гг.) начала, по-своему отражая взаимоотношения двух литературных поколений — старшего и младшего. Понять их суть — значит глубже разобраться в литературном

процессе той поры и его закономерностях.

Для уяснения существа вопроса небезынтересно рассмотреть взаимоотношения Толстого и Андреева в свете их литературных позиций.

Биографы Толстого, исследователи его творчества неоднократно отмечали особый интерес писателя к произведениям Андреева³. По мнению Н.Н. Гусева, «из новых русских писателей больше всего интересовал его <Толстого> Леонид Андреев, и не было, кажется, ни одной его новой вещи, с которой бы Толстой своевременно не познакомился»⁴. Ставился литературоведами и вопрос об отношении Л.Н. Андреева к творчеству Толстого, о влиянии на него произведений великого писателя. Л.Д. Опульская считает, например, что рассказ Андреева «„Ложь“ в некоторых сюжетных положениях отдаленно напоминает „Крейцерову сонату“ Толстого», а «три особенно понравившихся Толстому (андреевских) рассказа („Защита“, „Первый гонорар“, „Христиане“) являются словно вариациями на темы „Воскресения“»⁵. Андреев и сам признавал, что определенные его произведения являются откликом на написанное Толстым. Таков «Рассказ о семи повешенных», посвященный Толстому и созданный не без влияния толстовского отношения к смертным казням; такова «Бездна», которую Андреев назвал «Родной дочерью его <Толстого> „Крейцеровой сонаты“, хоть и побочной»⁶.

Среди отзывов Толстого об Андрееве обращают на себя внимание многочисленные положительные оценки его писательских замыслов. В.Г. Чертков записал за Толстым слова, сказанные по поводу пьесы Андреева «Анатэма»: «Это что-то невозможное, совершенно декадентское. А между тем, когда мне Андреев рассказывал содержание, то выходило что-то хорошее»⁷. Об аналогичном эффекте противоположного восприятия Толстым замысла и законченного произведения свидетельствует Н.Н. Гусев: «Вчера Лев Николаевич читал в газете о последнем рассказе Леонида Андреева „Тьма“. Мысль рассказа ему очень понравилась. Сегодня он прочитал самый рассказ и был очень разочарован»⁸. В чем же причина двойственности отношения Толстого к замыслу и результату в процессе создания писателем художественного произведения? Мысль Андреева, еще не будучи воплощенной в произведении, импонировала Толстому. Отрицательное отношение возникло у него на последующих этапах — художественного решения поставленных проблем, поиска способов их эстетического воплощения и этического обоснования. Думается, в конечном счете Толстого отталкивала литературная позиция Андреева. Однако «силы притяжения» друг к другу у обоих писателей некоторое время сохранялись.

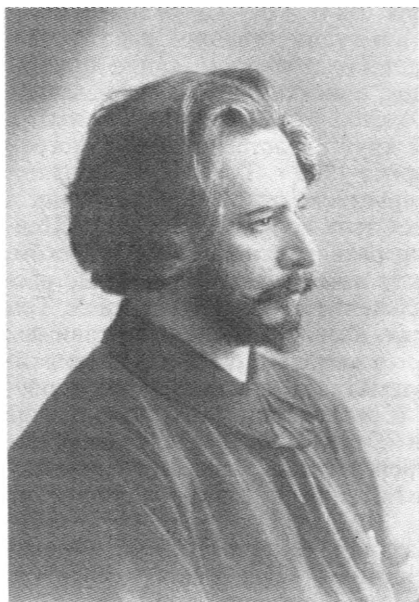
Чем же притягателен был для Толстого молодой, но уже получивший известность автор? Несомненно, для него Андреев был ярким выразителем современных веяний в литературе. Писатель воспринимал творчество Андреева как веку в широком потоке литературных течений 900-х гг. Но только ли эта причина побуждала Толстого читать автора, в сочинениях которого, по его словам, «полное отсутствие чувства меры», «все фальшиво»?⁹

Частичный ответ на этот вопрос дает сам Толстой: «Чтение Андреева заставляет меня думать о художественной работе» (57, 151). Андреев как бы подталкивает Толстого на создание художественного произведения «как надо», а не «как есть» в современной ему литературе. Но, главное, Толстой отмечает, что для него и для Андреева существует общий круг нравственных и философских вопросов. В дневнике 22 апреля 1910 г. Толстой записывает: «Поговорил с Андреевым. Нет серьезного отношения к жизни, а между тем поверхностно касается этих вопросов» (58, 31). (Подчеркнуто мною. — П.Н.). На почве разного отношения к вопросам, интересовавшим писателей, между ними возникли идейные расхождения, которые находили выражение в их произведениях. Тем не менее, в их отдельных повестях, казалось бы, несопоставимых по содержанию, по художественным выводам, отмечается тематическая общность, близость проблематики, черты сходства в поэтике. Взгляд на их творчество с этой точки зрения делает не случайным соотнесение повестей «Отец Сергей» и «Жизнь Василия Фивейского». Анализ этих произведений позволяет, в частности, полнее выявить силы притяжения и отталкивания в их творческих взаимоотношениях.

Существующие варианты названия «Жизни Василия Фивейского» — «Жизнь о. Василия Чагина», «Три жизни (повесть о горделивом попе)», «Жизнь Василия Предтеченского» и др. — свидетельствуют о внимании Андреева не только к имени героя, но и к содержательности заглавия повести, поскольку в литературе имя главного персонажа выносится в заглавие нередко с определенной целью. В «Жизни Василия Фивейского» оно имеет несомненно «литературную природу». В.Н. Чуваков и А.И. Андреева предполагают, что «имя герою рассказа Андреев дал, видимо, под впечатлением от смерти Василия Михайловича Фивейского, санитарного врача в Нижнем Новгороде»¹⁰. Предположение это основывается единственно на совпадении времени смерти врача со днем приезда в город Леонида Андреева (февраль 1903). Других документальных подтверждений такого толкования литературного факта не имеется. Нужно заметить, что фамилия Фивейский — редкая и явно «литературного происхождения», этимология ее ясна вполне, так что факт смерти Фивейского-врача мог быть воспринят писателем лишь как «толчок» к поискам имени героя, наиболее отвечающего замыслу произведения.

Любопытно, что Толстой, обычно детально разбиравший произведения Андреева, «Жизнь Василия Фивейского» оценил сдержанно и лаконично. По свидетельству Д.П. Маковицкого, в день приезда в Ясную Поляну Г. Вильямса, корреспондента газеты «Manchester Guardian», за обедом и после обеда беседовали о литературе. Говорили про «Жизнь Фивейского» Андреева. Лев Николаевич сказал: «Искусственное»¹¹. Возможно, Толстой, говоря о повести, имел в виду ее очевидную «литературность», противником которой он был всегда.

«Над всей жизнью Василия Фивейского тяготел суровый и загадочный рок»,¹² — так Андреев начинает повествование, как бы заранее предсказывая его развязку. Изначальный дедуктивный



вывод, казалось бы, противоречит привычной логике художественного произведения. Но нужно иметь в виду определенную литературную заданность, которой по воле автора отмечен образ Василия Фивейского. Тема рока, судьбы — центральная тема античной трагедии. У Софокла рок — таинственная и неумолимая сила, сопротивление которой бессмысленно. Рок преследует род Лабдакидов поколение за поколением. Гибнут не только нечестивец Лай, но и его сын Эдип, в междоусобной войне погибают сыновья Эдипа. В повести Андреева над Василием Фивейским (Василий — от греческого *vasileus* — царь, Фивейский — из Фив) довлеет аналогичная «зловещая и таинственная преднамеренность» (с.214). Андреев отмечает в начале повествования, что судьба сына подобна судьбе отца, «покорного и терпеливого» захолустного священника. После семи лет семейного счастья (Эдип и Иокаста также долго и счастливо живут в браке) Василия постигает первый удар судьбы — тонет любимый сын Вася, второй удар — спивается и в пьяном угаре сжигает себя попадья (Иокаста кончает жизнь в петле; аналогичную попытку самоубийства предпринимает и жена Василия), наконец, третий удар — рождение сына-идиота (сродни вести о том, что дети Эдипа — плод инцеста). Фивейский упорно называет сыновей именем Василий, как бы стремясь с именем передать и свою веру, и свои надежды, что детей вознаградит Бог за терпение отца. Ответ судьбы жесток — в первом случае смерть любимого сына, во втором — еще более ужасное — в лице сына-идиота извращение всех представлений Фивейского об идеале.

В сфере художественного сознания Андреева присутствуют

образы античной трагедии, что определяется не только его интересом к драматургии, но и всем строем мышления писателя. Образ Эдипа притягателен для Андреева. Видевший пьесу Гофманшталя «Эдип и сфинкс» на сцене «Das Deutsche Theater» в 1910 г., он пишет впоследствии В.И. Немировичу-Данченко: «Не знаю, видели ли Вы тогда Эдипа, но и после Моисси (исполнитель роли Эдипа. — П.Н.) несколько дней был пьян восторгом»¹³. В другом письме к В.И. Немировичу-Данченко Андреев прибегает к образу Эдипа, определяя свою литературную судьбу: «Судьба преследует меня, как Эдипа: если бы Эдип был драматургом, с ним случилось бы то же в то же»¹⁴. В отличие от древнегреческого мифа, где действия судьбы получают объяснение у жрецов, в повести Андреева герой лишен всякой возможности постичь смысл с ним происходящего. Сопротивляясь судьбе, он живет лишь слепой верой.

Упорствуя в вере, Фивейский укрепляет тем самым в себе надежду на высшую справедливость, торжество правды и добра, в которое он продолжает верить вопреки всем обстоятельствам. Но предопределение судьбы, как и в античной трагедии, в финале повести полностью осуществляется и, как Эдипа, приводит Василия к смерти.

Толстому андреевское представление о судьбе как слепой и жестокой силе было чуждо. Существование высшего предопределения представлялось ему в виде законов, данных людям свыше, от соблюдения которых зависит их благополучие. Разум бессилен постичь их, человек в состоянии только ощущать проявления «сверхличной всеобщей воли, осуществляющей цели провидения, мировую судьбу»¹⁵. В отличие от Андреева, Толстой верил в мудрость провидения, в высшую объективность решения частных человеческих судеб. Толстовские представления о судьбе в некоторых существенных моментах созвучны народным, их корни уходят в народный эпос. Подобные представления А.И. Афанасьев отмечал в «Слове о полку Игореве», где судьба «в руках своих содержит все благое и гибельное и приговоров которой невозможно отклонить ни умом, ни хитростью»¹⁶.

Философская концепция Андреева далека от народного эпического сознания. Он по-своему переосмысливает сущность и направление усилий высшей воли, которая, по его убеждению, проявляется в жизни человека как торжество всеобъемлющего зла. В решении коренных вопросов философии жизни и истории Толстой и Андреев занимали противоположные позиции.

И все же при значительном различии идейных позиций творческие интересы Толстого и Андреева постоянно перекрещиваются. Известно, что толчком к созданию «Жизни Василия Фивейского» явилась «Исповедь» священника А.И. Аполлова, содержание которой было пересказано Андрееву М. Горьким, сообщившим, видимо, и некоторые подробности биографии этого человека¹⁷. «Вопрос — о смысле и цели жизни — главный и единственный, он важнее всех вопросов, которые когда-либо волновали человечество», — писал Аполлов. Вопрос этот «во всей ясности» поставила перед ним «Исповедь» Толстого¹⁸. В творчестве

позднего Толстого этот вопрос ставится каждым из его мыслящих, ищущих героев, в том числе и Касаткиным-Сергием. Ответ на тот же вопрос мучительно ищет и герой повести Андреева. Писатель, поясняя замысел «Жизни Василия Фивейского», отмечал значение для его героя «веры в Бога, который должен дать ответ на коренные запросы о справедливости и смысле <жизни>»¹⁹.

В пересказе Горького фабула «Исповеди» Аполлова вряд ли могла быть передана полностью. Однако и Горький, и вслед за ним Андреев обратили внимание на один и тот же эпизод: попытки священника, пользуясь своим авторитетом исповедника, добиться от прихожан, как они толкуют понятия о Боге, Троице, таинстве причащения, кресте, Евангелии и др. Аполлов пишет о «своем решении проверять результаты своих размышлений общечеловеческими верованиями» посредством расспросов «прихожан и даже прихожанок, которые потолковее, — грамотных и неграмотных, — о том, как они веруют»²⁰.

Таким же образом ведет себя Василий Фивейский. Своих прихожан он «допрашивал пытливо, настойчиво, забираясь в самые заповедные уголки души», «беспощадно переворачивал все, на чем держится и чем живет душа. В вопросах своих он был безжалостен и бесстыден, и страха не знала его родившаяся мысль» (с. 233). Все это нужно Фивейскому, чтобы узнать «правду о Боге, и о людях, и о таинственных судьбах человеческой жизни» (с. 233).

Горький был осведомлен о трагической судьбе Аполлова, которая очень занимала и Толстого, и близких ему людей. Аполлов, снявший с себя сан священника, был несчастлив в семейной жизни, что усугубляло его и без того тяжелое душевное и физическое состояние. Он скончался в возрасте 29 лет. Его жизнь — цепь исканий, сомнений, жизненных неудач. Смерть андреевского героя, как и Аполлова, — следствие душевного надрыва, неудачной попытки поднять непомерный груз философских идей и нравственных представлений. Можно сказать, что Аполлов и Фивейский типологически близки по характеру, образу мыслей и чувств. Характерно, что отношение к такому типу человека у Толстого и Андреева противоположно. Имея перед собой общий пример, Толстой и Андреев расходятся в выводах и оценках. Толстой в письме к священнику Т.П. Богатикову пишет об Аполлове: «Он умер, как святой, не изменив своим убеждениям и, главное, любви» (73, 120). Фивейский у Андреева приходит перед смертью к страшному открытию: то, во что он верит, не существует, убеждения оказались ложными. У Толстого Аполлов своей смертью утверждает истинность и красоту идеала, у Андреева же идеал оборачивается для героя повести своей противоположностью, оказывается несостоятельным.

Разумеется, следует отдавать себе отчет в том, что сопоставляя реальный человек и литературный герой. Попытки установления тождества или различия характеров в этом случае были бы неправомерны. Однако речь здесь идет о типологических характеристиках самого общего плана. Причем Аполлов для Толстого является объектом, достойным художественной типизации, а Фи-

вейский у Андреева — «художественное производное» от Аполло-ва. На этом и основывается нами допущение, необходимое для характеристики литературных позиций авторов.

Любопытна настойчивость, с которой Толстой просил близких ему людей (В.Г. Черткова, И.И. Горбунова-Посадова) составить жизнеописание Аполлова, явившегося для писателя примером святости. Такое «житие» составлено не было. В представлениях Андреева недопустима возможность существования земного праведника и праведничества вообще. Мир нравственных ценностей становится у него иногда чрезвычайно зыбким, «правила добра» причудливо переплетаются с «правилами зла» (рассказ «Правила добра»). С этой точки зрения «Жизнь Василия Фивейского» — пример своеобразного «антижития». Повесть Андреева можно считать как бы полемически выполненным заданием Толстого. «Жизнь Василия Фивейского» — по сути «житие наизнанку», то есть несостоявшегося праведника, преследуемого роком. Василий терпит крах во всех начинаниях, которые обычно удаются житийному герою. Если у Толстого в «Отце Сергии» соблюдены многие формальные атрибуты жития, то в «Жизни Василия Фивейского» житийная схема окончательно перелицовывается. Тем не менее общая ориентация на житийный жанр позволяет выявить в сопоставляемых нами повестях ряд параллелей. Жизнь и отца Сергия и Василия Фивейского — последовательное стремление к идеалу, неразрывно связанному в их сознании с верой в провидение, высшую справедливость и добро. Однако и человеческие возможности и результаты, к которым приходят герои, у писателей различны. Если для Толстого житие «по правде, по-божьи» сулит человеку духовное прозрение, обретение смысла жизни и счастья, то для Андреева такая возможность принципиально недопустима, поскольку миром правят у него не силы добра — вера в них несостоятельна — но всемогущие силы злого рока. Сергей, как и Василий, идет по пути, уготованному ему судьбой, но этот путь приводит его к слиянию с миром простых людей, к служению миру, тогда как Фивейский получает от неумолимой судьбы один удар за другим. Всякий раз, когда Василий взывает к Богу со своим «верую», судьба отвечает ему гримасой сына-идиота, с образом которого в его сознании связывается торжествующее зло. Упорствуя под ударами судьбы, Василий приходит к мысли о своей избранности для свершения великого деяния. Подобно житийному святому он отваживается воскресить умершего. Неудача потрясает Василия. В его помутившемся созании бушующая природа принимает облик смеющегося сына-идиота. Возникает сложный образ — символ издевающегося, торжествующего зла. Пессимистический финал повести Андреева противоположен финалу толстовского произведения. Если у Толстого герой имеет возможность обретения счастья, духовного единения с Богом, в которого он до конца верит, то андреевский герой не в состоянии сохранить даже иллюзию такой возможности. Тем самым Андреев объективно ставит его в оппозицию толстовским представлениям о человеке и смысле жизни.

О том, что жанр жития имел для Андреева значение в вопло-

щении художественной концепции «Жизни Василия Фивейского», свидетельствует авторская установка на жизнеописание духовного лица, которая нашла, в частности, отражение в одном из вариантов заглавия — «Три жизни (повесть о горделивом попе)». Смысл подзаголовка свидетельствует о том, что агиографическая традиция находилась в поле зрения Андреева («повесть о ... попе»), которую при этом писатель стремился преодолеть («горделивый»). На фоне традиции подзаголовок получил оксюморонное значение («горделивый поп»). Значение эпитета «горделивый» раскрывалось в контексте повести как «обуянный гордыней, выражающий свое превосходство перед людьми в вере». Такое заглавие чересчур прямо характеризовало художественный замысел, возможно поэтому писатель его не сохранил, оставив гордыню важной чертой характера Василия.

Гордыня как нравственно-психологическая характеристика типологически сближает героя повести Андреева и Касатского-Сергия Толстого. Оба проходят через испытания гордыней, оба становятся жертвами «чувства гордости и желания первенства» (31,1). И Толстой, и Андреев считают гордыню воплощением зла в человеке. Но оценки возможностей зла писатели дают противоположные. Отсюда гордыня в разной степени подчиняет себе людей. Касатский находит в себе силы победить ее, Фивейского гордыня одолевает, становясь одним из «инструментов» судьбы. Для Андреева подчинение человека гордыне — свидетельство всемогущества зла в мире, для Толстого — лишь следствие человеческих заблуждений, которые могли бы быть преодолены.

Есть и еще одно небезынтересное совпадение, проливающее свет на то, как различно относились писатели к общим для них проблемам. Андреев вспоминал, что во время прогулки в яснополянском лесу его и Толстого застигла гроза, немало обеспокоившая Андреева, на что последовал вопрос Толстого: «Вы боитесь природы?»²¹. Вопрос далеко не случайный по отношению к Андрееву, у которого природа противопоставлена человеку как нечто ему чуждое и таинственное. Боязнь природы, внимание к болезненным и извращенным ее проявлениям поздний Толстой считал одной из отрицательных черт современного ему искусства. Находил он эти черты и в творчестве Андреева. В «Жизни Василия Фивейского» понятие «природа» антонимично понятиям «добро», «красота». Торжество природы у Андреева связано со смертью, оно сопровождается несчастьями его героев. «Знойным июльским полднем» утонул сын Фивейского Вася. «Все в доме о. Василия стали бояться ярких летних дней, когда слишком светло горит солнце и нестерпимо блестит зажженная им обманчивая река» (с. 255). Зловещий смысл получают у Андреева поэтические средства, несущие положительный эмоциональный заряд. «Двадцать седьмого июля, вечером», в разгар уборки хлебов живо сгорает попадаья. Ее смерти сопутствует описание «теплой мягкой ночи», «гармоничного стрекота кузнечиков» (с. 255). «Под Троицу, под светлый и веселый праздник весны», когда «цветов много было ... и пчела отовсюду налетала на цветы», страшной смертью — живо засыпанный песком — погибает Семен Мосягин (с. 269). (Подчеркнуто мною. — П.Н.)

Точная датировка событий, связанных с описанием природы, имеет у Андреева также определенный смысл. 27 июля по православному календарю — день Пантелеймона-целителя, одного из почитавшихся в сельском народе святых. По народным повериям св. Пантелеймон — искусный врачеватель, тонкий знаток природы, за помощью к нему обращались люди, пораженные различными недугами. Образ Пантелеймона привлекал внимание современных Андрееву деятелей искусства. У Н.К. Рериха Пантелей-целитель написан на фоне одухотворенного северного пейзажа за сбором лекарственных трав (1916). Казалось бы, в день поминовения святого больная жена Фивейского может рассчитывать на его покровительство: Василий особо усердствует в молитве, она сама жаждет избавиться от порока. Вместо этого семью постигает новый удар: в огне гибнут дом, имущество, жена Василия.

Пожар как наказание свыше опять же не плод воображения Андреева. В народе бытовало суеверие, что в день святого Пантелеймона за непочтение к его празднику может случиться пожар. В повести С.Н. Сергеева-Ценского «Сад», написанной в 1904 г., показано, как это поверие бытует в среде украинских крестьян: «Темень, — продолжал писарь, — темень непросветная ... Вот послезавтра Пантелеймона память, двадцать седьмого числа, и обязательно у кого-нибудь пожар случится, без этого уже нельзя... Строго празднуют, работы никакой: "А то він підпале!.." И выдумают, что Пантелеймон их подпалит!»²². Любопытно, что ожидаемые пожары действительно случались, о чем пишет и Сергеев-Ценский: «На Пантелеймона в ночь в Татьяновке был пожар, и сгорело пять дворов»²³. Церковь с этим суеверием была вынуждена бороться, поскольку праздник приходился в разгар страды, и потери от простоя в работе отражались на доходах духовенства. Поэтому пастырям предписывалось находиться в поле с паствой. У Андреева «27 июля, вечером о. Василий с работником возил с поля снопы» (с. 253). Тем не менее «жестокий и загадочный рок» не заставляет себя долго ждать: «сгорел только один поповский дом» (с. 253-254). Казалось бы, нет уже более прямого и настоящего указания судьбы на бессмысленность веры Василия в высшую справедливость, но он вновь упрямо твердит «Верую!», видя в своем горе очередное испытание на верность Богу. Толстой неоднократно говорил о «сделанности» произведений Андреева. Приведенный нами пример психологической мотивации поступка его героя иллюстрирует мысль Толстого. Иное значение имеют в «Отце Сергии» описания природы, хотя немногочисленные, но важные для понимания концепции повести. Природа здесь противостоит всему низменному и противоестественному. Объяснение Касатского с Мэри Коротковой происходит весной, когда природа свежа и чиста — «жарким майским днем», в «тенистой липовой аллее». «Мэри была особенно хороша в белом кисейном платье. Она казалась олицетворением невинности и любви... Соловей зашелкал вблизи, свежая листва зешевелилась от набегавшего ветерка» (31, 9). Тем разительнее действует на Касатского внезапное признание Мэри в том, что она была любовницей Николая I. Падение Сергия происходит таким же

«чудным майским вечером». «Соловьи заливались. Жук налетел на него и пополз по затылку. Он сбросил его» (31, 34-35). В эти короткие описания природы вложен глубокий смысл. В сомнениях искушаемого Сергия в истинности избранного им пути слышится голос самого Толстого. Отношение к природе и нравственные представления писателя в 90-е гг. уже не составляли того единства, к которому стремился Толстой в «Казаках». На смену пониманию природы как критерия красоты и истины писателю приходит мысль о том, что «творение скрывает творца», что «жуки, соловьи, природа» (31, 35) кажутся герою препятствием на пути к высшему откровению. Вопрос об отношении к природе не был решен Толстым однозначно до конца дней. Описание природы в «Отце Сергии» всякий раз предшествует ситуации нравственного заблуждения героя, когда поступки совершаются им под влиянием неосознанного желания славы. У Толстого природа делается здесь «соучастником» события, но участвует в нем по воле мудрого провидения, а не как орудие кары. Природа является для писателя и средством выражения нравственных представлений, и подтверждением критериев, которые легли в основу этико-религиозного учения писателя в «послепереломный» период.

В плане нравственном и эстетическом отношение Толстого и Андреева к природе совершенно противоположно. У Толстого природа никогда не является «союзницей» зла. Ее изображение способствует созданию высокого ценностного ряда, служит раскрытию глубин человеческой души. У Андреева природа олицетворяет таинственные, иррациональные силы зла, ее изображение не преследует цель передать психологическое состояние персонажа. Природа для него существует сама по себе, даже обладает собственным сознанием. В «Жизни Василия Фивейского» образы ночи, грозы имеют антропоморфные черты. Такую манеру — «приписывать сознательность неодушевленным предметам» поздний Толстой называл декадентской и относил к числу отрицательных черт современной ему литературы (81, 46).

Творчество Андреева являлось для Толстого источником примеров, на которых он основывал общие выводы о недостатках современной литературы. 2 сентября 1908 г. в связи с посвящением ему «Рассказа о семи повешенных», Толстой пишет Андрееву письмо, в котором тактично указывает на свойственные писателю недостатки, которых, по его мнению, следует избегать молодым авторам. В числе главных Толстой называет поверхностный подход к серьезным проблемам. «Думается, — советует Толстой, — что писать надо, во-первых, только тогда, когда мысль, которую хочется выразить, так неотвязчива, что она до тех пор, пока, как умеешь, не выразишь ее, не отстанет от тебя». Упрекает молодых Толстой и в поспешности писания, что опять-таки «есть признак отсутствия истинной потребности выразить свою мысль». Толстой советует самому Андрееву «больше работать над ними (писаниями), доводя в них свою мысль до последней степени точности и ясности» (78, 218-219). Письмо Толстого можно считать и своего рода литературным манифестом, в котором писатель отстаивал именно те принципы реализма, против которых была направлена



Л.Н. Толстой и Л. Андреев в Ясной Поляне
Фото В. Булгакова. 22 апреля 1910 г.

модернистская литература.

Любопытно, что это письмо Андреев опубликовал в сборнике, выпущенном издательством «Шиповник» в 1908 г., причем его текст предшествовал ранее неопубликованному отрывку из «Жизни Василия Фивейского» — «Сон о. Василия», по своему содержанию являвшему полную противоположность тому, чего требовал от молодых литераторов Толстой. Почему письмо предшествовало

публикации отрывка из написанной пять лет назад повести? Думается, это не простое стечение обстоятельств, а сознательно-полемический шаг, который можно расценить как ответ Толстому. Столь же полемичны по отношению к содержанию письма Толстого и произведения других авторов, включенные в сборник — Д. Мережковского, З. Гиппиус, Ф. Сологуба, Г. Чулкова и др. И то, что Андреев противопоставил Толстому именно «Жизнь Василия Фивейского», свидетельствует о том, что он считал повесть вполне соответствующей своим художественным и мировоззренческим принципам.

Итак, желание занять самостоятельную позицию в современной литературе, прямой вызов реалисту Толстому, с одной стороны, — и прочная привязанность к Толстому-патриарху, подчинение его авторитету, признание за ним роли литературного учителя, — с другой: таковы крайности отношения Андреева к своему великому современнику. С одной стороны, резкая критика Толстым творений Андреева, его уничижительные отзывы об Андрееве-модернисте, — с другой стороны, признание роли Андреева в современной литературе, высокая оценка его таланта.

В чем разгадка этого удивительного явления? Приведенные в статье наблюдения позволяют сделать вывод о том, что взаимные писательские симпатии являлись следствием интереса к общему кругу нравственных и философских вопросов. Однако в процессе их художественного решения пути Андреева и Толстого расходились, чем прежде всего и объясняются негативные отзывы Толстого о произведениях Андреева. Несмотря на чуждую, но ярко индивидуальную творческую манеру Андреева, Толстой в достаточной степени объективно отмечал и художественные удаchi, присущие прежде всего ранним рассказам писателя: гуманистический пафос и актуальность содержания. Авторитет Толстого-писателя внутренне влиял на творческие поиски молодого автора. В свою очередь, интерес к творчеству Андреева свидетельствует о стремлении Толстого к сохранению и упрочению связей с современной ему молодой литературой. Критическое чтение произведений Андреева было для Толстого действенным способом разобраться в характерных особенностях новой литературы, найти верный язык общения с ее представителями. Общение Толстого с молодыми писателями давало положительные результаты, способствовало оно и росту мастерства Андреева, формированию реалистических черт в его произведениях. Однако разность литературных позиций писателей не могла не получить отражения в их творчестве.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Летописи Государственного Литературного музея. М., 1948. Кн. 12. Т.2. С. 123. Про домо суа. — По поводу себя (*лат.*).

2. ЦГАЛИ, ф. 11, оп. 4, ед. хр. 29.

3. Грузинский А.Е. Яснополянская библиотека. // Толстовский ежегодник. М., 1912. С.141-142; Ломунов К.Н. Л.Н. Толстой о литературе и искусстве. // Л.Н. Толстой об искусстве и литературе. М., 1958. Т.2. С.32; Опульская Л.Д. Толстой и русские писатели конца XIX — нач. XX в. // Лит. наследство. М., 1961. Т. 69, С.121-124; Розанова С.А. Л.Н. Толстой и Л.Н. Андреев // Л.Н. Толстой. Переписка

с русскими писателями. М., 1978. Т.2. С.407-408; В.И. Беззубов. Леонид Андреев и традиции русского реализма. Таллинн, 1984. С.12-79.

4. Гусев Н.Н. Замолчанное о Толстом. Ответ на статью В.Ф. Булгакова. М., 1926. С.12.

5. Опульская Л.Д. Л.Н. Толстой и русские писатели ... С.121, 124.

6. Андреев Л.Н. Письмо А.А. Измайлову от 30-31 августа 1902 г.// Русская литература, 1962. №3. С.198-201.

7. Л.Н. Толстой об искусстве и литературе. Т. 2. С.371.

8. Там же. С.365.

9. Там же. С.365,369.

10. Лит. наследство. М., 1965. Т. 72. С.148.

11. У Толстого. 1904-1910/ Яснополянские записки Д.П. Маковицкого// Лит. наследство. Т. 90. Кн. 1. С.142, 493. Как установила А.С. Мелкова, имелось в виду издание повести Л. Андреева «Жизнь Василия Фивейского» (1904), отсутствующее в библиотеке Ясной Поляны.

12. Андреев Леонид. Повести и рассказы. М., 1957. С.214. Далее ссылки на это издание даются с указанием страницы в тексте нашей статьи.

13. Андреев Л.Н. Письмо В.И. Немировичу-Данченко от 12 марта 1915 г.// Ученые записки Тартусского государственного университета. Тарту, 1971. Вып. 266. С.267.

14. Андреев Л.Н. Письмо В.И. Немировичу-Данченко от 25 декабря 1913 г. Там же. С.243.

15. Бочаров С.Г. Роман Л. Толстого «Война и мир». М., 1978. С.26.

16. Афанасьев А.Н. Древо жизни: Избранные статьи. М., 1983. С.366.

17. Воспоминания М. Горького о Л.Н. Андрееве.// Лит. наследство. Т.72. С.369-370.

18. Аполлов Александр. Исповедь./ Машинопись (1889). ГМТ, фонд Н.Н. Гусева, VII, с. 2 — 3, VI, с.2.

19. Андреев Л.Н. Письмо М.П. Неведомскому (без даты). Искусство, 1925. №2. С.266-267.

20. Аполлов Александр. Исповедь, IX, с. 1.

21. Бруснянин В. Л.Н. Толстой и Л.Н. Андреев.// Утро России, 1910. 6 нояб. №293.

22. Сергеев-Ценский С.Н. Флот и крепость: Избранное. М., 1975. С.23.

23. Там же, с. 25.

Г.В. Алексеева

КОНСТАНЦИЯ ГАРНЕТ —
АНГЛИЙСКАЯ ПЕРЕВОДЧИЦА Л.Н. ТОЛСТОГО

14 мая 1893 г. Толстой завершил почти трехлетнюю работу над одним из самых сложных своих произведений — трактатом «Царство Божие внутри вас», названным критиком В.В. Стасовым «самой великой книгой нашего XIX века».

Вопрос о переводе и печатании трактата обсуждался еще в самом начале работы Толстого над ним. Велись переговоры с англичанином Э.М. Диллоном, доктором восточных языков, И. Кюршнером, немецким издателем, П.Г. Ганзенем, переводчиком сочинений Л.Н. Толстого на датский язык.

27 июня 1892 г. Толстой писал В.Г. Черткову: «Тат<ьяна> Андр<еевна> Кузминская говорила мне, что Петерб<ургский> лектор университета Тигнер, писавший обо мне, желал бы переводить мои статьи. Он почтенный человек, и Тат<ьяна> Андр<еевна> нынче едет в Петерб<бург> и будет видеться в нем. Мне пришло в голову: не предложить ли ему перевести “Царст<во> Б<ожие> внутри в<ас> есть”?» (87, 153).

В профессионализме и компетентности Тернера, англичанина, профессора, читавшего лекции об английской литературе в Петербургском университете, автора работы «Граф Толстой как художник и мыслитель», сомневаться не приходилось. Однако перевод этого произведения им осуществлен не был, вероятно, по причине «религиозных взглядов», как заметил в своем письме Л.Н. Толстому от 1 июля 1892 г. В.Г. Чертков. Но им был выполнен перевод другого произведения Толстого — «Соединения и перевода четырех евангелий», опубликованный в Лондоне в 1895 г.

Рукопись «Царства Божия внутри вас» была отправлена и в Соединенные Штаты Америки Изабелле Хэпгуд, которая считалась, по мнению многих, в том числе В.В. Стасова и публициста Дж. Ф. Кеннана, лучшей американской переводчицей русской литературы. Но в силу своих религиозных убеждений И. Хэпгуд, автор переводов таких произведений Л.Н. Толстого, как «Детство. Отрочество. Юность», «Севастопольские рассказы», «Рубка леса», «О жизни», «Николай Палкин», «Первый винокур», отказалась переводить трактат. Профессору И.И. Янжулу она сообщала, что «совесть ее не позволяет ей переводить»¹. Над переводом стала работать А.П. Делано, американка русского происхождения.

Тем временем за границей уже стали выходить в свет переводы этого трактата. Так, в октябре 1893 г. «Царство Божие внутри вас» было напечатано в Париже в переводе И.Д. Гальперина-Каминского. В этом же, 1893 году, книга вышла в Италии в переводе Софии Бер. А в начале января 1894 г. в Германии были опубликованы два текста трактата — русский и немецкий в переводе Р. Левенфельда.

В начале 1894 г. вышли в свет два перевода «Царства Божия внутри вас» в Лондоне. Один перевод был осуществлен в издательстве Walter Scott Алиной Делано, другой — молодой англичанкой, начинающей переводчицей русской литературы Констанцией Гарнет в издательстве William Heinemann. Работа Констанции Гарнет была высоко оценена самим автором трактата. Через несколько лет, в 1900 г., Толстой писал Эдуарду Гарнету, мужу Констанции: «Передайте мой привет вашей жене. Пользуюсь случаем еще раз поблагодарить ее за прекрасный перевод "Царства Божия внутри вас"». (72, 397) Об этом есть упоминание и в книге английского биографа Л.Н. Толстого Э. Моода: «Среди английских переводов он хорошо отзывался о переводах Констанции Гарнет и моей жены...»².

Таким образом, в конце прошлого — начале нынешнего века Констанция Гарнет (1861 — 1946) явилась для британского читателя настоящим проводником в философский и художественный мир Толстого. После перевода религиозно-философского трактата писателя она обратилась к его художественным произведениям — романам и повести. Ее перу принадлежат также переводы Тургенева, Достоевского, Гоголя, Чехова, Герцена, Гончарова и Островского. По свидетельству К.И. Чуковского, она «перевела на английский язык семьдесят томов русской классической литературы»³.

Чем же был вызван интерес к неведомой России и ее литературе у молодой преподавательницы классических языков, весьма успешно закончившей курс по классической филологии в Ньютон Колледже Кембриджского университета? Что заставило ее обратиться к публицистическому и религиозно — философскому труду Толстого «Царство Божие внутри вас»?

Значительную роль в этом сыграла дружба Констанции Гарнет, происходившей из культурной английской семьи, ⁴ с русскими революционерами-эмигрантами — Феликсом Волховским, Петром Кропоткиным и особенно с Сергеем Степняком, которые были частыми и желанными гостями дома Эдуарда Гарнета, талантливого литератора, за которого Констанция в 1889 г. вышла замуж. Несомненно, что общение с русскими революционерами-эмигрантами сказалось на ее литературных пристрастиях, привлекло ее внимание к произведениям Толстого. Интересно, что еще до знакомства с русскими эмигрантами Констанция Гарнет была библиотекарем «Народного дворца», участвовала в деятельности фабианского общества.

Следует отметить, что Степняк-Кравчинский, посовествовавший Констанции выучить русский язык и всерьез заняться переводами, проявлял живой интерес к творчеству Толстого-художника, вы-

ступал за границей с лекциями о нем. В овладении русским языком большую помощь оказал Констанция Гарнет Феликс Волховский, сотрудничавший в издании «Свободная Россия», редактором которого был Степняк.

Кроме того, нельзя забывать о том, что, начиная с 1886 г., в Англии наблюдается рост интереса к творчеству Толстого, о чем свидетельствуют литературные журналы тех лет — *London Quarterly*, *Westminster Review* и некоторые другие. Проблемы, которые поднимал в своих произведениях Толстой, общечеловечны, а потому были близки и понятны не только русскому читателю. В 1887 г. в журнале *Fortnightly Review*, №12, появляется статья «Граф Лев Толстой», написанная английским поэтом и философом М. Арнольдом. Когда-то, весной 1861 г., в Лондоне Толстой получил от него рекомендательное письмо для посещения английских школ. Наконец, в 1888 г. в Лондоне выходит уже названная выше книга профессора Ч. Тернера «Граф Толстой как художник и мыслитель». Популярность Толстого стала столь велика, что в 1888 г. Тернер получает приглашение выступить с лекциями о русском писателе в Лондоне, а в 1889 г. в Оксфорде.

Констанция Гарнет приступила к работе над трактатом в конце 1893 г., когда в Англии завершался период «освоения» художественных произведений Толстого, и английский читатель стал размышлять над его философскими и религиозными трудами. Перевод она выполняла для крупнейшего лондонского издательства У. Хайнемана, который купил право на перевод трактата в Библиографическом бюро в Берлине. Об этом У. Хайнеман будет вынужден сообщить Толстому в письме от 1/13 января 1894 г., опровергая высказанное в «*Daily Chronicle*», в корреспонденции из России, предположение, будто издаваемый им перевод «Царства Божия внутри вас» сделан с плохого французского перевода. Толстой дал Хайнеману весьма доброжелательный ответ: «Я очень рад услышать, что перевод сделан с русского языка и надеюсь, что он будет очень хорошим» (67, 15).

Судя по материалам из архива Ричарда Гарнета, Констанция завершила работу над переводом трактата в декабре 1893 г., незадолго перед поездкой в Россию. Сестра ее мужа, Оливия Гарнет, отметила в своем дневнике 5 декабря 1893 г., что Констанция ждет последнюю часть книги Толстого. Некоторые отрывки из трактата были напечатаны в конце 1893 г. в английском журнале «*New Review*». 1 января (н.с.) 1894 г. Констанция Гарнет выехала из Англии в Россию. Она прибыла в Петербург, чтобы передать деньги, собранные в Англии для голодавших крестьян. Выполняя поручение Степняка, она собиралась встретиться в России с его друзьями. Кроме того, Констанция Гарнет, увлеченная переводом трактата, не могла упустить возможности встретиться с его автором.

Приезд Констанции Гарнет в Петербург не остался незамеченным. 23 декабря 1893/3 января 1894 г. петербургская газета «Новости» известила своих читателей о визите молодой переводчицы в столицу России, причем ее ошибочно называли дочерью прославленного английского поэта Ричарда Гарнета (в действи-

тельности она была его невесткой). А 15 февраля 1894 г. в газете «Русская жизнь» была напечатана статья В.Г. Короленко «Английская путешественница в нижегородской деревне».

Несмотря на чрезвычайно напряженную программу пребывания в России, Констанция Гарнет 12/24 января 1894 г. посетила Толстого в Москве, в его доме в Хамовниках. «Впечатление, которое он производил на каждого, встречавшегося с ним, — писала она в своих воспоминаниях, — было огромно. Его пронизывающие глаза, казалось, пронзали тебя насквозь, уже не оставляя в тебе места для фальши, неискренности; в то же время они светились удивительной теплотой и любовью»⁵.

В беседе с Толстым она рассказывала о своей работе над трактатом, о трудностях, возникавших у нее с издателями. Констанция Гарнет была растрогана гостеприимством Толстого, его вниманием к ней, молодой переводчице; Толстой пригласил ее отужинать с его семьей на следующий день, посоветовал обязательно посетить в Москве картинную галерею. Констанция писала Эдуарду Гарнету, что Толстой с нетерпением ждет ее перевода трактата и надеется, что он будет хорошим, так как при встрече он сказал ей, что английские переводы его произведений гораздо лучше французских.

Вероятно, Констанция Гарнет произвела на Толстого хорошее впечатление, неслучайно, он предложил ей перевести на английский «Соединение и перевод четырех евангелий». Это поставило молодую переводчицу в затруднительное положение: с одной стороны, она была невероятно польщена столь серьезным предложением, с другой — у нее возникали опасения, что ее издатель откажется печатать это произведение и ей все равно придется возратить его Толстому. Но тем не менее ей не хотелось отказываться от мысли о работе над «Соединением и переводом четырех Евангелий», и, лелея надежду, она пишет письмо Ричарду Гарнету со следующей просьбой: «Но мне хотелось бы, чтобы Эдуард встретился с моим покровителем⁶ и узнал, не предпримет ли он публикацию этого богословского произведения, которое, по словам автора, является краеугольным камнем всей его философии... Произведение очень интересное и, без сомнения, найдет много читателей в религиозном мире».

16/28 января 1894 г. Констанция Гарнет отправилась в Нижний Новгород, выполнять, по-видимому, поручение Степняка повидаться с В.Г. Короленко, сотрудничавшим в редакции «Свободной России». По возвращении в Москву 29 января/10 февраля, она Толстого уже не застала: накануне он уехал в имение сына Ильи Гриневку. 31 января/12 февраля Констанция Гарнет послала из гостиницы «Россия» письмо С.А. Толстой. К этому времени она, по всей видимости, убедилась в том, что Хайнеман не согласится на публикацию в своем издательстве «Соединения и перевода четырех Евангелий» и сообщала об этом Софье Андреевне: «К сожалению, господин Хайнеман не желает предпринять эту работу — перевод Евангелий с комментариями, так как он не издает ничего богословского характера». Далее она продолжает: «... я с сожалением отказываюсь от этой идеи, тем более, что переводы

произведений графа Толстого, действительно, плохо сделаны и дают весьма искаженное представление об оригинале»⁷.

В Петербурге перед отъездом в Англию Констанция Гарнет встретила с профессором Тернером, о чем свидетельствует ее письмо Толстому из Петербурга 7/19 февраля 1894 г.: «Я говорила с ним о переводе Евангелий с комментариями, которым, к сожалению, я не могу сейчас заняться, так как господин Хайнеман не может, я думаю, опубликовать чисто богословскую книгу, а я вынуждена в течение следующих нескольких месяцев работать с ним⁸. Господин Тернер просил меня передать Вам, что он с удовольствием будет заниматься переводом Евангелий и предпримет его публикацию в Англии». В заключении она пишет: «Я рада узнать, что Царство Божие возбуждает большой интерес, появляются положительные рецензии, я постараюсь собрать некоторые из них и пошлю их Вам вместе с моим переводом из Англии»⁹.

Так получилось, что встреча К. Гарнет с Толстым в январе 1894 г. оказалась единственной. 12/24 февраля 1894 г. Констанция Гарнет возвратилась в Англию. Через несколько лет, в 1904 г., в свой второй приезд в Россию, она заболела и встретиться с Толстым ей не удалось.

Долгое время, начиная с публикации Дэвидом Гарнетом, сыном Констанции, книги «Золотое эхо» (Garnett, David. The Golden Echo.-London, 1953) в литературоведении бытовало мнение (в работах А. Тове, Т. Мотылевой и др.), что Констанция Гарнет посетила Л.Н. Толстого в Ясной Поляне. К сожалению, встреча была единственной, и, как сказано, произошла она в Москве. В Ясную Поляну Констанция не приезжала. Толстой во время ее пребывания в России находился большей частью в Москве, а потом уехал в Гриневку, в имение сына Ильи. Пробыв там до 1 февраля (ст.ст.) 1894 г., он 2 февраля уезжает с Татьяной Львовной в Ясную Поляну и 11 февраля возвращается в Москву.

Следовательно, Констанция Гарнет могла побывать в Ясной Поляне только в период со 2 по 10 февраля (ст. ст.) 1894 г. Но 7 февраля она уже писала Толстому из Петербурга. Мало вероятного в том, что она побывала у Толстого в Ясной Поляне в дни со 2 по 5 февраля — об этом нет никаких упоминаний ни у Толстого, ни у Татьяны Львовны в ее дневнике, где в эти дни она записывала всех посетителей Ясной, ни у самой Констанции Гарнет, которая в письмах и незавершенных воспоминаниях описывает свой визит в московский дом Толстого.

По возвращении в Англию Констанция Гарнет с головой ушла в работу по переводу русских авторов. За время ее отсутствия в Англии вышло в свет «Царство Божие внутри вас», появились многочисленные рецензии на этот трактат.

В журнале «The Academy» (March 24, 1894. №1142) был сделан критический анализ двух вариантов перевода «Царства Божия внутри вас» в пользу версии Констанции Гарнет — как наиболее соответствующей оригиналу. Во многом не соглашаясь с толстовским пониманием христианства, автор рецензии пишет о значении трактата в целом: «Для нас огромная, великая ценность этой книги заключается в той картине беспорядков, происходящих в

России в конце XIX века, нарисованной человеком, не имеющим никакого враждебного отношения к тем ограниченным тиранам, чей произвол он так драматично раскрывает». И, приведя в подтверждение своей мысли отрывок из той главы, где описывается случай с орловскими крестьянами, уверенно резюмирует, что к этим страницам исторической значимости будущие читатели обратятся с особым вниманием¹⁰.

Сохранилась одна из рецензий, присланных Толстому Констанцией Гарнет. В общем положительно оценивая толстовский трактат, автор рецензии в заключении пишет: «Таково содержание этой серьезной, скрупулезной книги, написанной из самого сердца очень великим и очень хорошим человеком. Нетрудно критиковать некоторые ее аспекты. Разумеется, что в книге рассматриваются сугубо русские обстоятельства. Нам кажется, что в той или иной форме Государство (не сегодняшнее государство, но Государство в своей истинной сущности) должно продолжать существовать специально для цели сохранения той свободы действия, необходимой для того, чтобы сделать Христианство благодетельной силой»¹¹.

В февральском выпуске журнала «The New Review» за 1894 г. были опубликованы четыре критические статьи английских священников. Относительно этих статей Констанция Гарнет писала Толстому 27 сентября 1894 г.: «Трактат критиковался в "The Review", экземпляр которого я вам посылаю, самыми разными священниками. Тот факт, что была предпринята такая критическая атака, говорит о силе этого произведения и страхе, который оно вызывает». В этом же письме мы читаем: «... в течение долгого времени я не могла придумать способа доставки Вам книги. Мои английские друзья, отправляющиеся в Россию, взяли послать ее вместе с этим письмом на адрес одной английской фирмы в Москве, которая передаст все это Вам в руки. Я надеюсь, Вам понравится мой вариант перевода. Я старалась быть ближе к оригиналу, чем это обычно было принято в английских переводах с русского. По моему мнению, перевод испорчен заглавием,¹² которое было придумано и добавлено без моего разрешения в то время, когда меня не было в Англии. Я сильно разочарована тем, как книга была принята здесь. Все, что Вы пишете, с готовностью читается и рецензируется, но я не заметила во всем этом настоящего понимания духовного значения этого произведения. Трудно оценить его влияние, взглянув лишь на критическую статью в газете»¹³.

Это письмо Констанция Гарнет адресовала Толстому в Москву, на конверте рукой Льва Николаевича сделана надпись: «Адрес списать».

Неизвестно, дошла ли до Толстого книга «Царство Божие внутри вас» в переводе Констанции Гарнет. В личной библиотеке Толстого этой книги нет. Из переводов Констанции Гарнет в библиотеке сохранились:

1. *Anna Karenina: A Novel: A New and Complete Translation from the Russian.* — London: W. Heinemann, 1901.

2. *The Death of Ivan Ilyitch and Other Stories.* — London: W. Heinemann, 1902.

3. War and Peace: A Novel. — London: W. Heinemann, 1904.

Кроме названных произведений, по свидетельству внука Констанции Ричарда Гарнета, в 1908 г. она в кратчайший срок перевела рассказ Толстого «Набег». Он был напечатан в первом выпуске нового литературного журнала «English Review» (этот экземпляр журнала также хранится в яснополянской библиотеке Л.Н. Толстого). В январе 1910 года Констанция Гарнет предложила перевести для издательства Williams and Norgate письма Толстого — 300 000 слов — за месяц. Конечно, это было невозможно, хотя ей очень хотелось перевести некоторые из его писем. В это время переводы Толстого ей хорошо давались, и по сравнению с Чеховым Толстой для нее был более легким автором.

В переписке Констанции Гарнет с Толстым принимал участие и ее муж Эдуард Гарнет, который 6 июня 1900 г. писал Толстому: «... жене моей и мне предложили написать в "Harper's Magazine" статью о вашем романе «Воскресение», но при условии, чтобы вы прислали какое — нибудь обращение к американскому народу, которое появилось бы в том же номере журнала»¹⁴.

Обращение к американскому народу Толстой послал в письме Эдуарду Гарнету, и оно появилось в журнале «North American Review» в апреле 1901 г. В этом же номере была напечатана статья Констанции и Эдуарда Гарнет о романе «Воскресение». Об этой статье следует сказать особо, так как ее появление было очень своевременно и важно в связи с тем, что сначала многие критики были разочарованы (последним) романом Толстого, столь не похожим на его первые два — «Войну и мир» и «Анну Каренину». Констанция и Эдуард Гарнет видели в «Воскресении» гармоничное единство взглядов раннего и позднего Толстого, подчеркивая последовательность его духовного развития.

Последний раз Констанция Гарнет обратилась к творчеству Л.Н. Толстого в 1922 г., когда перевела его статью «Христианство и патриотизм».

Символично, что в начале и в конце ее интенсивной и плодотворной работы над переводом сочинений Толстого стояли два его религиозно-философских произведения — «Царство Божие внутри вас» и «Христианство и патриотизм».

В заключение искренне благодарю за консультации внука Констанции Гарнет господина Ричарда Гарнета¹⁵.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. См.: Толстой Л.Н. Полн.собр. соч: В 90 т. М., ГИХЛ, 1953. Т. 66. С.313.

2. Maude A. The Life of Tolstoy: Later Years. — London, 1910. — С.609.

3. Чуковский К.И. Высокое искусство // Собр. соч. М., 1966. Т. 3. С. 501.

4. Примечательно, что представители трех поколений семьи Констанции были так или иначе связаны с Россией, начиная с ее деда Питера Блэка, капитана английского судна, которое в 20-х годах XIX века участвовало в регулярном морском сообщении между Германией и Россией.

5. Отдел рукописей ГМТ. Архив Ричарда Гарнета.

6. Там же. Вероятно, К. Гарнет надеялась на помощь С. Степняка.

7. Отдел рукописей. ГМТ. Фонд С.А. Толстой.

8. В это время К. Гарнет работала над переводом произведений И.С. Тургенева, которые вышли в свет в Англии в 1895 г.

9. Отдел рукописей. ГМТ. Фонд Л.Н. Толстого.

10. The Academy. 1894. Vol. 45. №1142. С.245.

11. Отдел рукописей. ГМТ. Фонд Л.Н. Толстого.

12. «The Kingdom of God. Is within You»: Christianity not as a Mystic Religion but as a New Theory of Life/ Transl. from the Russian of Count Tolstoy by Constance Garnett. London, 1894.

13. Отдел рукописей. ГМТ. Фонд Л.Н. Толстого.

14. См.: Л.Н. Толстой. Полн. собр. соч. Т. 72. С. 398.

15. В 1991 г. в Англии вышла биография К. Гарнет, написанная Ричардом Гарнетом.

ТОЛСТОЙ И ИСКУССТВО ТОЛСТОЙ В ФОТОГРАФИЯХ

А.Н. Данилов

ИЛЛЮСТРАЦИИ СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Л.Н. ТОЛСТОГО

Для любого современного художника, особенно для начинающего, обращение к классике, в частности к Л.Н. Толстому, сопряжено с известным риском. С одной стороны, автора подстерегает опасность повтора, использования (часто бессознательно) в решении иллюстраций уже найденных кем-то когда-то приемов, с другой стороны, в попытке «заново изобрести велосипед» художники часто скользят по поверхности, захватывая лишь внешний слой и не проникая в сердцевину литературного произведения. Именно поэтому, думается, в практике издательств бытует определенная система. Например, когда «Художественная литература» или «Правда» намечают в очередной раз выпустить книги Толстого, издатели останавливаются на практически беспроектном варианте — в ход идет ставшая уже хрестоматийной графика известных русских и советских художников, многократно тиражированная. За те восемь лет, что мы рассматриваем в данной статье (1980 — 1987), издательство «Правда» выпускало произведения Л.Н. Толстого с иллюстрациями Д.А. Шмаринова, Л.О. Пастернака, О.Г. Верейского, А.В. Николаева, Е.Е. Лансере 7 раз, «Художественная литература» — 13, а «Детская литература» — 9 раз. Это немало, принимая во внимание тиражи книг и безусловно оправдано, поскольку рисунок высокого класса, выполняя естественную дизайнерски-оформительскую функцию, не только способствует пропаганде нашего графического наследия, но и воспитывает у читателей, особенно юных, художественный вкус, любовь к русскому искусству, литературе. Думаю, эти замечания особенно важны вот в связи с чем. Не так давно на страницах «Огонька» было опубликовано одно из писем — от канадских учителей-русистов, которые прямо сказали, что, по их мнению, русскую литературу, свое историческое наследие советские школьники знают хуже, чем их канадские сверстники¹. Известная доля истины в таком наблюдении есть, и иллюстрации, на первый взгляд, вторичные по отношению к литературной основе, на самом деле очень важны в архитектонике книги как один из факторов активизации читательского интереса к тексту.

Однако обратимся снова к иллюстрациям последних лет. Какие особенности им присущи?

Становится все более очевидным, что ныне оформилась одна из характерных черт в советской книжной графике — ее внутренняя раскрепощенность. Понятно, что в этот достаточно условный эмоциональный термин мы включаем не просто естественное разнообразие почерков, манер, присущих художникам разных поколений, но он как бы отражает тот факт, что иллюстрация на книжной странице получила более широкие права гражданства. Она в последние годы претендует на большую самостоятельность, выходит за рамки «подмастерья» в пространстве литературы, обретает в ряде случаев даже собственную судьбу.

Закономерен вопрос: естественно ли такое положение вещей или мы стали свидетелями очередного перекоса, когда маятник качнулся в другую сторону? Один из известнейших теоретиков книжного оформления В.Н. Ляхов отмечал, что «мы не можем не остановиться перед проблемой книжного синтеза, процесса, завершающегося при взаимодействии слова, изображения и материальной книжной конструкции»². Он писал, в частности, о том, как следует художнику обращаться с книгой: «Главным движущим моментом ... является проникновение ... в художественную сущность произведений литературы»,³ но, по словам Ляхова, «художник может активно входить в книгу как интерпретатор, как декоратор, как комментатор и т.д.»⁴.

Понятно, что на вопрос о том, есть ли какие-то универсальные рецепты создания иллюстраций, ответ будет один: нет. Приемов множество — вспомним хотя бы ставшие уже классикой листы Д.А. Шмаринова к «Войне и миру» или работы О.Г. Верейского к «Анне Карениной». Их с полным основанием можно отнести и к станковой графике. Таковы и рисунки Л.О. Пастернака к «Воскресению». В них нет и отсвета литературщины, а есть та самая цельность и глубокая духовность, к которой, думаю, стремится каждый график, обращающийся к классическому наследию. В то же время другие художники, иллюстрировавшие те же самые книги Толстого, строившие изоряд по всем правилам и законам книжного оформления, нередко не достигали поставленных (несомненно поставленных!) целей. Их работы удивляют дробностью и вялостью линий, случайностью решений, наспех отобранными эпизодами для иллюстрирования. Толстой для них оставался как бы вещью в себе, непонятой, нераскрытой ...

В советской книжной графике последних лет все более проявляется так называемое режиссирование — точный расчет, вымеренность словно театрального пространства, всех компонентов, всей плоскости листа. Налицо в определенном смысле столкновение рационального и эмоционального в иллюстрировании произведений. В связи с этим хочется привести слова одного из советских художников, Н.Е. Попова, который, размышляя о второй выставке книжной иллюстрации, сказал, что современной иллюстрированной книге не так нужен хороший рисунок, как «режиссура», умение художника «режиссерски» прочесть литературное произведение⁵.

Подобное суждение касается не только произведений современных литераторов, где так называемая упругость ритма продиктована выпуклостью отображаемых проблем, сложностью вопросов реальной жизни и т.д. Оно напрямую относимо и к классике, поскольку книга, однажды написанная, через десятилетия, а то и столетия осознается новыми читателями по-новому, в ней подчас открываются совершенно неведомые грани.

В отношении классики, кстати, ветер перемен прекрасно продемонстрирован В. Лебедевым еще в 20-е гг., когда он, «виртуозный рисовальщик, художник наблюдательный, остроумный и в то же время глубоко лиричный и тонкий создал детскую книгу, наполненную дыханием новой реальности, удивительно современную по звучанию (для того времени — А.Д.). Он смело использовал элементы агитплаката, не боясь условности супрематических решений. В. Лебедев отдал детям все мастерство своего блестящего рисунка с натуры ... Роль В. Лебедева поистине была ролью “первопроходца”, его влияние на художников детской книги как его непосредственных учеников и последователей, так и более далеких “потомков”, вплоть до графиков наших дней, было ничуть не меньшим, нежели В. Фаворского в книге “взрослой”»⁶.

Это же наблюдение подтвердила и Вторая всесоюзная выставка книжной иллюстрации, проводившаяся в 1986 г. Ряд современных искусствоведов придерживается мнения о том, что, скажем, у художников-«шестидесятников» индивидуальное художественное мастерство — «почти функция организма художника. Оно — искренность без которой — в этом “шестидесятник” глубоко убежден — не может быть истинности. Концепция натурности ... порождена принципом органичности, естественности, непосредственности в его связи с реальностью... Язык «семидесятника» — результат выбора прототипа, часто весьма удаленного исторически, географически и культурно»⁷. И еще одна любопытная мысль: «Семидесятник» на историю искусств смотрит как на каталог художественных форм, стилей, манер и готов использовать любую, лишь бы она позволила добиться желаемого эффекта. В выборе формы он “объективен”. “Безразличие” — также одно из свойств эстетики 70-х, как бы наперекор традиции 60-х»⁸.

Нынешняя иллюстрация словно нарочно стремится уйти от излишне точного «академического» рисунка в область повышенной интеллектуальной (а иногда, увы, псевдоинтеллектуальной, скрывающей банальную примитивность художнического мышления) нагрузки. К слову, в таких иллюстрациях, которые кому-то показались, возможно, новациями, нет яркой плакатности 20-х годов, отсутствуют энергичные композиционные акценты. Но нельзя не заметить, что художники 70-х и 80-х годов активно экспериментируют в области объемов и формы. Смысловая нагрузка тут, случается, уходит на второй план, очень заметны в работах графиков моменты игры, театральность и даже некий эпатаж. Классика — повторяю — не исключение. Иллюстрации как бы соперничают с текстом, идут параллельными путями. И опять встает вопрос: хорошо это или плохо? И снова трудно получить ответ, ответ настоящий, а не «теоретический». Потому

что непросто «попасть в точку», передать адекватно средствами графики то, о чем думал автор, когда писал книгу. Практически невозможно. Вспомним тут Л.Н. Толстого, который писал художнику М.С. Башилову: «Пересмотрел еще все рисунки и не мог оторваться от них. Они необыкновенно хороши..., то, что Вы сделали, превзошло все мои ожидания» (61, 135-136). И спустя несколько месяцев, в том же 1866 г., другое, более строгое суждение о работах первого иллюстратора «Войны и мира», каким был Башилов: «Старый князь очень хорош, но князь Андрей очень не нравится мне... Графа Ростова и Марью Дмитриевну в Даниле Купоре нельзя ли смягчить, убавив карикатурности, подбавив нежности и доброты» (61, 152).

В истории советской графики есть почти хрестоматийный случай совпадения видения писателя и художника. Я имею ввиду Р. Роллана и Е. Кибрика, который, иллюстрируя роман «Кола Брюньон» буквально угадал образ Ласочки. Но таких совпадений известно очень немного. В свое время этот вопрос глубоко рассматривал Ю. Тынянов. Он, в частности, писал: «Конкретность произведения словесного искусства не соответствует его конкретности в плане живописи. Конкретность поэтического слова... — в своеобразном процессе изменения значения слова, которое делает его живым и новым»⁹.

Восьмидесятые годы в общем не принесли пока заметных явлений в изобразительной толстовиане. Индикатор этого — хотя бы уже упоминавшаяся нами Вторая всесоюзная выставка книжной иллюстрации. В экспозиции ее были представлены лишь работы Н.И. Байрачного (Минск) к «Трем медведям» и ташкентского графика М.Х. Карпузаса, интересно оформившего «Хаджи-Мурата» и «Холстомера» в технике офорта. Попутно заметим, что Толстой не попал даже в первую пятерку русских и советских классиков, интерес к которым проявили нынешние художники книги.

В залах выставки можно было видеть интересные иллюстрации к Пушкину, Гоголю, Достоевскому, Ал. Толстому, к Булгакову, Горькому, но только не к Л.Н. Толстому. Что это — очередной каприз моды, случайность или тенденция? Во всяком случае на Первой выставке иллюстраций в 1980 году великому писателю России повезло значительно больше, правда, и охватывала та экспозиция почти весь советский период книжной графики и потому все значительное, что создали художники до начала 80-х, показывалось в залах.

Нынешние иллюстраторы обладают, на мой взгляд, несомненным достоинством — их почерк, манера стали более свободными. А не это ли свидетельствует о раскрепощенности мышления, выходе из прокрустова ложа формального, схоластического понимания реализма, когда он трактуется исключительно как форма, а не творческий метод.

Сейчас положение постепенно меняется. О том, думается, говорят произведения книжных графиков, сделанные в последние годы. Они представляют собой попытку с творческих и общезначимых нравственных позиций определить сегодняшнее отношение к Толстому.

Михаил Ромадин, Маркос Карпузас, Петр Пинкисевич, Ильдар Урманче — все они, обращавшиеся к произведениям писателя, в изобразительных решениях отличны друг от друга. Ромадин, например, чрезвычайно экспрессивен в цвете и форме, он смело вводит в иллюстрации гротескные пассажи, его необычные композиции многое добавляют к лапидарному языку литературной первоосновы («Басни Эзопа». Тула, 1979).

Почти параллельно работам Ромадина смотрятся офорты М. Карпузаса. Именно офортная техника прекрасно передает нервическую динамику, драматизм «Хаджи-Мурата». Линия тут по-новому интерпретирует слово, делая его более реальным, даже осязаемым.

Совершенно другими воспринимаются графические листы Ильдара Урманче. Они смотрятся станковыми работами, где герои того же «Хаджи-Мурата», мощно «вылепленные» автором, без сложной детализировки фигур и лиц, подняты на уровень типажей. Важное место в иллюстрациях художника к этой книге отведено локальному цветовому пятну, продуманной системе колорита, помогающего передать атмосферу повести.

Итак, налицо индивидуальность мастера в подходе к литературной основе. Однако своеобразие проявляется не только в чисто иллюстрационной графике, но и в дизайнерских, оформительских приемах. Речь идет о ритме изоряда, о способах его расположения в книге. К примеру, в том же «Хаджи-Мурате» (М., 1981) рисунки И. Урманче воспринимаются как своеобразные «окна». Они занимают страницу полностью, без полей и оттого, возможно, в своей эстетике смыкаются с эстетикой теле- и кинокадров.

Нечто подобное можно видеть и у других мастеров. Схожий прием использовал П. Пинкисевич в «Кавказском пленнике» (М., 1984). Словом, налицо появление иных особенностей графики, требуется от читателя более внимательное изучение изобразительных ритмических перебивок. Мы вправе считать себя приобщенными к тому, что в прошлом разрабатывал известный советский мастер А. Родченко — к своеобразной системе «фотофильма».

Таким образом, книжная иллюстрация перестает быть сопровождающей литературу, она в органичной целостности книги приобретает большие права.

В восьмидесятые годы все чаще встречаются графические работы, сходные по построению с эпизодами театральных постановок, с идеями сценографов. В графике С. Соколова, например, с помощью вспомогательных элементов полиграфического оформления (линейки, ограничивающие пространство листа и проч.), нарочито подчеркивается, что перед нами момент представления. В композиции легко выделить разные планы, без труда угадываются и взаимоотношения между героями, движение, несмотря на внешнюю статику иллюстрации, именно так строится оформление в «Отрочестве», выпущенном издательством «Современник» в 1983 г. Книгу эту как раз и оформлял художник С. Соколов. Особо нужно сказать о присущих графикам 80-х стилизаторстве и самой настоящей цитатности. В книге «Лебеди» (М., 1980), оформленной Вал. Васильевым и в «Севастопольских рассказах» (М., 1983), над

которыми работал Б. Лапшин — подходы сугубо индивидуальные. Первый художник пошел по пути трансформации живописных находок XIX в., в частности, в его рисунках прочитываются интонации Ф. Толстого: те же изящество линий, цвета, схожие приемы композиции, может, лишь колорит более острый, напряженный.

Б. Лапшин строит свои иллюстрации, заимствуя также приемы эстетики близкой области — он обращается к фотографии той поры, умело оперирует тонкими, почти исчезающими контурами фигур, подстраивает по тональности свои работы под некую историчность, и надо признать, ему удалось создать интересную графическую серию в этой небольшой по формату книжке.

Однако не всю изобразительную толстовиану можно отнести к несомненным удачам художников. В 80-е гг. наблюдались и нарочитая небрежность манеры, и непродуманные решения, и буквальное жонглирование эпизодами произведений Л.Н. Толстого, которые графики вводили в будущий изоряд книг. Не нашлось, например, интересной запоминающейся иллюстрации для «Анны Карениной». Те, что публиковались в ростовском издании (1984), решенные в каком-то псевдокосмическом ключе вряд ли могут считаться по-настоящему серьезными работами. Столь же искусственными выглядят и изящные линейные рисунки А. Слепкова для «Рассказов» Л.Н. Толстого, выпущенных в 1983 г. в Ленинграде. Своеобразные сами по себе, они, будучи соединенными с насквозь реалистическим, трагическим текстом, потеряли, как нам кажется, смысловую нагрузку, превратившись в некое дополнение книги.

И последнее наблюдение. Среди искусствоведов распространилось мнение о том, что романтический период советской иллюстрации закончен. Художника ныне увлекает более интеллектуальная сторона, а не особенности пластического языка. Думаю, что известная поспешность вывода в таком суждении есть. Немало графиков и ныне обращаются к Гоголю, в частности, к Пушкину, к Гофману, наконец. А ведь их произведения таят колоссальные возможности для раскрытия фантазии, творческой индивидуальности настоящего мастера. В книжной толстовиане тоже есть свои приверженцы романтического направления. Пример тому — иллюстрации В. Курбатова к «Отрочеству» (Уфа, 1983).

Словом, у Толстого, как и у любого самобытного писателя, непростая судьба в смысле восприятия его книг, их интерпретации, в особенности средствами пластического языка. А ведь Толстой не «заканчивается» художественными произведениями. Есть еще гигантский пласт его философских, публицистических работ. Как иллюстрировать их и нужна ли там иллюстрация? Вопросы такого плана не новы и пока не нашли оптимального решения. Во всяком случае в изобразительной толстовиане мы, несомненно, увидим немало любопытных вещей. Временный же спад интереса художников к писателю, возможно, всего лишь период накопления сил. В искусстве это бывает.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Огонек, 1987. №38. С. 3.
2. Ляхов В.Н. Избранные историко-теоретические и критические работы. М., 1973. С. 75.
3. Там же. С. 172.
4. Там же. С. 75.
5. Цит. по: Чегодаева М.А. «Рисовальщик» или «режиссер» // Творчество, 1986. №9. С. 6.
6. Книжное искусство народов СССР. М., 1985. Т. 1. С. 13.
7. См. сноску №4. С. 7.
8. Там же.
9. Ю. Тынянов. Иллюстрации // Архаисты и новаторы. Л., 1929. С. 501, 502

Т.Ю. Пластова

Л.Н.ТОЛСТОЙ В ИЛЛЮСТАЦИЯХ И ПИСЬМАХ
А.А. ПЛАСТОВА

Художник А.А. Пластов (1893-1972) хорошо знал, любил и много иллюстрировал русскую литературу. В разные годы экспонировались на выставках и издавались в печати его иллюстрации к произведениям Пушкина, Гоголя, Некрасова, Толстого, Чехова. Отношение Пластова к иллюстрации было гораздо серьезнее и глубже обычных задач художника книги. В сложные для искусства годы он писал искусствоведа Н. Соколовой о своих иллюстрациях к Чехову: «Я через Чехова пытаюсь закрепить на бумаге без всякого вольного или невольного приспособленчества, открыто, по душам, как говорится, по совести, не лукавя, все то, что я видел, знал и любил с детства и вижу, знаю и люблю до сего времени. Для меня Чехов обаятелен и неисчерпаем, как сама жизнь, и я не в силах был противиться потребности воочию показать по мере сил своих ту абсолютную правду жизни, ту необыкновенную святую силу искренности, с какой Чехов искал эту правду всю жизнь, и в чем он так сходен с Пушкиным и Толстым, и что пленяет и покоряет неодолимо...»¹

Толстовская тема занимает особое место в творчестве Пластова. Ощущение живой полноты жизни, пластическая точность, широта и монументальность письма, страстное желание сказать правду людям — все богатство и многогранность Толстого было очень близко ему. Толстой, несомненно, влиял на мировоззрение художника, на его творчество. Пластов читал Толстого всю жизнь, с ранних семинарских лет. Иллюстрации же к толстовским вещам появляются в начале 50-х годов, когда его творческая зрелость достигает расцвета. Каждое предложение сделать иллюстрацию к Толстому художник встречал с радостью. «Темы для меня исключительно приятны. Все по мужицкому жанру, да еще толстовских времен. Я не мог без радостного волнения сообщить тебе это. Без всякого страха могу изобразить старую Русь. И плохое и хорошее. Все ведь в ней было», — писал Пластов жене Н.А. Пластовой².

Одна за другой из под кисти художника выходят иллюстрации к «Поликушке», «Казакам», «Анне Карениной», «Холстомеру», «Много ли человеку земли нужно», «Лозине», «Метели»... В это же время, очевидно, под влиянием работы над иллюстрациями,

возникает большая гуашь «Встреча Л.Н. Толстого со слепцами». Наполненный влажным воздухом ранней весны простой русский пейзаж, зеленеющие озими, черная, разьеженная дорога. Толстой верхом на вороном жеребце встречает слепцов с мальчиком-поводырем и, придерживая коня, пристально, изучающе смотрит на них. А они идут мимо, не видя ни его, ни этого светлого, жемчужного дня... Для художника эта сцена — не просто мимолетный эпизод; он пытается пластическими средствами запечатлеть рождение мысли Толстого, может быть рождение новой темы.

Образ Л.Н. Толстого еще раз возникает в творчестве Пластова. В 1959 году для московского Государственного музея Л.Н. Толстого он пишет маслом картину «Толстой в яснополянской школе». Очень близки духу толстовских вещей, а возможно и навеяны ими, такие картины разных лет, как «Слепые», «Из прошлого», «Смерть дерева». Однако наибольшего развития толстовская тема у Пластова получает именно в иллюстрациях.

В 1952 году художник делает большие листы к повести Толстого «Как казаки». Их всего три. Пластов считал, что «голый принцип иллюстрирования до конца во что бы то ни стало, чтобы соблюдены были все выгоды массового тиража, имеющийся налицо потенциал нашей полиграфии, чтобы ни на одном листе не держать себя выше простого раба перед его величеством автором — ошибочная тенденция»³. В выборе эпизода и количества иллюстраций он чувствовал себя совершенно свободным. Характерно, например, что к огромному роману «Анна Каренина» он делает всего две иллюстрации — два варианта сцены «Левин на покосе».

В «Казаках» художника привлекала, прежде всего, стихия народной жизни, размах, самобытность национального характера.

Иллюстрация «Дядя Ерощка» построена по законам живописного портрета. В темно-красном бешмете с газырями, с белой окладистой бородой, с тесаком за поясом, со стаканом вина в крепкой руке он взят в момент оживленного разговора. — «У кого первый конь, у кого шашка гурда, к кому выпить пойти, с кем погулять? Кого в горы послать, Ахмет-хана убить? Все Ерощка. Кого девки любят? Все Ерощка отвечал. Потому что я настоящий джигит был» (6, 55). Видно, что художник с радостью нашел этот образ, такой близкий героям его собственных картин и портретов. «Марьяна» — тоже портрет. Черноволосая девушка в розовой рубашке дана во весь рост. Этот тип также очень близок художнику, встречается во многих его вещах. «Марьяна, напротив, была отнюдь не хорошенькая, но красавица. Черты ее лица могли показаться слишком мужественными, почти грубыми, ежели бы не этот большой стройный рост и могучая грудь и плечи и, главное, — ежели бы не это строгое и вместе с тем нежное выражение длинных черных глаз, окруженных темною тенью под черными бровями, и ласковое выражение рта и улыбки...» (6, 97-98). Встреча Оленина с Марьяной в залитом солнцем винограднике, одно из поэтичнейших мест повести — сюжет третьей пластовской иллюстрации.

Столь же свободно и характерно для Пластова сделана иллюстрация к рассказу «Три смерти». Это разговор молодого ямщика

Сергеи и умирающего Федора. Очевидно, что Пластов не мог пройти мимо такого сильного по выразительности и глубокому философскому смыслу эпизода, не мог не дать ему свое изобразительное, живописное прочтение. Контрасты извечного соседства молодости и старости, жизни и смерти, и, вместе с тем, обыденность и привычность происходящего для самих персонажей — суть художественного открытия Толстого. У Пластова эти контрасты прежде всего колористические. Здоровье и молодость парня, его темная голова, смуглая шея, темно-коричневый полушубок (сам цвет которого невольно ассоциируется с теплом, жизнью) противопоставлен болезненной бесцветности умирающего.

К четвертой главе рассказа — смерти дерева — художник иллюстрации не сделал. Но эта толстовская тема отразилась в его большой, едва ли не самой пронзительной и вдохновенной картине «Смерть дерева».

Иллюстрации Пластова к позднему Толстому представляют особый интерес. Философия и творчество писателя этого периода были очень близки Пластову, воспринимались им удивительно органично, и, по-видимому, хорошо согласовывались с его собственными взглядами и убеждениями. Ведь Пластов, как и Толстой, большую часть жизни проживший среди русских крестьян, на многое глядел их глазами, оценивал мир вокруг себя с точки зрения их интересов, их печалей и радостей, их трудностей и забот.

Как читатель и как художник он был восхищен мастерством позднего Толстого, считал, что высокое нравственное содержание требует именно такой простоты и искренности слова, что именно здесь Толстой истинно велик. Поэзия жизни, даже самой простой, даже низкой, так остро ощущаемая Толстым, была ему близка и понятна.

В 1952-54 годах Пластов работает над иллюстрациями к повести «Холстомер». Толстовская «История лошади» поражала художника не только глубоким философским смыслом, особенным психологизмом и художественным совершенством. Для человека, крестьянина, лошадь испокон веков являлась частью бытия, кормилицей, труженицей, олицетворением богатства, счастья. Искусство всех эпох неизменно обращалось к этому образу как символу физической гармонии, силы, неукротимого стремления вперед — ассирийские рельефы и античные квадриги, персидская миниатюра и русские иконы, медный всадник Фальконе, пушкинская метафора «поднятой на дыбы России», «птица-тройка» Гоголя...

«Наше село, — писал Пластов в автобиографии, — лежит на большом Московском тракте, и, сколько себя помню, мимо нашего дома вечно тянулись бесконечные обозы, мчались пары и тройки с ямщиками-песенниками. Кони были сытые, всяких мастей, гривастые, в нарядной сбруе с медным набором, с кистями, телеги и сани со всякими точеными и резными балясинами, дуги расписные, как у Сурикова в «Боярыне Морозовой». С тех пор запах дегтя, конское ржание, скрип телег, бородатые мужики приводят меня в некое сладостное оцепенение»⁴. К этому надо прибавить праздники Флора и Лавра, освящение лошадей, бега, купание

коней, ночное — все, что потом, много лет спустя, стало его «Купанием коней», «Праздником», «Ночным»... Художник хорошо знал и любил лошадей; сохранилось множество рисунков, эскизов, настоящих «портретов» лошадей. Иллюстрации к «Холстомеру» стали продолжением этой, одной из любимейших Пластовым тем.

Они сделаны как большая серия (с вариантами их около двадцати). «Утро на конном дворе», «Табунщик Нестор и Холстомер», «Холстомер на выгоне» (2 варианта), «Лошадь с сохой», «Холстомер начинает рассказ» (2 варианта), «Рождение Холстомера», «Выводка Холстомера», «Холстомер обгоняет Лебеда», «Выезд князя Серпуховского», «Холстомер узнает хозяина — старого князя» (2 варианта), «Драч, Васька и Холстомер» (2 варианта), «Волчиха с волчатами», «Конец Холстомера» (2 варианта) — вот сюжеты пластовских иллюстраций. Несмотря на то, что художник здесь почти точно следует основным эпизодам толстовской повести, большинство его листов — вполне самостоятельные композиции, картины, связанные с текстом общим смыслом и настроением. Таков, например, «Холстомер на выгоне» — поэтичнейшая картина раннего летнего утра с лошадьми на лугу, окутанном туманом; как характерные для Пластова сцены деревенской жизни сделаны гуашь «Утро на конном дворе» и акварель-гуашь «Табунщик Нестор и Холстомер». Иллюстрация «Холстомер обгоняет Лебеда» — почти точный фрагмент картины «Праздник» (бега), над которой художник начал работать в это же время.

В тексте повести, отточенном и предельно лаконичном, где каждое слово полновесно и емко, нет эффектных картин, живописной описательности, мало цвета. Но для художника, достоверно знающего эту жизнь, этой скупой точности вполне достаточно, чтобы создать живые, цветоносные композиции. Например, сцена выводки Холстомера. У Толстого она предельно проста и лаконична, его, прежде всего, интересует внутреннее состояние лошади. «Один раз меня проваживали вечером, в то время как табун гнали с поля. Я издали еще увидел облако пыли с неясными знакомыми очертаниями всех наших маток. Я остановился, несмотря на то, что веревка недоуздка, за который меня держал конюх, резала мне затылок, и стал смотреть на приближающийся табун, как смотрят на всегда потерянное и невозвратимое счастье...» (26, 18). Эпизод этот совпадает с излюбленной темой рисунков и эскизов Пластова. Красота, свободная пластика коня при выводке, величественный пейзаж с вырастающими из-за горизонта розовыми облаками — все здесь наполнено торжественной и звучной силой.

Интересно, что подробные натуралистические описания старости Холстомера не нашли адекватного отражения в пластовской интерпретации. В иллюстрациях «гадкая и величественная» старость лошади — прекрасна. Ведь по законам того живописного языка, на котором говорит Платов, даже самая старая, больная и жалкая лошадь — часть естества природы: на траве, под небом, озаренная солнцем, она гармонично вписывается в окружающий мир. И это, как ни удивительно может показаться, вполне соответствует художественной концепции Толстого, выражает суть

повести, ибо «Холстомер» — это гимн лошади, гимн жизни. Очень живописна и нарядна иллюстрация «Выезд князя Серпуховского». Она психологически точно соотносится с текстом повести. «У гусарского офицера я провел лучшее время моей жизни. Хотя он был причиной моей гибели, хотя он ничего и никого не любил, я любил его именно за это. Мне нравилось в нем именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил. Вы понимаете это наше высокое лошадиное чувство. Его холодность, его жестокость, моя зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. Убей, загони меня, думал я, бывало, в наши хорошие времена, я тем буду счастливее» (26,23).

Иллюстрация переносит нас в мир русского города второй половины XIX века. К парадному крыльцу желтого ампирного особняка подают легкие сани; ухоженная, изящная лошадь в поблескивающей ладной сбруе и с высокой дугой нетерпеливо гарцует. Возница в больших красных рукавицах, с красным лицом и большими черными усами, сдерживает коня, и, по контрасту к нему, — сухощавый с легким румянцем на бледном лице, в высокой гусарской шапке и темно-зеленом плаще с красным подбоем — князь Серпуховской. Он сходит с крыльца, натягивает белую перчатку. Сзади у полуоткрытых дверей — лакей с седыми бакенбардами. Вся эта картина погружена в розовато-сиреневый свет морозного зимнего дня.

Подобные сцены Платов мог еще застать в начале века в Москве, где учился в Училище живописи, ваяния и зодчества и, судя по некоторым сохранившимся эскизам того времени, ему были очень интересны лошади на городских улицах.

К финалу повести (12 главе) художник делает сразу три иллюстрации: «Драч, Васька и Холстомер», «Волчиха с волчатами» и «Конец Холстомера».

Все они спокойны, лишены какого-либо физиологизма. Особенно поэтична и умиротворенна картина раннего рассвета «в овраге старого леса» — «Волчиха с волчатами». Кажется, что художник с особой радостью писал этот независимый от человека, неподвластный ему мир. Травы, цветы — узнаваемые и как бы перенесенные сюда из пластовского «Сенокоса», мощные, выразительно написанные стволы деревьев — вся сумрачная и таинственная жизнь леса возникает перед зрителем. И это спокойное торжество природы как нельзя более соответствует настроению финала толстовской повести.

Платов очень любил толстовские народные рассказы. Их мудрость, занятность, емкая лаконичность и точность языка всякий раз поражали его. Иллюстрируются рассказы: «Много ли человеку земли нужно», «Лозина», «Кавказский пленник», «Охота плуге неволи».

К крошечному (чуть больше страницы) рассказу «Лозина», например, было сделано три больших листа: «Пчелиный рой», «Жнецы под лозиной», «Смерть лозины». В маленьком рассказе художник увидел историю Дерева, почувствовал особое течение времени — «Мужик — тот что посадил лозину, давно уже умер, а она все росла. Старший сын два раза срубал с нее сучья и топил

ими. Лозина все росла... И старший сын перестал хозяйничать, и деревню сселили, а лозина все росла на чистом поле...» (21, 158)

Едва ли не самый пронзительный, исполненный глубокого и вечного смысла рассказ «Много ли человеку земли нужно» не случайно привлёк внимание художника. К финалу рассказа он сделал две иллюстрации, которые сам комментирует в одном из писем.

«Первая — это Пахом в великом изнеможении, закрыв глаза, откинув голову, почти умирая, задыхаясь бежит на зрителя. Лево́й руко́й судорожно забирая рубаху на груди, он бежит вечереющей степью среди трав и цветов, и за ним, за багровой далью садится огненный шар солнца, касаясь пламенеющего горизонта. Небо залито солнцем и киноварью пышного и торжественного заката. Впечатление, нужно сказать, есть и как-то даже потрясает, особенно если знаешь, что еще минута, и этот человек умрет, и ни во что вменится ему прилежность к суете мира сего.

Вторая — финал. Первый план в редких травах, узкая полоса. Слева на зрителя лежит, уткнувшись в траву головой, выбросив руки вперед, Пахом. Он уснул навек, этот беспокойный, век несытый человек. Справа работник копает землю. К краю виден край тарантаса. Голубоватая тень стягивается к горизонту. Цепочка всадников. Это киргизы едут в свои кибитки. А над всей этой сценой встает величавое янтарное небо с клубящимися взлохмаченными громадами серо-синих туч с багровыми днищами над алой узкой полосой вдоль горизонта. Такой закат я видел ... как-то в августе и его тут и дал. На эту акварель нельзя смотреть без глубокого волнения. Даже не зная текста, попадая под воздействие одних декоративных эффектов, и то уже проникаешься какой-то мрачной и величественной экспрессией замысла»⁵.

Письмо, как бы переводящее словесные образы в зрительные, позволяет нам увидеть, как толстовский рассказ — такой скупой на живописные подробности в своем неумолимо развивающемся сюжете — наполняется у художника красками вечереющей степи и торжественного заката, и, удивительное дело, — эта «дерзость» живописца, осмеливающегося дополнять самого Толстого, не затемняет и не ослабляет гениальный текст. Пейзаж, увиденный в рассказе как бы глазами Пахома — «... земля вся ковыльная, ровная, как на ладони, черная, как мак... трава по груди...», — поражающий его не красотой, а лишь сулящий богатство, приобретает у Платова особый монументальный смысл. Ковыльная степь в иллюстрациях наполняется торжественным величием угасающего дня, последнего дня героя рассказа. Пахом, задыхаясь, закрыв глаза, бежит среди этого великолепия, среди трав и цветов, под «небом, залитым солнцем и киноварью». И трагичны эта его иступленность, эта слепота к истинному смыслу бытия.

На второй акварели Пахом уже мертв, из всей с таким трудом отмеренной земли ему нужно теперь только три аршина, а мир с цветами и травами, с «голубоватыми тенями, стелющимися к горизонту», с «янтарным небом» и всадниками вдаль живет своей непостижимой, древней и вечной жизнью. Сила и богатство живописного воплощения не противоречит здесь строгой простоте

толстовского текста. Выразительность пластовских образов в этих двух листах сомасштабна с замыслом великого писателя, сумевшего сказать в истории жизни и смерти крестьянина Пахома о вечных проблемах человечества.

Рассказ о мужике и для мужика вырастает у Толстого до вершин философского постижения бытия, и, конечно, это, а не просто близкий художнику деревенский материал привлекает Платова. У художника, как и у великого писателя, суть вещей неизмеримо более глубока, чем сюжет, и живой, конкретный образ раскрывает непреходящее нравственное содержание. Мастер отчетливо сознает свою близость к Толстому именно в этом философском прочтении его «притчи»: «Интересно только одно, что столь популярная, поистине народная вещь, как это произведение Толстого “Много ли человеку земли нужно”, некоторым, видимо, просто неизвестна, или, в лучшем случае, звучит глухо, не так, конечно, как рассчитывал великий Лев. Да и я, ваш покорный слуга. Но кто знает эту потрясающую повесть, тот остается очарован и моей скромной попыткой зримо показать заключительный момент этой великолепной драмы»⁶.

«Искусство, — писал Л.Н. Толстой, — должно сделать то, чтобы чувства братства и любви к ближним, доступные теперь только лучшим людям общества, стали привычными чувствами, инстинктом всех людей». (30, 195). И это через полвека находит созвучный отклик в размышлениях живописца о назначении своего ремесла: «Надо, чтобы человек непреходящую, невероятную красоту мира чувствовал ежечасно, ежеминутно. И когда поймет он эту удивительную громоподобность бытия — на все его хватит: и на подвиг в работе, и на защиту отечества, на любовь к детям, к человечеству всему. Вот для этого и существует живопись»⁷.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Платов А.А. Черновик письма Н. Соколовой. 50-е гг. Архив А.А. Платова.
2. Письмо Н.А. Платовой. 16 марта 1950 года. Там же.
3. Письмо искусствоведу В.И. Костину. 31 марта 1954 г. Там же.
4. Платов А.А. Автобиография// Платов А.А. Каталог произведений. Л.: Художник РСФСР, 1977. С.14.
5. Письмо Н.А. Платовой. 10 ноября 1952 года. Архив А.А. Платова.
6. Письмо Н.А. Платовой. 22 ноября 1953 года. Там же.
7. Платов А.А. Каталог произведений. С.21.

О.Е. Ершова

СТРАНИЦА ЖИЗНИ Л.Н. ТОЛСТОГО
(О фотографиях фирм «Отто Ренар» и «Ю. Мебиус»)

В начале статьи И.К. Грызловой «Фотографии в коллекции Е.Н. Никольской» («Яснополянский сборник», 1986 г.) были упомянуты снимки Толстого фотофирмы «Отто Ренар», запечатлевшие писателя 18 октября 1909 года — в день записи его голоса на граммофонные пластинки. Продолжаем рассказ об этом интересном эпизоде, который, наряду с другими документами, помогает нам воскресить фотографии, хранящиеся в Государственном музее Л.Н. Толстого.

Осенью же 1909 года в Москве, в музыкальном магазине на Кузнецком мосту, Льва Николаевича сфотографировал представитель фотоателье «Ю. Мебиус».

Снимки двух известных московских фирм объединяет не только время. Интересно взглянуть на них и в связи с техническими изобретениями в области звукозаписи и отношением к ним писателя.

В июне 1909 года Толстой закончил статью «О науке», где писал: «...трудно предположить, чтобы люди..., занятые вопросами истинной науки о том, что надо делать каждому человеку, чтобы жить хорошо, переделали бы все дела этой науки так, чтобы могли когда-нибудь на досуге заняться и аэропланами и тринадцатизатажными домами, и граммофонами, и взрывчатыми веществами, и подводными лодками, и всеми теми чудесами, которые даются теперь прикладными науками» (38,146).

Известно отношение Толстого к «чудесам» прикладных наук, высказывавшееся им неоднократно, с убийственной подчас иронией. Оно было однозначным и остро социальным («У иных лаптей нет, а тут автомобили»)¹. Однако в жизни он проявлял определенный, хотя и кратковременный интерес к тем или иным техническим изобретениям, некоторые из них даже вошли в обиход писателя.

В последние годы жизни Лев Николаевич охотно пользовался в своей работе подарком Эдисона — фонографом; писал автоматическими ручками, карандашом с электрической подсветкой, оттачивал карандаш механической чинилкой. Со слов мемуаристов, Толстой особенно и по-детски любил эти «удобные мелочи» отчасти из свойственного ему прирожденного любопытства, но

больше, вероятно, потому, что все они были подарены ему близкими людьми. Дорогостоящими же предметами роскоши Толстой явно тяготился.

Когда в 1903 году Сергей Львович и П.А. Сергеевко, по просьбе В.В. Стасова, впервые привезли в Ясную Поляну граммофон, бывший в ту пору «большой диковиной», Софья Андреевна сказала, что давно хотела его купить, да Лев Николаевич «все грозил его выбросить»². А спустя несколько лет Толстому пришлось не только принять этот дорогой подарок (в то время граммофоны стоили очень дорого), но и стать «жертвой» этого звукозаписывающего аппарата. Предыстория этого события кратко изложена в отрывке из воспоминаний ее очевидца, приведенном в упоминавшейся нами статье И.К. Грызловой.

17 октября 1909 года в Ясную Поляну прибыли директор русского отделения московской фирмы «Граммофон» А.Г. Михелес и механик Макс Гампе с аппаратом; от «Общества деятелей периодической печати» — поэт И.А. Белоусов и редактор газеты «Столичная молва» П.И. Митропольский; от фотографической фирмы «Отто Ренар» — фотографы Н.С. Никольский и Г. Рейнгарт.

Приехавшие остановились в деревне Ясная Поляна в избе старого крестьянина, бывшего дворового Толстых, Василия Васильевича Суворова. С ним они сфотографировались на память на крыльце его избы.

На другой день состоялась запись голоса Толстого. «Нынче утром очень рано проснулся, нервно возбужден, — записал он в дневнике. — Готовил к говорению в фонограф и говорил, и, слава Богу, мне все равно, как будут судить, одно побуждало: если уж попал, то хоть что-нибудь сказать, что хоть кому-нибудь как-нибудь сможет пригодиться» (57,153).

Для пластинок Толстой отобрал несколько афоризмов из составленного им сборника «На каждый день». Он проговорил их по-русски, французски, английски и, по просьбе немца-механика, по-немецки.

«Трудно я говорил в эту штуку, — вспоминал потом Толстой, — надо на известном расстоянии и притом читать. Несмотря на всю почтительность мне голову сзади пригибали к трубе»³.

Лев Николаевич выдержал и еще одну неприятность — позирование фотоаппарату. На первом же снимке мы видим его сидящим на скамейке в яснополянском парке и покорно позирующим Никольскому, «под жернов фотографического аппарата» которого он попал, возвращаясь с утренней прогулки»⁴. Вид у Льва Николаевича был слегка утомленный ... Не успел он войти в дом, как ему вновь пришлось подвергнуться «фотографическому испытанию»⁵. Пока он раздевался внизу, в передней, «фотограф успел перенести свой аппарат наверх, в столовую, — вспоминает И.А. Белоусов, — и как только Лев Николаевич вошел туда, снова обратился к нему с просьбой снять еще раз. “— Я Вас, Лев Николаевич, снял в шапочке, а теперь позвольте без шапочки?”

Лев Николаевич улыбнулся и покорно сел в кресло. Все время, пока фотограф сутился около аппарата: вставлял кассеты, накрыв-



Л.Н. Толстой. Ясная Поляна.
Фото фирмы «Отто Ренар».
19 октября 1909 г.

вался черной материей, поправлял блузу Толстого, двигал под ним кресло, — Лев Николаевич не делал никаких замечаний и внимательно следил за фотографом, потом обратился ко мне и сказал: “Я думаю, что это очень хороший фотограф!”

“Почему? — спросил я. — Ведь еще неизвестно, какие у него выйдут снимки...”

“Потому хороший, что уж очень серьезно относится к своему

делу: посмотрите, какой здоровый, крепкий человек, а занимается такими пустяками! Но на него весело смотреть, а потому тот, кого он снимает, всегда выйдет веселым..."»⁶

И Толстой на «карточке» Рейнгарда⁷ вышел веселым.

«Улыбающихся» портретов писателя очень немного. Преимущественно это любительские снимки В.Г. Черткова. Рассматривая их, мы видим, какой разной была улыбка у Толстого: от добродушной и едва заметной до саркастической и широкой, когда смеется все лицо, каждая морщинка.

На снимке фирмы «Отто Ренар» у Толстого улыбаются только одни глаза. Скорее, это даже не улыбка, а просто веселое выражение лица, оттого что забавно наблюдать, как сильный, крепкий мужчина (ему пахать бы!) с такой комической озабоченностью суетится возле фотоаппарата.

Снова щелкает затвор. Мгновение. И вот уже улыбка исчезла с лица Толстого. На другом, одновременно снятом портрете Лев Николаевич смотрит на фотографа серьезным, по-художнически острым, мудро печальным взглядом. Есть в нем и что-то осуждающее...

Встречи Толстого с профессиональными фотографами в последнее десятилетие его жизни были для него по существу непосредственным общением с осуждаемой им цивилизацией «для богатых». И отношение писателя к ней невольно отразилось в большей части его «официальных» портретов.

Обе фотографии запечатлели Льва Николаевича за несколько минут до или после записи его голоса на граммпластинки.

Почему Толстого не сфотографировали в момент записи или хотя бы рядом с записывающим аппаратом? Ответ на этот вопрос отчасти уже содержится в приведенном нами высказывании писателя о трудностях звукозаписи. Она была сложной, напряженной физически и психологически. Недаром в библиотеке, где она происходила, кроме механика, находился лишь директор фирмы «Граммофон». Остальные участники «экспедиции», чтобы не мешать, в это время пили кофе в столовой. Фотокамера Рейнгарда зафиксировала и этот момент.

По свидетельству Д.П. Маковицкого, «“фонографчики” томили Льва Николаевича вместо 20 минут, как обещали, целые часы. Он говорил в трубу, дыша отвратительным, пропитанным запахом масла и испарениями воздухом»⁸.

Как видно из воспоминаний Белоусова, фотосъемка также была довольно сложной и громоздкой. И если принять во внимание возраст и состояние здоровья Толстого, станет понятным, что вряд ли надо было совмещать обе операции: запись голоса и фотографирование.

Толстой утомился настолько, что едва не слег.

Всего фотографы сделали семь снимков. В их числе — три для стереоскопа⁹ и три упоминавшихся портрета Толстого, представляющие главную ценность этой маленькой серии.

В первом десятилетии двадцатого века портретная профессиональная фотография получила большое развитие, но, если можно так сказать, в количественном отношении. Значительно увеличи-

Фотограф Н.С. Никольский с женой.
Фото фирмы «Отто Ренар».
19 октября 1909 г.



лось число фотомастерских, занимающихся портретной съемкой, расширился круг их клиентов. Однако искусство портрета, несмотря на совершенствование техники, приемов работы, отличал довольно низкий уровень.

Столичное фотоателье представляло собой тогда мастерскую широкого профиля. Наряду с фотографированием, фирма «Отто Ренар», например, занималась цинкографией, фототипией, ксилографией и гальванопластикой.

Владелец мастерской, имя которого значилось на фирменном штампе фотографий, как правило, сам уже не снимал. Вследствие этого определить автора той или иной поздней профессиональной фотографии Толстого бывает весьма затруднительно, а иногда просто невозможно. Но даже в том случае, когда это удастся, он чаще остается для нас безликим в отличие от большинства снимавших Толстого любителей — людей близких писателю. Так, мы почти ничего не знаем об А.И. Мее и Н.И. Надымашине, фотографировавших Толстого по поручению фирмы «Шерер, Наболец и К^о», так же как и о Рейнгарде — представителе фирмы «Отто Ренар», если не считать отдельных живых штрихов его облика, сохранившихся в воспоминаниях И.А. Белоусова.

Н.С. Никольский, можно сказать, представляет в этом отношении редкое исключение.

Будучи совладельцем мастерской, он и фотографировал писателя сам, в том числе и в Ясной Поляне. Об этом свидетельствуют как потомки фотографа¹⁰, так и приведенные выше слова И.И. Митропольского.

Николай Сергеевич Никольский (1854 ? — 1926) происходил из интеллигентной семьи (его мать была учительницей). Внучка

фотографа, Елена Николаевна, точно не смогла сказать, какое образование имел дедушка, но по меньшей мере, по ее словам, гимназию он окончил. Работать начал продавцом в книжном магазине. После женитьбы стал фотографом-любителем. Заинтересовавшись фотографией всерьез, он вскоре оставляет магазин и в начале 1890-х гг. переходит на работу в фотографическое заведение «Отто Ренар». Оно занимало тогда три этажа в доме Бахрушина на Тверской улице.

Фирма делала успехи. В 1896 году экспонент фотовыставки Русского фотографического общества в Москве Ренар был награжден золотой медалью «За превосходные фотографические работы». Чуть позже экспонаты фирмы демонстрировались в Нижнем Новгороде на Всероссийской промышленной и художественной выставке. В рецензиях также отмечалось их безукоризненное выполнение.

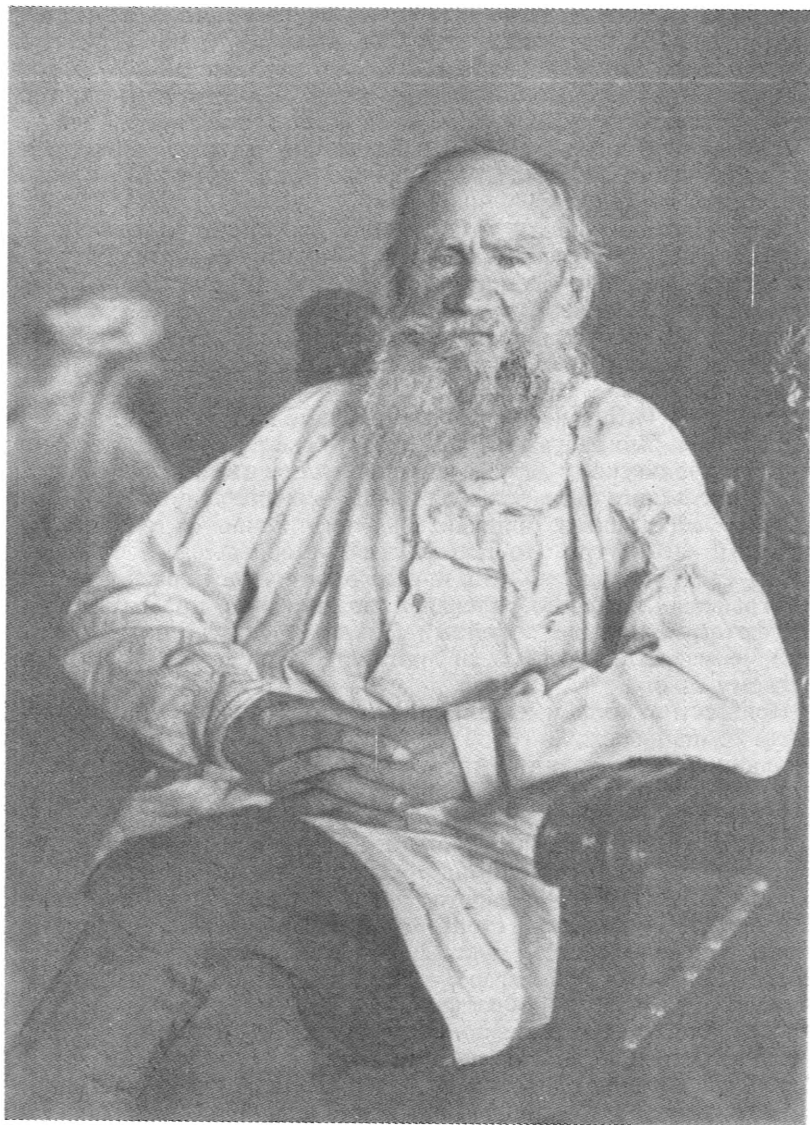
Наверное, Н.С. Никольский значился не на последнем счету у Ренара, если был избран членом первого съезда русских деятелей по фотографическому делу, состоявшегося в том же 1896 году.

У Никольского была большая семья — шестеро детей; поэтому работать, естественно, приходилось много. Ренар часто поднимал его в 5-6 часов утра. Но Никольский не обижался — он очень любил свою профессию. Да и семью почти всю он «заразил» фотографией. Особенно увлекался ею до конца жизни старший сын фотографа, ныне покойный Николай Николаевич Никольский, — известный советский лингвист, автор многих трудов по русскому языку.

Неизвестно, когда именно Ренар предложил Н.С. Никольскому стать компаньоном, но в 1909 году он им уже был. После революции Ренар уехал за границу. Фотоателье национализировали, а Николай Сергеевич, бывший в это время уже в преклонном возрасте, ушел на пенсию.

Перед нами его фотографии: отдельный портрет совсем еще молодого человека, два снимка с женой и детьми (начало 1900-х гг.) и, наконец, групповые фотографии 1909 года, снятые в Ясной Поляне, где Никольский стоит около избы Суворова и сидит за столом в яснополянском зале. Он невысок ростом (в отличие от своего помощника Рейнгарда), а лицо у него удивительно симпатичное: открытое, с добродушной лукавинкой. Толстому оно определенно должно было понравиться. Елена Николаевна говорит, что дедушка (а она помнит его уже тяжело больным, в параличе) был очень добрым. И, может быть, не случайно именно Никольскому Толстой, превыше всего ценивший это качество человека, адресовал дарственную надпись на своем «улыбающемся» портрете¹¹.

Перед отъездом из Ясной Поляны организаторы записи голоса Толстого преподнесли писателю граммофон, но Лев Николаевич решительно отказался принять дорогостоящий подарок. В начале 1910 года, по настоянию фирмы «Граммофон», П.А. Сергеевко вновь привез его в Ясную Поляну. В первый день Толстой проявил интерес к устройству «инструмента», о чем подробно расспрашивал Сергеевко. Граммофон остался в доме Толстого, заводила его



Л.Н. Толстой во время прослушивания инструмента «Миньон»
в музыкальном магазине Ю.Т. Циммермана. Москва.
Фото фирмы «Ю. Мебиус». 3 сентября 1909 г.

Софья Андреевна. Толстой же довольно быстро охладел к граммофону, а порой испытывал к нему даже что-то похожее на отвращение. «Все изобретения цивилизации удобны и интересны только сначала, — говорил он, — а потом надоедают. Вот хотя бы это,

— указал он на граммофон, — ведь это просто ужас!»¹². «Как противен этот граммофон и труба эта!» — сказал однажды Лев Николаевич. Все присоединились к его мнению, — пишет В.Ф. Булгаков, — и изобретению цивилизации порядочно досталось»¹³.

В феврале 1910 года тот же Булгаков записывает: «Начались разговоры о достоинствах и недостатках граммофона и вообще механических музыкальных инструментов. Лев Николаевич стал хвалить самоиграющее пианино «Миньон», передающее игру пианистов механически. Он слышал его в Москве.

— Недостаток его в однообразии: пьеса исполняется всегда одинаково, а живой человек играет всегда с разнообразными оттенками»¹⁴.

Так Толстой отозвался о механическом пианино немецкой фабрики Вельте, вспомнив, как почти полгода назад слушал инструмент в магазине Циммермана на Кузнецком мосту.

В начале сентября 1909 года проездом из Ясной Поляны в Крекшино, где в это время в имении родственников жил высланный из Тульской губернии В.Г. Чертков, Толстой, как известно, два дня (3 и 4 сентября) провел в Москве. В сентябре 1909 года писатель был в Москве последний раз. Его фотографии, снятые фирмой «Ю. Мебиус», — память об этом приезде.

3 сентября А.Б. Гольденвейзер записывает: «Я рассказал как-то Льву Николаевичу, еще в Ясной, про аппарат «Mignon», превосходно воспроизводящий игру пианистов. Лев Николаевич заинтересовался и сказал, что ему хотелось бы послушать. По дороге (в Москву) в вагоне я сказал Льву Николаевичу, что, если он хочет, я постараюсь устроить, чтобы завтра утром он мог послушать «Mignon» в магазине Циммермана. Он очень обрадовался и просил меня устроить это»¹⁵.

На следующее утро Гольденвейзер переговорил с управляющим музыкальным магазином Лембергом, которым предложение организовать прослушивание «Миньон» для Толстого «было встречено восторженно».

Приводим с некоторыми сокращениями запись Гольденвейзера от 4 сентября: «У Циммермана Льва Николаевича»¹⁶ встретили очень торжественно... «Mignon» поразил Льва Николаевича. Особенно восхитили его некоторые вещи Шопена (баллада *As-dur* и полонез *As-dur*) в исполнении Падеревского и вальсы Штрауса в исполнении Грюнфельда...

Слушая музыку, Лев Николаевич вскрикивал от восторга, ахал, слезы были у него на глазах. Я даже боялся, что излишнее возбуждение может ему повредить.

Лев Николаевич очень благодарил управляющего магазином и, кажется, расписался у них в каком-то альбоме. Приглашенный магазином фотограф (Фишер) снял две группы»¹⁷.

Вспомним, что перед самой поездкой на Кузнецкий мост Толстой совершил небольшую прогулку. «Лев Николаевич давно не был в Москве, — пишет Гольденвейзер, — и все его в ней поразило: высокие дома, трамваи, движение. Он с ужасом смотрел на этот огромный людской муравейник и на каждом шагу находил подтверждение своей давнишней ненависти к так называемой цивилизации»¹⁸.

Вот, думается, в чем причина отмеченной Гольденвейзером необыкновенной взволнованности Толстого во время прослушивания «Миньон». Известно, что музыка, которую Лев Николаевич, по его признанию, любил больше всех других искусств, нередко трогала его до слез. В том же удрученном состоянии, в каком он находился теперь, подавленный только что виденной им картиной городской жизни, Шопен, вальсы Штрауса — были для него как глоток свежей воды.

По поводу же самоиграющего пианино Толстой заметил, что «такой инструмент может принести пользу, если станет доступным простому человеку»¹⁹. Впоследствии в разговорах писатель не раз хвалил искусную технику. Но чрезвычайно чуткий к оттенкам и полутонам живой жизни, которые машина нивелировала, Лев Николаевич не мог не заметить этого ее существенного недостатка. Особенно он ощутил его в Крекшине, где наряду с пиано-Вельте²⁰, часто слышал игру живых музыкантов.

Упомянутая Гольденвейзером фамилия фотографа (Фишер), приглашенного для съемки Толстого администрацией музыкального магазина, поначалу ввела нас в некоторое заблуждение, поскольку это фамилия известного владельца фотоателье. Но на снимках, сделанных у Циммермана, стоит другое имя — «Ю. Мебиус». Поскольку обе фирмы находились буквально рядом («Фишер» — Кузнецкий мост, 11; «Ю. Мебиус» — Кузнецкий мост, 13), естественно было предположить, что Гольденвейзер просто ошибся. Однако в дальнейшем удалось установить довольно любопытное совпадение. Оказалось, что в мастерской «Ю. Мебиус» служил фотограф по фамилии Фишер с инициалами «И.К.» (раскрыть их не удалось), по-видимому, однофамилец или родственник К.А. Фишера — владельца соседнего ателье.

В фотомастерской «Ю. Мебиус», основанной в 1850 г., работали с 1900 г. уже другие фотографы, сохранившие, как тогда было принято, старое название фирмы.

Одновременно с групповыми снимками, о которых упоминает Гольденвейзер, И.К. Фишер сделал отдельный портрет Толстого.

Судя по растроганно-отрешенному выражению лица Льва Николаевича, портрет, а также одна из групп, сняты либо в момент прослушивания музыки, либо после, когда это выражение еще не «сошло» с лица глубоко взволнованного писателя. И в том и в другом случае мы имеем дело с уникальными снимками, запечатлевшими на лице Толстого чувства, которые вызывала в нем музыка. Этого драгоценного выражения нет ни на одной другой его фотографии.

Правда, существуют еще три групповые фотографии, аналогичные по сюжету, снятые В.Г. Чертковым: две из них тогда же у Циммермана и одна — в Крекшине, в сентябре 1909 года. Но на этих фотографиях не видно лица Толстого, его глаз: он снят в профиль. К тому же крекшинский снимок неудачен технически.

На отдельном портрете, сделанном Фишером, писатель изображен почти в фас. А это значит, что Толстой видел направленный на него объектив. Глядя на снимок, можно сказать так: смотрел, но не видел. Музыка действовала на Льва Николаевича настолько

сильно, что невольно заставляла его забыть об окружающем. Толстой умел «уходить в себя» в любой обстановке. Кстати, это подтверждают и другие его фотографии, для которых, как нам известно, он специально позировал.

Второй групповой снимок Фишера с точки зрения изображения Толстого менее интересен. Лев Николаевич снят с опущенными глазами рассматривающим, возможно, одно из рекламных изданий музыкальной фирмы, а возможно, тот самый альбом, в котором он, по словам Гольденвейзера, оставил свой автограф.

«Во время снимания Лев Николаевич настоял на том, чтобы служащие, находящиеся в зале, непременно снялись вместе с ним»²¹. И они, вместе с родственниками управляющего магазином Лемберга (сам он сидит рядом с Толстым), с радостью присоединились к писателю и сопровождавшим его лицам.

По фотографиям, снятым у Циммермана 4 сентября 1909 года, мы можем представить себе, как выглядел концертный зал на втором этаже магазина, где происходила демонстрация нового репродукционного музыкального аппарата для Толстого.

Над головой писателя, сидящего в кресле, висит картина, изображающая эпизод русско-японской войны.

В 1914 году музыкальный магазин, который посетил Лев Николаевич Толстой, постигла печальная участь многих немецких коммерческих заведений, разгромленных в годы первой империалистической войны. «Разъяренная толпа ворвалась в магазин и оттуда, через витрины второго этажа, летели на тротуар пианино и даже рояли и с адским грохотом, звоном и стоном разбивались в щепки»²², — пишет очевидец, писательница Наталья Кончаловская.

«Когда жизнь людей безнравственна..., — писал Толстой в дневнике в 1903 году, — то все технические усовершенствования, увеличение власти над природою: пар, электричество, телеграфы, машины всякие, порох, динамиты, робулиты — производят впечатление опасных игрушек, которые даны в руки детям» (54, 193).

Ненавидевший обездуховленную техническую цивилизацию, видевший в ней угрозу нравственному прогрессу, Толстой вряд ли мог предположить, каких страшных «высот» сможет она достичь в своем победном шествии и насколько опасными окажутся ее «игрушки»...

Писатель волновался перед записью во многом от того, что понимал силу устного звучащего слова, обращенного к огромной аудитории. Ему было что сказать людям. Но в выборе текста для пластинок он, к сожалению, должен был руководствоваться соображениями цензуры. Толстой обратился к мыслителям разных стран и веков, избрав несколько дорогих ему афоризмов философско-нравственного содержания, «просеянных через решето и сито времени».

С портретов смотрят на нас всеведущие глаза гения, современникам которого казалось, что, пока он жив, ничего страшного в мире не случится.

Имя Толстого служило надежной рекламой. Изречения, записанные на пластинку, были использованы на страницах граммо-

фонного журнала для рекламного объявления. Портрет писателя с его дарственной надписью Н.С. Никольскому был увеличен и выставлен в витрине фотоателье «Отто Ренар». Циммерман издал брошюру «Л.Н. Толстой и Миньон». Как всегда, коммерческие люди делали свое дело, попутно сохранив истории старые, технически несовершенные пластинки с голосом Толстого (их, увы, все реже приносят к нам в музей), и фотографии, составившие еще одну интересную страницу фотолетописи жизни писателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Замечание Толстого по поводу автомобильной гонки Москва — Орел 1910 года. См.: Маковицкий Д.П. У Толстого // Лит. наследство. Т.90. Кн. 4. С.240.
2. Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1960. Т.2. С.125.
3. Маковицкий Д.П. Указ. соч. С.101.
4. Митропольский Ив. В Ясной Поляне // Кривое зеркало. 1909. №4. С.8.
5. Мнения очевидцев разошлись. По свидетельству Митропольского, Толстого в столовой снимали не до, как запомнилось Белоусову, а после записи голоса писателя.
6. Белоусов И.А. Литературная среда. Воспоминания. М.: Никитинские субботники, 1928. С.225-226.
7. Судя по всему, Рейнгард, к которому относится высказывание Толстого, фотографировал при участии Н.С. Никольского.
8. См.: Маковицкий Д.П. Указ. соч. С.80.
9. На стереоскопических снимках запечатлены участники поездки на крыльце дома Суворова, дом Толстого со стороны террасы и яблоневый сад Толстых.
10. Значительную часть сведений о Никольском, использованных в настоящей работе, сообщили автору невестка фотографа Гликерия Тихоновна и ее дочь Елена Николаевна Никольские.
11. Толстой сделал следующую надпись: «Николаю Сергеевичу Никольскому. Лев Толстой 29 ноября 1909 г.»
12. Маковицкий Д.П. Указ соч. С.70.
13. Булгаков В.Ф. Толстой в последний год его жизни. М., 1960. С.93.
14. Там же. С.108.
15. Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. М., 1959. С.320.
16. Толстого сопровождали А.Л. Толстая, А.Б. Гольденвейзер, В.Г. и В.В. Чертковы и И.И. Горбунов-Посадов.
17. Гольденвейзер А.Б. Указ. соч. С.321.
18. Там же.
19. Лев Толстой слушает «Миньон» // Музыкальная жизнь. 1985. 23 дек.
20. Владелец магазина Ю.Г. Циммерман прислал «Миньон» в Крекшино на все время пребывания там Толстого, за что Лев Николаевич благодарил Циммермана в письме от 16 сентября 1909 г. См.: Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т.80. С.94.
21. Лакшин В.Я. Интервью и беседы с Львом Толстым. М., 1986. С.385.
22. Кончаловская Н. Портрет Жюльетты // Москва. 1984. №11. С.105.

Т.К. Поповкина

Л.Н. ТОЛСТОЙ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФОТОГРАФИЯХ М.А. СТАХОВИЧА

Государственный музей Л.Н. Толстого в Москве располагает богатейшей коллекцией снимков Толстого. Это собрание, создававшееся на протяжении последних шестидесяти лет его жизни, отражает в значительной мере историю русской фотографии.

Годы молодости писателя совпали с началом развития в России фотографии. Первый фотопортрет Л.Н. Толстого — дагерротип Шенфельда (изображение на металлической пластинке) появился в 1849 году, а первая фотография (на бумаге) — в 1856 г. в мастерской С.Л. Левицкого.

В 50 — 60-е годы прошлого века снимки производились сложным и неудобным мокроколлодионным способом. Фотографу приходилось самому делать негативы (обливать стекло химическими растворами) и в мокром состоянии закладывать их в фотоаппарат.

В начале 1870-х годов изобрели сухие негативы, которые можно было купить в магазине. Это упростило процесс получения снимков и постепенно привело к широкому увлечению любительской фотографией.

Первый любительский снимок Толстого сделан им самим. Это — известный его фотопортрет 1862 года, на котором С.А. Толстая написала: «Сам себя снял». Следующая любительская фотография Льва Николаевича (ее автор до сих пор не установлен) появилась через двенадцать лет, в 1874 году.

И только в 1880-е годы снято несколько серий фотографий князем С.С. Абамелек-Лазаревым, женой писателя С.А. Толстой и другом их семьи М.А. Стаховичем.

Михаил Александрович Стахович (1861 — 1923) принадлежал к богатой и образованной дворянской семье, где любовь к русской культуре, литературе и театру была семейной традицией. Его отец, например, был знаком с Н.В. Гоголем.

Стаховичи жили в Петербурге и в имении Пальна Орловской губернии, недалеко от Ельца, по соседству с Ясной Поляной. С Толстыми особенно дружили представители младшего поколения — Михаил Александрович и Софья Александровна.

«Миша Стахович, веселый, умный, образованный и очень способный молодой человек вносил в наш дом своим присутствием много веселья и содержания»¹, — вспоминала С.А. Толстая.

В конце 1880-х годов Михаил Александрович, по словам одного из посетителей дома Толстых, «представлял собою ... совсем молодого, цветущей наружности, изящного и интеллигентного джентльмена»². Таким мы его видим на фотографиях, сделанных им в Ясной Поляне осенью 1887 года.

Позднее М.А. Стахович стал орловским губернским предводителем дворянства и в период работы Толстого над романом «Воскресение» содействовал писателю в получении разрешения для осмотра орловской тюрьмы. С середины 1890-х годов он принимал активное участие в земском движении; в начале 1900-х гг. — депутат I и II Государственной Думы и член Государственного Совета. Толстой не раз обращался к Михаилу Александровичу с просьбой помочь лицам, пострадавшим от преследований царского правительства.

М.А. Стахович сочувственно относился и к идее «Посредника», а в 80-е годы переводил для издательства произведения Виктора Гюго и Тараса Шевченко. Он был одним из инициаторов и создателей в Петербурге Толстовской выставки 1909 года, а затем и музея писателя.

Симпатизируя Стаховичу как другу семьи, которого знал на протяжении многих десятилетий, Толстой скептически относился к его либеральной политической деятельности. Зять писателя, М.С. Сухотин, сообщает в своем дневнике о таком эпизоде: в Ясной Поляне обсуждали речь Стаховича к губернским предводителям дворянства, которую он произнес в Москве. «Заключительные слова речи: “За бога на костер! За царя на штыки! За народ на плаху!”

— А за двугривенный куда угодно,³ — иронически дополнил Лев Николаевич». Убийственная реплика Толстого передает его отношение к деятельности губернских предводителей дворянства и других власть имущих.

К мысли сфотографировать Толстого Михаил Александрович, видимо, пришел в 1886 году, возвратившись пешком из Москвы в Ясную Поляну. Весной того же года он и сын художника Ге сопровождали Толстого в этом нелегком «вуаяже», цель которого для писателя, по его словам, была «отдохнуть от роскошной жизни и хоть немного принять участие в настоящей» (85, 332). В течение шести дней Стахович был неразлучен со Львом Николаевичем, шел с ним рядом, останавливался на ночлег в одной избе, был свидетелем его общения с крестьянами.

«Когда его слушаешь, когда тебя давит это огромное богатство сил, ума, познаний, таланта, невиданного до сей поры миром, — писал М.А. Стахович в дневнике, который он вел во время путешествия пешком с Толстым, — иногда вдруг подумаешь, неужели, неужели, неужели вдруг... он вдруг упадет и навсегда! Его больше не будет никогда, никогда! И тогда глядишь на него, чтобы наглядеться, чтобы не забыть, чтобы память навсегда его сохранила в мельчайших подробностях, каким теперь его видишь...»⁴

После путешествия, отдохнув и переодевшись в Ясной Поляне, Стахович по дороге домой, в Пальну, сфотографировался в Ельце



Л.Н. Толстой в кругу родных. Слева направо: С.А. Толстая, Л.Н. Толстой, С.А. Берс, (брат С.А. Толстой), М.Л. Толстая и М.П. Берс (жена С.А. Берс). Ясная Поляна.
Фото М.А. Стаховича. 1887 г.

в ателье «Анели» в одежде странника: в лаптях и онучах, с вещевым мешком за плечами, с посохом и в длинной блузе Толстого. С одной стороны, в этом есть что-то от лицедейства, актерства: семья Стаховичей увлекалась театром, а Михаил Александрович играл в любительских спектаклях; с другой стороны, вполне понятно его желание сохранить «вещественную» и зримую память о таком важном событии в его жизни, как путешествие вместе с великим писателем. Можно представить, как Стахович жалел, что не догадался тогда сфотографировать Толстого.

Первое упоминание о желании приехать с фотоаппаратом в Ясную Поляну мы находим в его письме к С.А. Толстой от 12 июля 1887 года: «Можно мне приехать с аппаратом в Ясную Поляну? Я сниму Вас, снимающей еще кого-нибудь...»⁵

У Михаила Александровича уже был опыт фотографирования. С Софьей Андреевной, делавшей первые шаги в любительской фотографии, он делился и трудностями, и удачами: «Я не ловок... и очень мало времени могу уделить фотографии, — сообщал он в этом же письме, — а снимки мне стали удаваться все чаще и чаще»⁶.

М.А. Стахович открыто не решался сказать С.А. Толстой о



Л.Н. Толстой. Ясная Поляна.
Фото М.А. Стаховича. 1887 г.

своим намерением сфотографировать Льва Николаевича, поэтому в письмах к ней вел разговор вокруг да около. «Вы ни слова мне не пишете о своих занятиях фотографией. Не забросили ли Вы ее? Позвольте мне заняться с Вами, — дипломатично спрашивал он Софью Андреевну, — или разрешите мне привезти свою (фотографию — Т.П.) в надежде подзадорить Вас моими удачами. Торжественно обещаю никого не просить сниматься»⁷. Последняя приписка — вероятно, ответ на опасения С.А. Толстой, что фотографирование будет мешать Толстому работать и отдыхать.

Весной и летом 1887 г. Стаховича держали в Пальне хозяйственные дела, а в начале осени он сломал ногу и смог приехать в Ясную Поляну только 31 сентября, опоздав на серебряную свадьбу Толстых, которых мечтал поздравить именно 23 сентября. За неделю, проведенную в Ясной Поляне, Стахович отснял всю свою коллекцию снимков.

Племянница Софьи Андреевны, М.А. Кузминская, гостившая у Толстых в это время, в письме к отцу, А.М. Кузминскому, писала 2 октября 1887 года: «Стахович сегодня целый день снимал яснополянские виды, дом с группой, нас всех в солетудине⁸, деревню от конюшни, средний пруд и маленький пруд, а утром залу и всех за чайным столом»⁹.

С.А. Толстая в письме к П.И. Бирюкову от 5 октября этого года не только раскрыла содержание снимков Стаховича, но и главную цель его приезда с фотоаппаратом в Ясную Поляну: «... Гостит у нас молодой Стахович с фотографией и старательно снимает виды, группы, детей, прислугу, а то, чего ему больше всего хочется, — портрет Льва Николаевича, ему все не дается»¹⁰. Из двадцати снимков — на семи запечатлен Л.Н. Толстой (один и в группах). И все эти фотографии, на наш взгляд, получились интересными и значительными. Он снят в непринужденной домашней обстановке, одет в традиционную блузу или теплый халат, естественен и раскован.

Михаил Александрович выполнил свое обещание, данное в письме к С.А. Толстой, никого не просить позировать. Наверное, это обстоятельство и объясняет то небольшое количество фотографий, на которых снят Толстой.

Почти все снимки Стаховича жанрового характера: Л.Н. Толстой с родными за утренним чаем, в кругу семьи во время отдыха; дети писателя с няней и гувернанткой на прогулке и т.д. Даже два портрета Толстого сняты в жанровом ключе: Лев Николаевич со стаканом чая стоит в дверях. Исключение составляет снимок Толстого с дочерью Татьяной Львовной. Это удачный парный фотографический портрет. Он передает и значительность личности писателя и обаяние его старшей дочери, их взаимную симпатию.

На большинстве фотографий Стаховичу удалось запечатлеть простоту и задушевность жизни семьи писателя, возвышенность их интересов. Таков, например, снимок Толстого в семейном кругу с книгой в руках. Чтение вслух было любимым отдыхом в Яснополянском доме. Лев Николаевич часто читал отрывки из своих произведений, из книг любимых им авторов. В августе 1887 года он читал своим домашним «Мертвые души» Гоголя, а в начале

М.Л. и Т.Л. Толстые
и М.А. Кузьминская.
Ясная Поляна.
Фото М.А. Стаховича.
1887 г.



октября, когда была снята фотография, — «Коляску» и «Выбранные места из переписки с друзьями».

Стахович фотографировал в Ясной Поляне А.А. Фета, который в этот приезд читал Толстым свои новые стихи.

Сохранилось много свидетельств об игре Льва Николаевича в шахматы, и было сделано в свое время несколько снимков писателя, играющего в шахматы с разными лицами. М.А. Стаховичу принадлежит единственная фотография Толстого за игрой в шашки, сделанная осенью 1887 года. По свидетельству брата С.А. Толстой, Степана Андреевича Берса, гостившего в это время в Ясной Поляне, Лев Николаевич играл иногда в шашки со своими младшими сыновьями и племянниками. Об этом упоминает и В.М. Величкина, работавшая вместе с писателем на голоде в Бегичевке в 1892 году. «Окончив дневную работу, нередко Лев Николаевич садился играть в шашки со стариком-поваром в маленькой буфетной»¹¹, — писала она.

В 1887 году Михаилу Александровичу исполнилось двадцать шесть лет. Он был молод, жизнерадостен, с чувством юмора, и ему было весело в семье Толстого, старшим детям которого он приходился почти ровесником. Многие озорное и веселое, что он подмечал в Ясной Поляне, нашло отражение на его снимках: младшие сыновья Толстого, Андрюша и Миша, уселись верхом на ширме в зале и были пойманы в объектив; дочери писателя,



М.А. Стахович с прислугой Толстых
Агафьей Михайловной. Ясная Поля-
на. Фрагмент

Фото М.А. Стаховича. 1887 г.

Татьяна Львовна и Мария Львовна, с двоюродной сестрой Машей Кузминской взобрались на каменную ограду и тоже попали в кадр. Об этом снимке С.А. Толстая писала: «Мои две дочери и Маша (Кузминская — Т.П.) составляли такой радостный элемент в доме, что нельзя было ими не восхищаться. Приехавший в то время гостить к нам Михаил Александрович Стахович назвал этих веселых девочек — табунком и, в числе других, снял с них фотографию, где они сидят на каменной ограде. Уехав, он написал стихи:

Помяните добрым словом
Вы того, кто улетел,
Коль в усердьи бестолковом
Я не очень надоел.

Пусть к моей бродячей доле
Граф не очень будет строг,
Пусть меня, резвясь на воле,
Не растопчет табунок»¹²

М.А. Стахович был демократичен в общении с людьми, с удовольствием фотографировал прислугу, с иными из них у него

сложились трогательные отношения, как, например, с престарелой Агафьей Михайловной — бывшей крепостной горничной бабки Л.Н. Толстого. После смерти барыни она на дворне ходила за овцами, позднее «управляла» псарней. Агафья Михайловна так любила собак, что ее прозвали «собачьей гувернанткой». Иногда она тайком кормила собак перед охотой. ««Опять накормила?» — сердито спрашивал (Толстой — Т.П.), глядя на вздутые животы собак... “Нельзя же, Лев Николаевич, целый день собаке не евши пробегать, право”, — огрызалась Агафья Михайловна»¹³. Вообще, она любила все живое и была самобытным человеком. С тех пор, как ее помнил Толстой, она жаловалась, что растет в ней береза от живота кверху, подпирает в грудь и мешает дышать. «Лежу я одна тихо, только часы на стене тикают: кто ты, что ты, кто ты, что ты — я и стала думать: кто я, что я? И так всю ночь об этом продумала ... Ведь это... — познай самого себя, ведь это Сократ!»¹⁴, — говорил с восторгом Лев Николаевич.

На фотографии, сделанной Михаилом Александровичем, мы видим Агафью Михайловну, высокую, худую старуху с тонкими чертами лица (в молодости она была красавицей), С.А. Берса и самого фотографа, целующего старую собашницу. Приезжая в Ясную Поляну, он всегда привозил ей гостинцы, а каждый год ко дню рождения присылал телеграмму, которая доставляла Агафье Николаевне неизъяснимую радость.

На некоторых снимках Стахович сфотографировался с Толстыми. На оригиналах хорошо видно, что в его руке зажата «груша» аппарата и от нее тянется фотографический шнур. Михаил Александрович, видимо, в последнюю минуту присоединялся к группе, на которую направлен объектив, и, рассчитав выдержку, нажимал на «грушу». Конечно, Стаховичу очень хотелось «увезти» из Ясной Поляны не только снимки Толстого, его гостеприимной семьи, дома, парка, но и самому остаться навсегда с Толстыми на фотографии в Ясной Поляне.

«Стахович уехал сегодня, снявши всех и все на 36 пластинок. Мне обещано по экземпляру»¹⁵, — писала М.А. Кузминская 7 октября 1887 года. До нас дошло более двадцати сюжетов, остальные, возможно, не получились.

Помимо фотографий Л.Н. Толстого, его семьи, гостей, Михаилу Александровичу удались интерьеры. Это самые ранние интерьеры дома писателя. Вообще, Стахович был первым любителем, снявшим Льва Николаевича и его семью в интерьере яснополянского дома. В пейзажах он стремился запечатлеть прелесть, уникальность парка в Ясной Поляне. Особенно привлекательны снимки Нижнего пруда и въездной аллеи — «Прешпекта» — с ее удивительной красоты березами.

Интересны также фотографии, на которых мы видим младших сыновей Толстого у яснополянского дома, когда еще не было крыльца и террасы, пристроенных только через пять лет, в 1892 году.

Миша и Андрюша сидят на лошадях без седла, на потниках. Лев Николаевич приучал сыновей с малых лет ездить без седла и

без стремян, чтобы они привыкли держать равновесие. Кроме того, падение с неоседланной лошади менее опасно.

Фотографии работы Стаховича не парадные, на них запечатлены моменты повседневного яснополянского быта, без прикрас и ретуши. Михаил Александрович снимал Толстого, его семью, Ясную Поляну такими, какими их любил и видел. Коллекция эта, емкая по разнообразию сюжетов, по содержанию, показывает жизнь в Ясной Поляне сравнительно широко и содержит большой познавательный и эмоциональный заряд.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Толстая С.А. Моя жизнь. Рукопись. Хранится в ГМТ.
2. Иванов Н.И. У Л.Н. Толстого в Москве в 1886 г.//Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978. Т.1. С.387.
3. Сухотин М.С. Дневник//Лит. наследство. М., 1961. Т.69. Кн. 2. С.150.
4. См.: Шумова Б.М. Из дневника М.А. Стаховича//Октябрь. 1978. № 8. С.221.
5. Стахович М.А. Письмо к С.А. Толстой от 12 июля 1887 г. (ГМТ).
6. Там же.
7. Стахович М.А. Письмо к С.А. Толстой от 10 сентября 1887 г. (ГМТ).
8. От французского слова *soletude* — «одиночество».
9. Кузминская М.А. Письмо к В.А. Кузминской от 2 октября 1887 г. (ГМТ).
10. Толстая С.А. Письмо к П.И. Бирюкову от 5 октября 1887 г. Цит. по сб. «Прометей», 1979. С.336.
11. Величина В.М. В голодный год с Львом Толстым. М.-Л., 1928. С.73.
12. Толстая С.А. Моя жизнь (ГМТ).
13. Цит. по кн.: Толстой И.Л. Мои воспоминания. М., 1969. С.102.
14. Там же. С.51.
15. Кузминская М.А. Письмо к А.М. Кузминскому от 7 октября 1887 г. (ГМТ).

Н.П. Пузин

ИЗ ИСТОРИИ ЭКСПОНАТОВ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

I

На страницах «Яснополянского сборника» в 1982 г. была напечатана статья Л.В. Щербухиной — «Драгоценные миниатюры», в которой автор говорит о двух миниатюрных портретах работы Л.Д. Крюкова из собрания Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве. Мы же делаем попытку рассказать еще о трех миниатюрах того же художника, сохранившихся в Ясной Поляне.

С момента возникновения и до середины XIX в. миниатюра была распространена в дворянских семьях, она переходила из поколения в поколение и в течение многих лет сохранялась в усадебном быту. Миниатюру заключали в рамку, закрывали стеклом, вставляли в табакерки, в перстни и т.д. Рамки, ободки, футляры, крышки, медальоны должны были соответствовать драгоценному памятнику, который надлежало беречь для владельца и для потомков как фамильную, родовую ценность.

В романе «Война и мир» Толстой говорит о коллекции табакерок, «которая была у покойного отца Пьера Безухова» (9, 249), а в главе XII эпилога романа замечает: «... подарки состояли из прекрасной работы футляра для карт ... и из золотой табакерки с портретом графа, который Пьер заказывал в Петербурге миниатюристу (графиня давно желала этого...). Ей не хотелось теперь плакать, и потому она равнодушно посмотрела на портрет...» (12, 278).

В яснополянском кабинете писателя сохранилась довольно полная коллекция миниатюр с изображением Горчаковых, Волконских, Трубецких, Толстых. Эти портреты размещены на четырех створках настольных ширмочек, которые для Толстого сделал домашний учитель В.И. Алексеев.

Известно, что Толстой очень дорожил этим собранием и «сидя в своем кабинете, — по воспоминаниям В.И. Алексеева, — раскладывал перед собою свои фамильные портреты и рассматривал их, уносясь, вероятно, мыслью в те времена, когда жили его предки. Портреты эти были сделаны из фарфора в виде овальных медальонов и покрыты эмалью. Берет он их в особом ящичке-шкатулке. Для избежания порчи этих портретов, по-видимому, дорогих для Льва Николаевича, я решительноному ремеслу и сделать для них

складные ширмочки на стол. Ширмочки эти были сделаны из черного дерева в четыре створки. Верх украшен был узорной выпилкой, а на верху каждого столбика были выточены небольшие вазочки. Портреты были врезаны в ширмочки по порядку, указанному Львом Николаевичем, не нужно было вынимать и опять укладывать дорогие для него портреты. Они постоянно были у него на глазах»¹.

Помимо этого родового собрания, сохранившегося в Ясной Поляне, у Толстых было еще несколько миниатюр и шкатулка красного дерева, в виде дорожного письменного несессера, принадлежащая, по семейному преданию, матери писателя. На верхней крышке ее в овалах помещены пять миниатюр, изображающих членов семьи и родственников².

Большинство миниатюрных портретов в Ясной Поляне не имеют обозначенного авторства, однако на трех миниатюрах, сохранившихся в доме-музее, есть подпись художника Льва Дмитриевича Крюкова (1783- 1843). Они сделаны в Казани, где дед писателя Илья Андреевич Толстой (1757-1820) был гражданским губернатором с 1815 г. до 1820 г.

Среди казанских художников того времени талантливый и плодовитый Л.Д. Крюков был очень популярен. Он много лет служил учителем рисования и живописи при Казанском университете. Его портреты, исполненные в традиции миниатюры первой четверти XIX века, получили широкое признание. Интерес к такому виду миниатюр был в те годы в Казани, вероятно, достаточно велик. Пейзажные картины не пользовались столь большим спросом, как портреты, и охотников заказывать их было много. Нет сомнения, что И.А. Толстой пожелал, чтобы художник запечатлел его и членов его семьи. На миниатюре Илья Андреевич изображен в темном сюртуке, белом жилете со стоячим воротником, высоким белом галстуке, белом жабо. Полное лицо, короткие редкие волосы с проседью. Подпись по правому краю: «Л. Крюков».

В четырехугольнике со срезанными углами, золотой ободок, под стеклом. Миниатюра исполнена акварелью с белилами на кости, в характерной для художника сдержанной гамме, на светлом серо — голубом фоне.

В «Воспоминаниях» Л.Н. Толстой говорит о своем деду, что он был «человек ограниченный, очень мягкий, веселый и не только щедрый, но бестолково мотоватый, а главное — доверчивый. В имении его Белевского уезда ...шло долго не переставшее пиршество, театры, балы, обеды, катанья, которые, в особенности при склонности деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть, и при готовности давать всем, кто просил, и займы, и без отдачи, — кончилось тем, ...что дед должен был выхлопотать и взять, что ему было легко при его связях, место губернатора в Казани» (34, 359).

«В дальнейшем, — как отмечает Н.Н. Гусев, — пятилетнее губернаторство И.А. Толстого в Казани не ознаменовалось какими-либо значительными мероприятиями»³. И.А. Толстой умер 21 марта 1820 года и похоронен в Кизичевском монастыре в Казани.

Жена И.А. Толстого Пелагея Николаевна, урожденная Горчакова (1762-1838), изображена на миниатюре в синем платье с белым кружевом на воротнике, белом чепце с рюшем и синим бантом на голове. На плечах белая шаль с светлозеленой турецкой каймой. Фон — светло-серый. Подпись по левому краю: «Л.Крюковъ».

Форма миниатюры — восьмиугольная, с золотым ободком, застеклена. Изображение сделано художником акварелью и гуашевыми красками на кости.

Именно такой запомнил ее и внук Л.Н. Толстой, который в своих «Воспоминаниях» дает словесный портрет Пелагеи Николаевны: «Сидит, бывало, бабушка, с своим длинным подбородком в чепце с рюшем и бантом, на диване и раскладывает карты, понюхивая изредка из золотой табакерки... В Казани бабушка выдала меньшую дочь Пелагею за Юшкова, старшая Александра, еще в Петербурге была выдана за графа Сакена. После смерти мужа в Казани и женитьбы отца моя бабушка поселилась с моим отцом в Ясной Поляне, и тут я застал ее уже старухой и хорошо помню ее» (34, 358-359).

На третьей миниатюре, также написанной художником Л.Д. Крюковым, изображен отец писателя Николай Ильич Толстой (1794-1837), вероятно, в 1819 году, когда он по болезни был уволен в отставку с награждением его чином подполковника и приехал в Казань. «Отец был среднего роста, — читаем в «Воспоминаниях» сына, — хорошо сложенный, живой сангвиник, с приятным лицом и с всегда грустными глазами» (34, 355). На миниатюре, неяркой по тону, хорошего рисунка, Н.И. Толстой изображен в черном мундире с красным воротником, с серебряным прибором (пуговицы, шитье воротника, аксельбанты, эполеты без звездочек). На левой стороне груди орден св. Владимира 4 степени с бантом. Лицо бледное, черные усы. Темные вьющиеся волосы. Фон серо-голубой. Также подпись по левому краю: «Л. Крюковъ».

Миниатюра исполнена акварелью на кости. В восьмиугольнике из золоченой бумаги с выбивным рисунком и в круглом ободке под стеклом.

«После кампании отец, — пишет Толстой, — разочаровавшийся в военной службе — это видно по письмам — вышел в отставку и приехал в Казань, где, совсем уже разорившийся, мой дед был губернатором... Дед скоро умер в Казани же, и отец остался с наследством, которое не стоило всех долгов, и с старой, привыкшей к роскоши матерью, сестрой и кузиной на руках...» (34, 355).

Известно, что некоторые черты из жизни Н.И. Толстого отражены в судьбе Николая Ростова в «Войне и мире». Так, например, в эпилоге романа мы читаем: «Положение денежных дел через месяц после смерти графа совершенно обозначилось, удивив всех громадностью суммы разных мелких долгов, существования которых никто и не подозревал. Долгов было вдвое больше, чем имения... А чтобы за оставшиеся долги не быть посаженным в яму, чем ему угрожали кредиторы, он снова поступил на службу. Ехать а армию, где он был на первой вакансии полкового командира, нельзя было потому, что мать теперь держалась за сына, как за

последнюю приманку жизни, и потому... он взял в Москве место по статской части и, сняв любимый им мундир, поселился с матерью и Соней на маленькой квартире, на Сивцовом Вражке» (12, 248).

В декабре 1821 года Н.И. Толстой приехал в Москву, поступил на службу «смотрительским помощником» в Московское военно-сиротское отделение. Эта скромная должность спасала его от долговой ямы, которая грозила ему, за долги отца. 9 июля 1822 года Н.И. Толстой женился на княжне М.Н. Волконской, и начался новый период их жизни в Москве и в Ясной Поляне.

Биография Н.И. Толстого, к сожалению, еще мало изучена, — она предмет специального исследования. Хочется лишь отметить, что он близко был знаком со многими декабристами и людьми, разделявшими их взгляды⁴. Его сверстником и соседом по яснополянскому имению был А.М. Исленьев, большим другом — П.И. Колошин, женатый на родственнице Толстых. Н.И. Толстой был в родстве с декабристами С.П. Трубецким, С.Г. Волконским, Ф.П. Толстым, служил в одном полку с А.А. Алябьевым, А.С. Грибоедовым и др⁵.

II

Во времена губернаторства И.А. Толстого в Казани, там, кроме миниатюриста Л.Д. Крюкова, жил еще модный в те времена художник-портретист Карл Вильгельм Барду (ум. 1840 г.).

В «Казанских известиях» (1812, № 40) было напечатано объявление: «Приезжий из Москвы иностранец, артист-живописец господин Барду имеет честь предлагать свои услуги здешнему почтеннейшему дворянству. Он с натуры пишет портреты сухими и водяными красками, также и миниатюрные портреты, за весьма умеренную цену. Он постарается заслужить благоволение здешней публики. Имеющие в нем надобность могут спросить его на Воскресенской улице, в Шварцевом трактире, или в доме купца Крупинкова»⁶.

Биографические сведения о Л.Д. Крюкове и К.В. Барду чрезвычайно скупы, но без сомнения, живя и работая в Казани в одно и то же время, они влияли друг на друга в своем творчестве, взаимно обогащая друг друга.

По-видимому, Барду вполне «заслужил благоволение» казанского дворянства, в том числе и в семье губернатора. Он выполнил пастелью портрет самого И.А. Толстого⁷, его сына Н.И. Толстого⁸ и младшей дочери П.И. Толстой. Эти портреты сохранились в яснополянском доме-музее. На одном из них мы видим деда писателя одетым в черный сюртук, белый жилет с высоким воротником. Седые, редкие волосы зачесаны наперед. На лице еще не отразились неприятности, невзгоды, бедствия, которые сопутствовали ему на посту гражданского губернатора Казани. На упомянутой выше миниатюре Л.Д. Крюкова дед Толстого выглядит значительно старше, чем на портрете Барду, и мы можем предположить, что этот портрет был исполнен художником, видимо, в 1815 году, в первый год губернаторства Толстого. Та же

разница в возрасте, не менее пяти лет, обнаруживается при сравнении подобных портретов отца писателя — Н.И. Толстого. К.В. Барду изобразил его молодым человеком в черном сюртуке, белом жилете, белой рубашке с высоким стоячим воротником. На шее белый платок и жабо. Темно-каштановые волосы зачесаны на левую сторону. Выражение лица несколько печально, особенно глаза.

Овальный портрет, выполнен пастелью в мягких тонах, на светло-сером фоне.

П.И. Толстая (1801-1875) изображена на портрете девушкой, до ее брака в 1818 году с казанским помещиком В.И. Юшковым (1789-1849). Одета она в белое декольтированное платье с голубым поясом по высокой талии. Короткие каштановые волосы. Карие глаза. Фон серо-коричневый. В овале.

Все три портрета не датированы, как и большинство работ художника. Вероятно, они были выполнены одновременно в 1815 году, когда отец писателя заезжал к родителям в Казань перед поступлением в кавалергардский полк. Долгие годы эти портреты хранились у родной племянницы И.А. Толстого, камер-фрейлины, двоюродной тетки Толстого Александры Андреевны Толстой (1817-1904) в Петербурге, а после ее смерти они были переданы в Ясную Поляну. Софья Андреевна записывает в дневнике 26 мая 1904 года: «Сегодня я с Сашей разбирала вещи, которые графиня Александра Андреевна Толстая оставила своей крестнице Саше после своей недавно постигшей ее кончины. Там и мне, и Тане, и Сереже, и Льву Николаевичу по вещице...»⁹. В числе вещей были и портреты. В 1911 году, составляя опись вещей «большого дома», С.А. Толстая записала: «Портреты графа Ильи Андреевича и Николая Ильича, портрет Юшковой, рожденной гр. Толстой», а в описи 1918 года отмечает: «Три портрета пастелью, один женский, два мужских семьи Толстых, присланные мне гр. Алек. Андр. Толстой со словами: »Передайте это Софи, у нее будет цело". Рамки заказывала я, Софья Андреевна»¹⁰.

Кроме портретов Толстых, в Казанский период Барду создает еще целый ряд изображений местной знати. Лучшими из них являются семейный портрет Энгельгардтов и портрет поэта-радищевца С.А. Москательникова (1768-1852)¹¹. Он служил советником губернского правления и был ближайшим помощником И.А. Толстого, вместе с ним пострадавшего в 1820 году.

Однако наибольшую историческую ценность для нас представляют описанные выше портреты Толстых из их семейного собрания в Ясной Поляне.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Алексеев В.И. Воспоминания. Летописи Гос. лит. музея. Т. 2. Л.Н. Толстой. М., 1948. С. 285.

2. В настоящее время находится в Гос. музее Л.Н. Толстого в Москве.

3. Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954. С. 22.

4. См.: Эйхенбаум Б. Легенда о зеленой палочке// Огонек. 1950. № 47. С. 23-24;

Азарова Н. Строка о Пестеле// Прометей, 12. М., 1980. С. 17 — 34; Азарова Н. Пути жизни. Декабристы — Пушкин — Толстой// Октябрь. 1987. № 1. С. 172 — 180.

5. ЦГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 2278, л. 131.

6. Цит. по кн.: Пигарев К. Мураново. М., 1957. С. 76.

7. Портрет И.А. Толстого работы К.В. Барду был в 1953 году отправлен для реставрации в Центр. реставрационные мастерские им. ак. И.Э. Грабаря. В 1984 году портрет экспонировался в Москве на выставке «Реставрация музейных ценностей СССР».

8. Портрет Н.И. Толстого работы К.В. Барду воспроизведен в кн.: Врангель Н.Н. Старые усадьбы ... Спб., 1910.

9. Толстая С.А. Дневники (в двух томах). Т.2, М., 1978. С. 102.

10. Архив музея — усадьбы Ясная Поляна, л. 15, с. 11 и 13. Дубовые желтые рамы и монтировка 1900 — х годов. Все три портрета в сером картонном паспарту с овальным вырезом.

11. Портрет С.А. Москательникова работы К.В. Барду воспроизведен в журнале «Среди коллекционеров», 1923, июнь — октябрь, с. 14 — 20. Гос. лит. музей, Москва.

Т.В. Комарова

ГЕРБ РОДА ГРАФОВ ТОЛСТЫХ

От своих предков Л.Н. Толстой получил металлическую печать с фамильным гербом графов Толстых, которая в настоящее время хранится в Доме-музее Л.Н. Толстого за номером 4647, (размер 5 × 1,8).

Род Толстых древний¹. Первое упоминание о нем относится к XVI веку. Родоначальником рода своего Толстые по праву считают Петра Андреевича Толстого (1645 — 1729), служившего при Петре I. Ему в 1724 году царем был пожалован титул графа. «Диплом на графское достоинство» П.А. Толстой получил 30 августа 1725 года.

Герб рода графов Толстых состоит из щита, разделенного на семь частей: три вверху, три внизу, одна в центре, — и расположенных над щитом трех шлемов.

Основу герба составляет центральная часть, свидетельствующая о древности этого рода. На голубом поле горизонтально располагается золотая сабля, диагонально — серебряная стрела, продетая концами крестообразно сквозь кольцо золотого ключа. Над ключом с левой и правой сторон — распростертое белое крыло русского императорского орла.

В первой верхней части герба — поле «золотое», в нем расположена половина российского императорского орла, обращенного слева направо. Это символ графского достоинства российской империи.

Во второй верхней части — поле «серебряное», в нем крест святого апостола Андрея, «лазоревого», означающий, что Петр Андреевич Толстой первым в его роду 21 марта 1722 года был награжден орденом Святого Андрея Первозванного.

В третьей верхней части герба — на «горностаином» поле — золотой маршальский посох императорского двора, означающий, что Петр Андреевич Толстой был верховным маршалом во время коронации Екатерины I в Москве 7 мая 1724 года, а по учреждении 13 мая 1727 года «Доимочной канцелярии» был назначен ее директором. В выписке из «Диплома на графское достоинство» говорится: «Посох золотой маршальский нашего императорского двора прямо стоящий знаменует, что он был верховный маршал, директор во всех учреждениях и Августейших церемониях, бывших при Нашей торжественной коронации в Москве»¹.

В первой из трех нижних частей герба на шахматном поле размещена княжеская корона на середине зеленого столба. Это свидетельство того, что Петр Андреевич Толстой оказал большую услугу Петру I, поехав по его поручению в Неаполь, где под покровительством австрийского императора скрывался царевич Алексей Петрович, и, как ни трудно было, уговорил его вернуться в Москву. Затем, будучи сенатором, был привлечен к следствию над царевичем и, вместе с Меньшиковым, Апраксиным, Головиным, Долгоруким и другими, допрашивал Алексея Петровича и подписался под его смертным приговором. «Поле шахматное, серебряное с красным, в котором корона княжеская наложена на середину столба зеленого, во особое вечное свидетельство учиненной от него великой услуги».

Во второй нижней части герба на красном поле справа налево расположен золотой столб, разделенный поперек тремя «глобусами», а в верхней правой части этого поля — золотая полярная звезда. Это знаменует придворный и военный чин Петра Андреевича Толстого. С 1671 по 1676 годы он был стольником царицы Натальи Кирилловны, затем получил чин стольника «государева», был капитаном гвардии; с 1718 по 1721 гг. — президент учрежденной Петром I 17 декабря 1717 г. коммерц-коллегии.

В ноябре 1701 г. П.А. Толстой получил назначение послом в Турцию. Когда Турция решила начать войну против России, в ноябре 1710 г., П.А. Толстой был схвачен и заключен в семибашенный замок «Едикюле», где просидел 17 месяцев до 5 апреля 1712 года. В декабре 1712 года турецкий султан стал требовать, чтобы русские войска очистили Польшу, угрожая России войной. Ввиду неисполнения этих требований, были заключены в семибашенный замок Толстой, Шафиров, Шереметьев. В июне 1714 года, лишь после того, как освобожденные в марте 1713 года Толстой и Шафиров успешно провели переговоры с Турцией, П.А. Толстой вернулся в Россию. В третьей нижней части герба рода графов Толстых в ознаменование этого изображена семибашенная крепость «Едикюле».

На щите располагается присвоенная графским гербам золотая корона с девятью перлами; над ней — три шлема, в которых повторяются заслуги П.А. Толстого перед государем и отечеством. «На щите графская корона и на ней три шлема. Средний шлем серебряный; на нем корона графская; на короне российский двуглавый орел, а на орле перпендикулярно поставленный золотой жезл и на жезле также российский двуглавый орел. Правый шлем — железный; на нем дворянская корона, и на ней два крыла; левое серебряное, правое голубое, и на сем последнем крыле сабля; стрела и ключ тех же цветов и в том же виде, как на родовом гербе дворян Толстых. Левый шлем железный, на нем турецкая зеленая чалма, украшенная перлами; на чалме башня с полумесяцем; правая сторона башни серебряная, левая зеленая. Из башни выходит вправо согбенная рука, держащая золотое перо. По сторонам чалмы две турецкие трубы, правая красная, левая золотая. Намет справа золотой, подложенный красным. Щит держат две борзые собаки, знаменуя скорый и верный в делах успех»¹.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. на эту тему: Лакиер Александр. Русская геральдика. Кн. 1 — 2, СПб, 1855, с. 581 — 584. (Сведения о гербе рода графов Толстых приводятся по этому изданию) См. также: Словарь достопамятных людей русской земли, составленный Бантыш — Каменским. Ч. III, СПб, 1847, с. 428; Российская родословная книга, издаваемая кн. Петром Долгоруковым, ч. II. СПб, 1855, с. 136; Модзалевский Б.Л. Род графа Л.Н. Толстого. Петроград, 1917, с. 22.

2. Так в цитируемом тексте. На приложенной фотографии герб представлен в зеркальном отражении: правый шлем на печати соответствует левому на фотографии.

3. Российская родословная книга ... с. 136.

О.Ю. Сафонова

ПОРТРЕТЫ ГОЛИЦЫНЫХ В ДОМЕ ТОЛСТОГО

В своих воспоминаниях 1903-1906 года Л.Н. Толстой, описывая судьбу, характер и образ жизни своего деда по линии матери князя Николая Сергеевича Волконского (1753-1821), называет среди его близких знакомых семью генерала от инфантерии князя Сергея Федоровича Голицына. Л.Н. Толстой пишет: «С ... Сергеем Федоровичем и его семьей ... сблизился мой дед до такой степени, что мать моя была с детства обручена одному из десяти сыновей Голицына и что оба старые князья разменялись портретными галереями (разумеется копиями, написанными крепостными живописцами). Все эти портреты Голицыных и теперь в нашем доме, с князем Сергеем Федоровичем в андреевской ленте и рыжей толстой Варварой Васильевной — кавалерственной дамой» (34, 352).

Дружеские связи Н.С. и М.Н. Волконских, отца и дочери, с этой семьей не прекратились и после смерти С.Ф. Голицына (в январе 1810 года). В книге старшего сына Л.Н. Толстого Сергея Львовича «Мать и дед Л.Н. Толстого» упоминается о том, что летом 1810 года М.Н. Волконская вместе с отцом ездила в Петербург, где несколько дней они жили на даче княгини Варвары Васильевны Голицыной. Свою поездку, пребывание у Голицыных, М.Н. Волконская описывает в дневнике, названном ею «Дневная запись для собственной памяти»¹.

Семь портретов представителей большой голицынской семьи хранятся в яснополянском доме Л.Н. Толстого и в настоящее время. Это портрет самого Сергея Федоровича (1749-1810), два портрета его жены Варвары Васильевны, урожденной Энгельгардт (1761-1815), племянницы всесильного Потемкина, портрет сына Голицыных — Федора Сергеевича (1781-1826) и его жены Анны Александровны, урожденной княжны Прозоровской (1782-1863), а также портреты еще двух невесток Сергея Федоровича и Варвары Васильевны: Екатерины Ивановны Голицыной, урожденной графини Соллогуб (1784-1824), и Натальи Степановны Голицыной, урожденной Апраксиной (1794-1890).

К перечисленным портретам, несомненно, примыкают портреты этой же семьи из других музеев страны. В фондах Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве находятся портреты Варвары Васильевны и Сергея Федоровича Голицыных работы

неизвестного художника, переданные в московский музей в 1928 году по обмену из Ульяновского краеведческого музея, в который они попали в 1922 году в составе коллекции писателя и военного юриста, знакомого Л.Н. Толстого, А.В. Жиркевича (1857-1927), который, в свою очередь, приобрел их в Вильне у потомков Сергея Федоровича Голицына².

Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени располагает целой серией голицынских портретов. Среди них портреты Варвары Васильевны, Сергея Федоровича и Сергея (?) Сергеевича (сына, 1783-1833) Голицыных работы Д.Б. Дамона Ортолани, портрет Александра (?) Сергеевича Голицына (сына, 1789-1858) работы А. Молинари и портрет Сергея Федоровича Голицына (внука, 1812- 1849) работы П.Ф. Соколова.

В Киевском музее русского искусства хранится портрет Василия (?) Сергеевича (сына, 1791-1856), атрибутированный как работа Д.Б. Дамона Ортолани³.

Вся эта большая группа портретов заставляет вспомнить богатейшую коллекцию живописи, находившуюся в Зубриловке, усадьбе князя Сергея Федоровича Голицына в Балашовском уезде Саратовской губернии. Эту коллекцию теперь можно видеть лишь на снимках, опубликованных в 1908 году вместе со статьей В.А. Верещагина «Разоренное гнездо» в мартовском номере журнала «Старые годы» (о сохранившихся архитектурных памятниках Зубриловки см.: И.К. Ежова. Зубриловка. Надеждино: Дворцово-парковые ансамбли в Поволжье конца XVIII — начала XIX в. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1979). Усадьба Голицыных была подожжена и разорена во время крестьянских волнений в 1905 году (вероятно, тогда же могли погибнуть и портреты Волконских, полученные когда-то С.Ф. Голицыным от деда Л.Н. Толстого). Однако несмотря на эти печальные обстоятельства, значительное количество портретов голицынской семьи, находящихся в разных музеях страны, свидетельствует о том, что какая-то часть зубриловской коллекции все же сохранилась.

Зубриловка была куплена С.Ф. Голицыным в 80-е годы XVIII в. и тогда же князь приступил к ее благоустройству. Бывавший в Зубриловке в годы своего наместничества в Тамбове (1786-1788) поэт Г.Р. Державин в своем известном стихотворении «Осень во время осады Очакова» (1788), обращенном к С.Ф. Голицыну и его супруге, дал великолепное описание поздней осени в этой усадьбе. В первом отдельном издании, выпущенном в Тамбове в 1788-89 годах, это стихотворение называлось «Осень в селе Зубриловке». Г.Р. Державин написал его в Тамбове и послал В.В. Голицыной в Зубриловку в тот тяжелый период, когда долго не было вестей из русской армии, осаждавшей турецкую крепость Очаков. Под Очаковым сражался тогда муж Варвары Васильевны — С.Ф. Голицын.

Осенью 1812 года, в не менее тяжелые для России времена, в Зубриловке у своих друзей найдут приют «старый князь» Н.С. Волконский и его дочь⁴.

Известный мемуарист Ф.Ф. Вигель, воспитанник, а затем гувернер в семье Голицыных, посетивший Зубриловку летом 1804

года, пишет: «Деревня построена внизу и отделяется прудом и плотиною от горы, на которой стоит господский дом, каменный, трехэтажный. В соединении с двумя большими каменными же двухэтажными флигелями, посредством двух предлинных оранжерей и имея подле себя церковь, величиною превосходящую самый большой уездный собор, дом сей, вся эта масса зданий представляются глазу довольно поразительно. Исключая той горы, на которой находятся строения, с левой ее стороны, есть еще две другие гораздо ее выше; все они покрыты густым лесом, а в их промежутках долины, ущелья и пригорки чрезвычайно разнообразят местоположение и беспрестанно производят новые виды. Горы сии наполнены родниками, которые с боков их вырываются сильно бьющими ключами»⁵. Земным раем, «Эдемом» назвал Зубриловку Ф.Ф. Вигель. Гостями ее были И.А. Крылов, П.А. Вяземский, И.И. Лажечников, Я.П. Полонский...

Последний раз грустный образ этого земного рая промелькнет в серии картин художника В.Э. Борисова-Мусатова («Гобелен», «Водоем», «Призраки», «Прогулка на закате»), жившего в Зубриловке с лета 1901 до поздней осени 1902 года. Художник создаст образ опустевшей, брошенной своими хозяевами дворянской усадьбы, населенной (по воле художника) только «призраками» прошлого, картины, проникнутые ностальгическим чувством по давно ушедшим временам. Действительно, в начале века хозяева усадьбы, потомки Голицыных, Голицыны-Прозоровские редко наезжали в Зубриловку, предпочитая жить в других краях.

По словам В.А. Верещагина, общавшегося с последними владельцами усадьбы, «главной гордостью владельцев Зубриловки была галерея их предков»⁶. В статье «Разоренное гнездо» В.А. Верещагин пишет: «Здесь была вся старая, до-Петровская знать, обновленная брачными союзами с людьми новыми, созданными переворотом Петровского преобразования и поднявшимися по службе или близости к Петру: Чернышевы, дети денщика Петра, и Румянцевы, породнившиеся с Голицыными, Суворовы — с Прозоровскими, Волконские, Воронцовы, Сумароковы, Браницкие, Строгановы, Нарышкины, Литта, Рибопьеры, Юсуповы, Бестужевы-Рюмины, одним словом, — чуть не весь восемнадцатый век и все начало девятнадцатого.

Самое почетное место отведено было, конечно, непосредственно семье основателя Зубриловки и его прямому потомству»⁷.

Перечисляя портреты Голицыных из зубриловской коллекции, В.А. Верещагин упоминает среди них и те, копии которых находятся в Ясной Поляне еще со времен деда Л.Н. Толстого. Так, например, портрет Анны Александровны Голицыной, урожденной Прозоровской, висящий в гостиной яснополянского дома, является копией с ее портрета 1810 года, находившегося в Зубриловке (оригинал воспроизведен в журнале «Старые годы»⁸ работы Х.Фогеля фон Фогельштейна. Наружность Анны Александровны напоминала жене писателя, Софье Андреевне Толстой, черты ее матери Любови Александровны Берс (урожденной Иславиной), поэтому в гостиной портрет висел над рабочим столиком Софьи Андреевны⁹.

Чтобы получить представление о С.Ф. Голицыне, с которым так близко сошелся Н.С. Волконский, и его многочисленной семье, необходимо обратиться к мемуарной литературе.

«Ни в одном из наших русских княжеских родов не было столько замечательных лиц, как в Голицыных»¹⁰, — вспоминала бабушка русской мемуаристики Елизавета Петровна Янькова.

Выдвижению князя С.Ф. Голицына способствовало, главным образом, его родство с фельдмаршалом графом З.Г. Чернышевым и всеильным Потемкиным, на племяннице которого он женился в 1779 году. По словам Ф.Ф. Вигеля, воспитывавшегося некоторое время в семье С.Ф. Голицына с его младшими сыновьями и оставшегося в своих «Записках» характеристики и словесные портреты почти всех членов этой семьи, князь Сергей Федорович выделялся и личными качествами, был «добр, умен и храбр».

Вероятно, эти его качества и способствовали его дружбе с дедом Л.Н. Толстого, человеком также незаурядным. «Умным, гордым, даровитым» называл своего деда Л.Н. Толстой, подробно описавший его привычки и образ жизни.

«Дед мой считался очень строгим хозяином, но я никогда не слыхал рассказов о его жестокостях и наказаниях, столь обычных в то время» (34, 351). «Он построил прекрасные помещения для дворовых и заботился о том, чтобы они были всегда не только сыты, но и хорошо одеты и веселились бы. По праздникам он устраивал для них увеселения, качели, хороводы» (Там же). «Вероятно, у него было очень тонкое эстетическое чувство. Все его постройки не только прочны и удобны, но чрезвычайно изящны. Таков же разбитый им парк перед домом. Вероятно, он также очень любил музыку, потому что только для себя и для матери держал свой хороший небольшой оркестр. Я еще застал огромный, в три обхвата вяз, росший в клину липовой аллеи и вокруг которого были сделаны скамьи и пюпитры для музыкантов. По утрам он гулял в аллее, слушаая музыку. Охоты он терпеть не мог, а любил цветы и оранжерейные растения» (34, 352).

Описание внешности, привычек и занятий С.Ф. Голицына можно найти в «Записках» Ф.Ф. Вигеля.

«Росту был он небольшого, но сложения очень плотного и чрезвычайно полнокровен. Один глаз его был косой, и он имел обыкновение его прищуривать; сие придавало ему вид несколько насмешливый, улыбка же его всегда выражала добродушие, и это вместе делало лицо его весьма примечательным. Кажется, кроме военной истории и стратегических книг, он другого чтения не любил; о литературе и помину не было. В хозяйственные дела он не мешался; по тогдашнему обычаю, воспитание детей предоставлял гувернерам и учителям. В чем состояли кабинетные его занятия, мне неизвестно; ибо мы видели его только в обеденное время, и по вечерам он должен был часто скучать. В хорошую погоду ездил он часто прогуливаться в коляске или верхом, а ввечеру сражался иногда с кем — нибудь на шахматной доске и почти всегда побеждал противников. Осень и начало зимы для него самое лучшее время года; тогда по целым дням мог он гоняться за зайцами»¹¹.

Разные по своим привычкам и занятиям люди (дед Л.Н. Толстого охоты «терпеть не мог» и «очень любил музыку», а С.Ф. Голицын «по целым дням мог гоняться за зайцами» и «кроме военной истории и стратегических книг другого чтения не любил»), они в то же время как будто дополняют друг друга. Объединяло их и военное прошлое, бывшее участие в екатерининских викториях (оба были под Очаковым). В отставку оба вышли полными генералами, а князь С.Ф. Голицын при этом получил орден Андрея Первозванного, став, таким образом, «всех российских орденов кавалером», — в андреевской ленте изображен он на портрете, хранящемся в яснополянском доме.

С семьей С.Ф. Голицына несколько лет был связан баснописец И.А. Крылов, дававший уроки младшим сыновьям князя, Ф.Ф. Вигелю (довольно зло описавшему своего учителя в «Записках», но сделавшему тем не менее признание: «если имею сколько-нибудь ума, то много в то время около него (Крылова. — О.С.) набрался»¹²), Марии Сумароковой, внучатой племяннице знаменитого поэта и драматурга XVIII века, родственнице Голицыных. Именно в эти годы И.А. Крылов создал свою известную сатиру на павловское царствование, «шутю — трагедию» «Трумф», которая тогда же была поставлена в семье Голицыных с автором в роли Трумфа.

Представительниц прекрасной половины этой семьи воспевал в своих стихах Г.Р. Державин. «Златовласой Пленирой» назвал он Варвару Васильевну Голицыну в оде «Осень во время осады Очакова» (1788): «Твоя супруга златовласа, Пленира сердцем и лицом»... В молодости портреты «Плениры» писали Д.Г. Левицкий и Д.Б. Лампи — старший. По отзывам современников, она была одной из самых красивых племянниц Г.А. Потемкина и пользовалась особым его расположением.

На яснополянских портретах она выглядит гораздо старше — «орыжая толстая Варвара Васильевна». Здесь ей более подходит характеристика, данная Ф.Ф. Вигелем: «Она чрезвычайно любила власть и деньги, любила без памяти мужа и одного из сыновей своих и терпеть не могла противоречий ... горе тому, кто возбудив ее гнев, не спешил покорностью смягчить его: тогда она забывала все, и свой сан, и свой пол, и начинала даже рукам давать волю»¹³. «Добрая, сердитая княгиня»¹⁴ — восклицает Ф.Ф. Вигель.

После смерти первых хозяев Зубриловки, усадьба перешла в руки второго сына Голицыных — Федора Сергеевича, который занялся дальнейшим ее благоустройством.

Человек светский (Федор Сергеевич имел придворную должность егермейстера), общительный и любезный, он старался жить широко и открыто, чему немало способствовало приобретенное с женьтибой в 1809 году громадное состояние.

Женой Ф.С. Голицына была Анна Александровна Прозоровская, последняя представительница угасшего в XVIII веке старинного русского рода. Об отце А.А. Голицыной, генерал-фельдмаршале Александре Александровиче Прозоровском (1732-1809), отличившемся в Семилетней войне и в войнах с Турцией, упоминает Л.Н. Толстой в «Войне и мире». Упоминания о Прозоровских

и неоднократно роднившихся с ними Голицыных встречаются у Л.Н. Толстого и в материалах к роману времен Петра I.

Мать А.А. Голицыной, Анна Михайловна (1747-1824), была дочерью крупного военачальника князя Михаила Никитича Волконского (1713-1788), дальней родственницей деда Л.Н. Толстого. Портрет Анны Михайловны 1816 года работы К. Рейхеля находится в Художественном музее Латвийской ССР в Риге, в 1900-х годах он находился в селе Раменское Московской губернии в собственности А.А. Голицына-Прозоровского¹⁵.

Портреты Михаила Никитича Волконского и его родственников представлены в экспозициях Рыбинского и Зарайского историко-художественных музеев. Самый интересный среди них — портрет М.Н. Волконского с семьей (из Зарайского музея, атрибутированный как копия работы крепостного художника «Савели» или «Савелия» с оригинала «швейцаровского живописца» Иоханна Барду)¹⁶. К сожалению, оригинал утрачен, он сгорел во время пожара в имении Голицыных-Прозоровских «Раменское» под Москвой¹⁷. Портрет М.Н. Волконского с семьей, скопированный «Савелей» (или «Савелием»), происходит из частично сохранившейся коллекции князя Александра Михайловича Голицына (1723-1807), основателя «голицынской больницы» в Москве, и его потомков Олсуфьевых, а затем Богдановых, живших в Зарайском уезде Рязанской губернии.

На семейном портрете изображены: М.Н. Волконский, его сыновья Павел (1763-1808) и Лев (1756-1798), дочь Анна с мужем Александром Александровичем Прозоровским и две маленькие внучки М.Н. Волконского — Елизавета (1781-1795) и Анна. Младшая из них, Анна, в дальнейшем окажется единственной наследницей всего состояния своего отца и деда. Огромное состояние Прозоровских и Волконских после ее замужества перейдет к ее мужу Федору Сергеевичу Голицыну.

Обратимся еще раз к мемуарной литературе. Ф.Ф. Вигель пишет: «Казалось, что он (Ф.С. Голицын. — О.С.) взял себе девизом: все для большого света, его успехов и наслаждений. И поэтому-то я мало знал людей, которые бы имели столько светской любезности и ума. Лицо Русской кормилицы, белое, полное, широкое, румяное, но с огненным взглядом и привлекательною улыбкой, делали наружность его весьма приятною. Самой необычайной толщине своей умел он в молодости, посредством туалета, давать шеголеватую форму. Он прекрасно пел романсы и прилежно читал романы; в этом, кажется, заключались все его знания»¹⁸. «Еще одну великую способность имел князь Федор: никто в России не умел так славно готовить великолепные праздники и быть их распорядителем»¹⁹.

В отличие от мужа: «Княгиня (А.А. Голицына. — О.С.) не любила шума светской жизни, предпочитая чтение серьезных книг и занятия с детьми, но, в угоду мужа и в силу чувства долга ... она принимала участие во всех собраниях, где блистала своим умом. Летом они уезжали в Саратовское имение Зубриловку, всем домом»²⁰.

«В обществе она была известна как “La princesse Théodore,”²¹ —

узнаем мы из воспоминаний внучки Голицыных Елизаветы Алексеевны Нарышкиной, которая далее описывает, чем закончилось «веселье» князя Федора Сергеевича для его семьи: «В цвете лет Ф.С. Голицын умер, оставив молодой вдове 8 миллионов долгу... Дом в Петербурге, дача в Царском Селе, картинная галерея, бриллианты, все было продано, и княгиня с детьми уехала в Зубриловку, где прожили безвыездно 5 лет...»²².

10 ноября 1852 года А.А. Голицыной, «как последней в роде», Высочайше разрешено было передать имя князей Прозоровских старшему сыну Александру, потомки которого именовались Голицыными-Прозоровскими — они были последними владельцами Зубриловки.

Ф.С. и А.А. Голицыны погребены на семейном кладбище в Зубриловке, там, где покоятся первые хозяева усадьбы.

Биографии Е.И. Голицыной (урожденной Соллогуб) и Н.С. Голицыной (урожденной Апраксиной), запечатленных на яснополюнских портретах в годы их молодости, содержат также немало примечательных фактов; на некоторых из них стоит остановиться.

Графиня Екатерина Ивановна Соллогуб была замужем за Григорием Сергеевичем Голицыным (1779-1848), старшим сыном С.Ф. и В.В. Голицыных, крестником Екатерины II и Потемкина. Ей посвящено стихотворение «Горы», которое Г.Р. Державин написал в имении ее отца в 1799 году. «Прекрасной жиновочкой» назвал поэт в этом стихотворении 14-летнюю тогда Екатерину Ивановну, имея в виду тот случай, когда она, «перерядясь как-то раз, из шутки, в еврейское платье, поднесла ему застреленных бекасов»²³. Современники отмечают ее привлекательность и кроткий нрав. Ф.Ф. Вигель, видевший ее среди обитателей Зубриловки в 1804 году, пишет: «Она была из числа тех женщин, кои, к чести прежнего времени и к стыду настоящего, встречались тогда чаще, чем ныне. Приятности ее лица были ничто, в сравнении с ее скромной любезностью: не покидая земли она все казалась по дороге к небу и если бы могла быть убьена в ангелах, то я уверен, что из таких существ делали бы их новый набор...»²⁴ Ее доброта и отзывчивость располагали к ней окружающих. Именно с Е.И. Голицыной (Соллогуб) особенно близко сошлась М.Н. Волконская, мать Л.Н. Толстого, во время своей поездки в Петербург летом 1810 года, когда вместе с отцом они жили на даче В.В. Голицыной. Обладая мягким и отзывчивым характером, Екатерина Ивановна, однако, не была вполне счастлива в браке, поскольку муж ее, «первенец из внуков Потемкина»²⁵, прапорщик гвардии еще в колыбели, был человеком беспокойным и неуравновешенным. Ей постоянно приходилось мириться с причудами Григория Сергеевича, воображавшего себя то царем Давидом, то Людовиком XIV, то Александром I.

Остается добавить, что Е.И. Голицына была родной теткой известного литератора пушкинской поры Владимира Александровича Соллогуба (1813-1882) и известной красавицы Надежды Львовны Соллогуб (в замужестве Свистуновой) (1815-1903), к которой обращены пушкинские строки «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу» (1832).

Григорий Сергеевич и Екатерина Ивановна Голицыны также покоятся на семейном кладбище в Зубриловке.

Наталья Степановна Апраксина, дочь «последнего вельможи, открыто и весело жившего в Москве»²⁶, и внучка знаменитой «пиковой дамы» — Натальи Петровны Голицыной (1741-1837), урожденной Чернышевой, была замужем за третьим сыном С.Ф. и В.В. Голицыных Сергеем Сергеевичем (1783-1833). Ее отец, Степан Степанович Апраксин (1856 -1827), владел богатой подмосковной усадьбой «Ольгово», славившейся своей библиотекой и портретной галлереей (некоторые из этих портретов находятся в экспозиции Дмитровского историко- художественного музея). Известно, что Л.Н. Толстой, бывая в Дмитровском уезде у своих друзей Олсуфьевых в их имении Никольском-Оболянове, познакомился с владельцами «Ольгово» Апраксинами, соседями Олсуфьевых по имению. Хозяином «Ольгово» был тогда Виктор Владимирович Апраксин (1822-1898), внук С.С. Апраксина и племянник Н.С. Голицыной (Апраксиной). Апраксинами Л.Н. Толстой живо интересовался в 1873 году, когда собирал материалы для романа из эпохи Петра I.

Сергей Сергеевич Голицын, так же как и его старший брат Федор, был человеком светским, любил хорошее общество, отличался любезным и приветливым нравом, «был ... очень хороший музыкант и сочинитель многих романсов»²⁷. В молодости он участвовал в наполеоновских войнах, дважды был флигель — адъютантом Александра I и окончил военную службу в чине генерал — майора. Умер он рано и был погребен в Зубриловке.

Наталья Степановна намного пережила своего мужа и скончалась в Петербурге в 1890 году в возрасте 95 лет, оказавшись свидетельницей событий почти всего XIX века.

Вглядимся же еще раз в эти портреты, в эти лица, характеры, так выразительно описанные Ф.Ф. Вигелем: «добрая, сердитая княгиня» Варвара Васильевна, «старый князь» Сергей Федорович, «молодой князь» Федор, княгиня-ангел Екатерина Ивановна — они словно сходят со страниц ненаписанного романа. Изображая в «Войне и мире» александровскую эпоху целой россыпью лиц, Л.Н. Толстой, кажется, случайно забыл поместить среди них друзей своего деда, характер и внешность которого он описывает в романе в лице «старого князя Болконского».

Живые свидетели, а порой и участники главных событий александровской эпохи, в том числе и героического 1812 года, великолепно изображенной Толстым, они легко вписываются в бесконечный ряд героев знаменитого романа. Сведения о семье С.Ф. Голицына расширяют и дополняют наши представления об эпохе, которая нашла столь живое и глубокое отражение в творчестве Л.Н. Толстого.

Портреты Голицыных из яснополянского дома, конечно, еще не раз привлекут внимание исследователей, поскольку их происхождение связано с их судьбой интересующей многих музейщиков зубриловской коллекции, и может быть, со временем, наши сведения о них будут более полными, чем сейчас.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Толстой С.Л. Мать и дед Л.Н. Толстого. М., 1928, с. 47.
2. Кропивницкая Г.Д. Художник Д.Б. Дамон Ортолани в России. // Памятники культуры: Новые открытия. М., 1975, с. 344.
3. Там же. С. 342.
4. Волконский Д.М. Дневник. // Знамя, 1987, N 8. С. 143.
5. Вигель Ф.Ф. Записки. М., 1892, ч. II. С. 74.
6. Верещагин В.А. Разоренное гнездо. // Старые годы. 1908. Март. С. 143.
7. Там же. С. 143.
8. Там же. С. 143.
9. Н.П. Пузин. Ясная Поляна: Дом — музей Л.Н. Толстого: Путеводитель. М., 1986, с. 65.
10. Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком. Д. Благово. СПб, 1885, с. 237.
11. Вигель Ф.Ф. Записки. М., 1891. Ч. I. С. 123.
12. Там же. С. 137.
13. Там же. С. 124.
14. Там же. С. 125.
15. Лapidус Н. Русская живопись в Риге // Художник, 1986, N 5. С. 47.
16. Иванова Е.Ю. Забытые портреты // Искусство, 1980, N 11. С. 65.
17. Там же. С. 61.
18. Вигель Ф.Ф. Записки. М., 1891, ч. I, с. 126.
19. Там же. С. 127.
20. Нарышкина Е.А. Мои воспоминания. СПб, 1906. С. 226.
21. Там же. С. 226.
22. Там же. С. 226.
23. Верещагин В.А. Разоренное гнездо. // Старые годы. 1908. Март. С. 141.
24. Вигель Ф.Ф. Записки. М., 1892, ч. II. С. 76.
25. Вигель Ф.Ф. Записки. М., 1891, ч. I. С. 125.
26. Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. СПб, 1885. С. 431.
27. Там же. С. 117.

А.Е. Брынзов

«ЛЕСНОЙ ПРОЕКТ» Л.Н. ТОЛСТОГО

22 октября 1857 года Л.Н. Толстой специально приехал в Петербург, чтобы вручить министру Государственных имуществ М.Н. Муравьеву свой проект «нового порядка лесонасаждения в казенных лесах». Обсуждение проекта в присутствии автора не состоялось, и через неделю бесплодных посещений министерства Толстой уехал, оставив свой проект для рассмотрения.

Оценка проекта содержится в «Выписке из утвержденного г. Министром журнала специального по лесной части комитета» от 17 января 1858 года. Приведенные расчеты доказывают, вроде бы, невыгодность для казны предложенного Толстым способа лесовосстановления.

В «сердитом» письме, датированном 16 апреля 1858 года, Толстой доказывает правильность своих доводов, приводит расчеты эффективности своих мероприятий. Это неотправленное письмо представляет собой еще и документ большой обличительной силы. Вместе с проектом оно раскрывает еще одну грань гения Толстого — его дар глубоко и всеобъемлюще разбираться в вопросах, далеких, на первый взгляд, от его основных интересов.

В данной работе предпринята попытка оценить предложенные Л.Н. Толстым принципы ведения лесного хозяйства.

В проекте просматриваются две основных части — техническая и экономическая. Первая предусматривает принципиально отличный от применявшегося способ создания лесных культур в казенных лесах: вместо высадки растений в подготовленную площадками почву на нераскорчеванных задерненных вырубках Толстой предлагал после раскорчевки сплошную подготовку почвы.

Лесовосстановление в то время поручалось сотрудникам корпуса лесничих. Толстой, анализируя применявшиеся методы производства лесных культур в казенных лесах, указывает, что в результате такого ведения хозяйства высококачественное насаждение сформировать невозможно.

Взамен он предлагает сдавать рубки в казенных лесах вольным промышленникам под залог, равный стоимости производства лесных культур на всей сданной в аренду площади. Срок аренды предложен от 7 до 9 лет. За это время предприниматель должен выкорчевать пни, очистить и вспахать землю и к концу

срока аренды сдать казне участок с лесными культурами установленной породы и с установленным количеством саженцев на единицу площади.

В результате казна получает через несколько лет бесплатно лесные культуры хорошего качества, а позже — высокопродуктивные и, следовательно, весьма доходные насаждения. В таких насаждениях (и это особо отмечал автор проекта) намного удобнее, технологичнее проводятся любые лесохозяйственные мероприятия. Предприниматель же имеет возможность в течение периода землепользования после раскорчевки вырубки использовать арендуемые земли под сельхозпользование и получает доход в размере разницы затрат на раскорчевку и производство лесных культур и доходов от сельхозпользования.

Были и другие выгоды, которые не нашли отражения ни в самом проекте, ни в «сердитом» письме. В записной книжке Толстого за ноябрь 1857 года мы читаем: «...столкновение частного с Правительственным» и далее: «образование лесничих» (47,222). Ясно, что кроме очевидных выгод для казны, повышения качества насаждений, он предвидел, что личная заинтересованность арендующих вырубки, положительные результаты их работы неизбежно породят отношения конкуренции со служащими корпуса лесничих, послужат стимулом для повышения их квалификации, улучшат состояние дел в казенных лесах.

Что же заставило писателя обратить внимание на лесное хозяйство Тульской губернии и России в целом?

В поисках ответа возвратимся к августу 1857 года. 8 августа Толстой возвращается в Ясную Поляну после первой своей поездки за границу. Он полон впечатлений, планов. Сложные чувства владеют им: «Прелесть Ясная. Хорошо и грустно, но Россия противна, и чувствую, как эта грубая, лживая жизнь со всех сторон обступает меня» (47,150). И чуть позже: «В России скверно, скверно, скверно. В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши то же происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие» (60,222).

Деятельная натура Толстого стремится внести свой вклад в переустройство существующего мира. И начинает писатель с хозяйства любимой Ясной Поляны. В записной книжке этого периода он набрасывает планы предстоящей работы. Из дневника узнаем, что к этому времени, в частности, относятся посадки деревьев между флигелями, посадка берез по Черте, посев желудей гнездами в Плоцком верху, посадки леса в урочище «Полторы».

Точно определить, когда у Толстого появляется мысль о лесном проекте, помогает нам фраза из записной книжки от 23 сентября 1857 года: «Бессеменные года. 500 десятин, хвойные породы, питомник» (47,218). Эта запись никак не может относиться лишь к хозяйству Ясной Поляны. И далее запись от 30 сентября: «У Майера... Предложить участие в проекте» (47,219).

В том, что реорганизация лесного хозяйства в России необходима, у Толстого сомнения не было. Попробуем разобраться, были ли у него к тому основания.

Вот что он пишет в своем письме, адресованном А.А. Зеленому — заместителю министра Государственных имуществ: «...Чистых лесных культур нигде нет, исключая на бумаге. Леса возобновляются только природою... огромный капитал, находящийся в земле и лесах, приносит убыток...» (60,261-262).

А вот официальные данные ревизии Тульских засек 1858 года: «Ревизия лесов 1858 года признала культуры настолько неудовлетворительными, что, основываясь на большом проценте заглушенных культур травянистой растительностью и порослью мягколиственных пород, предложила снова ориентироваться на естественное возобновление вырубаемых лесосек».

Это, заметим, означает возобновление чаще всего осиною, другими малоценными породами, вообще крайне нежелательную смену пород. Ценных сортиментов искать в таком насаждении не приходится.

И далее из материалов ревизии: «Проходные рубки были прекращены, так как оказались невыполнимыми в отношении технического надзора за ними; уборку мертвого леса запретили в связи с злоупотреблениями местного населения, заключающимися в самовольных порубках при уборке валежа. Большинство лесничих, а тем более лесных кондукторов, не имели специального образования и были технически неграмотны... Уборка только сухих, гнилых и прочих дровяных деревьев не только не окупалась продажей вырубленного запаса, но и требовала специальных средств, так как запросы крепостных крестьян на лес были чрезвычайно ограничены»¹.

Общую картину состояния лесного хозяйства Тульских засек за 30 лет дала ревизия 1874 года: «Ведение лесного хозяйства привело, во-первых, к накоплению больших площадей изреженного старого дуба... покрывшегося водяными побегам, суховершинного, поросшего на прогалинах порослевыми породами, которые угнетены этим же старым дубом, и, во-вторых, почти во всех спелых насаждениях, не тронутых рубкой, много или господствует перестойная гнилая осина, образующая большое количество насаждений с недопустимой растительностью»². Тут уж комментарии излишни. Здесь полностью подтверждено все, высказанное Толстым в адрес Лесного комитета. Но Толстой не был бы Толстым, если бы не вскрыл причин явления: «...монополия — самая вредная и безнравственная монополия казны, основанная не на знании дела, не на коммерческом обороте, а на власти. До тех пор, пока будет существовать эта монополия... до тех пор лесное хозяйство не пойдет успешно в России» (60,262).

Насколько же прав был Толстой в своих предложениях, высказанных в проекте? Выше достаточно убедительно было доказано, что реорганизация лесного хозяйства в казенных лесах была совершенно необходима. Сама схема лесопольного хозяйства достаточно зарекомендовала себя в Германии. Но вот что касается вольных промышленников, то существовало сомнение в их готовности заключать договоры об аренде вырубок. Набиравшее в это время силу купечество предпочитало хищнически эксплуатировать леса. Древесина быстро дорожала, поэтому было намного

выгоднее купить делянку спелого леса, вырубить его, продать древесину с крупным барышом, а потом сбыть, хотя бы и за бесценок, вырубку. Такова, в частности, была судьба посаженного Толстым Лимоновского леса. Чиновник В.Я. Лимонов 28 ноября 1860 года купил лес у вдовы артиллерийского капитала Тепловой по 30 рублей серебром за гектар, свел лес и в 1868 году продал Толстому вырубку по 8 рублей 40 коп. за гектар.

К тому же сплошная раскорчевка вырубки в Тульских засеках при значительном количестве дубовых пней была бы очень трудоемкой и длительной, что тоже не подходило предпринимателям.

Исследователь истории лесов Ясной Поляны К.С. Семенов в своей диссертации³ приводит расчеты, доказывающие, что доход предприниматель мог бы получить только при условии более длительной, чем 9 лет, аренды. Он также считал, что оптимальным вариантом было бы создание лесных культур по «коридорам» вырубок, возобновившихся малоценными породами.

Позже Л.Н. Толстой посадил немало лесов в Ясной Поляне и в ее окрестностях. Последовательно создает он посадки еловые и березовые (почти всегда чистые, без смешения пород), сначала по Кочаку, потом по реке Воронке. Водоохранное, противозерозийное и эстетическое значение этих лесов трудно переоценить. Значительные площади сенокосов, пастбищ были заняты посадками Толстого. Таковы Митрофановские посадки Старая и Молодая, Березовый клин, Елочки за Чепыжом, Елочки-ромбы. Посадки Старая Абрамовская и Срезанная при размещении берез 4,5 x 4,5 аршина позволяли, вместе с накоплением запаса древесины, в течение достаточно длительного периода заготавливать сено.

О раннем лесном проекте Толстого забыли все: положения проекта не нашли отражения и в работе самого автора проекта по лесовозобновлению.

Но именно в это время был в России человек, который всем опытом своей работы блестяще подтвердил правоту и жизненность положений Толстовского проекта. Это был Карл Францевич Тюрмер (1824-1900), немец по национальности, с 1853 года руководитель охоты, а потом лесничий в имении графа С.С. Уварова «Поречье» в Можайском уезде, Московской губернии⁴.

В основу своей деятельности Тюрмер положил принцип: «Предоставляющий будущему поколению то, что может сделать настоящее, делает и будущее и настоящее поколение беднее»⁵. Как переключается это с воззрениями Толстого!

Почти так же, как Толстой, писал он о лесах: «Богаты мы еще количеством, но не качеством лесов». Березовые и осиновые порослевые насаждения Тюрмер называл «позорным клеймом неряшливо веденного лесного хозяйства».

«Плоды» деятельности казенных лесничих были приведены выше, но могли ли они быть иными, если место лесничих занимали подчас домашние учителя, врачи, полковые портные, землемеры, лакеи, повара и и.п.? К.Ф. Тюрмер с гневом говорит о таких «специалистах» и их хозяевах. Их общая цель — получить от леса доход побольше и без затрат.

Сам он, получивший классическое лесное образование в Гер-

мании, накопив там достаточный опыт практической работы, в России не следует слепо канонам, как многие его земляки, но постоянно наблюдает жизнь леса, экспериментирует.

В «Поречье» Тюрмер ввел лесопольное хозяйство. После вырубки леса площадь иногда до 3-4 лет оставалась под пастбищем. За это время пни подгнивали, и их корчевка облегчалась. После корчевки проводилась сплошная вспашка и боронование. С каждой площади затем снимали три, четыре и даже пять урожаев хлеба: высевали рожь, овес, иногда, в незначительном количестве, ячмень, гречиху и лен.

Вместе с последним посевом овса, тотчас по окончании его, высаживали одно-двухлетние саженцы. Для получения с этих же площадей в этот год сена, высевали в те же сроки семена клевера и тимopheевки. При уборке хлеба скашивали его так, чтобы не повредить при этом лесных культур. Отенение от сельскохозяйственной культуры весьма благоприятствовало росту саженцев и, кроме того, в течение хотя бы первого года предохраняло от появления сорняков.

Временное сельскохозяйственное пользование практиковалось в «Поречье» в течение 22 лет. Чистый доход не только покрывал расходы на раскорчевку и производство культур, но оставался еще весьма значительный избыток, а кроме того получались лесные культуры отменного качества. Таким образом, Тюрмер вел то самое правильное хозяйство, каким представлял его Толстой.

Какова же была эффективность такого хозяйства? За все время среднегодовой чистый доход составил 62,8%. Тюрмер отмечал, что правильное ведение хозяйства дисциплинировало население, вызывало уважение к лесным угодьям. Ежегодно он выплачивал до 32 тыс. рублей крестьянам, привлеченным на работу в лесу.

В «Поречье» прибывало много экскурсий для обмена опытом. Здесь проходили практику студенты Лесного института, Петровской лесной и земледельческой академии. Вспомним запись Толстого о «столкновении частного с правительственным» и об «обращении лесничих»!

На памятнике классика русского лесоводства К.Ф. Тюрмеру мы читаем надпись: «Ты памятник себе воздвиг в лесах великий». Памятником ему шумят сохранившиеся до наших дней почти на 3000 га леса, посаженные им. Запас древесины на гектаре от 600-700 до 1000 и более кубометров! Для сравнения напомним, что в естественных насаждениях Тульских засек в возрасте спелости запас не превышает 350-370 кубометров. Таким аргументам противопоставить нечего.

Суммируя сказанное, можно сделать вывод, что Л.Н. Толстой хорошо знал состояние лесов Тульской губернии и уровень ведения хозяйства в них. Это помогло ему в короткий срок разработать глубоко продуманный проект создания лесных культур в казенных лесах. Толстой надеялся, что его проект послужит делу коренного улучшения состояния лесов Тульской губернии, а может быть и всей России.

К.Ф. Тюрмер блестяще доказал жизненность и бесспорную выгоду ведения лесопольного хозяйства, предложенного Толстым

для внедрения в казенных лесах.

Неудача Толстого при попытке реализации его проекта обусловлена тем, что чиновники министерства, отстаивая ведомственные интересы, не хотели внесения новаций в рутинное хозяйство.

«Вольным промышленникам» нужен был немедленный доход от вложенного капитала. Эффект же от качественного проведения всего комплекса мероприятий лесопольного хозяйства получался лишь в случае либо более длительной аренды, либо при условии грамотного проведения предпринимателями всего комплекса рубок в насаждениях (что Толстой предлагал в своем проекте на перспективу).

Тем не менее сам факт создания лесного проекта Толстым является очень интересным, раскрывая глубокую деятельную любовь писателя к лесу, еще одну сторону его многогранного таланта.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Тульские засеки XVI — XX вв. Лесное хозяйство. Труды по лесному опытному делу Тульских засек. Вып. I. М., 1937.

2. Там же.

3. Семенов К.С. История лесов Ясной Поляны за сто лет и задача сохранения и восстановления их. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. Тула, 1954.

4. См. Тюрмер К.Ф. Из практики лесоразведения в Поречьском имении графа Уварова. — Лесной журнал, 1873, вып. 1 и 3.

5. Тюрмер К.Ф. Пятьдесят лет лесохозяйственной практики. М., 1891.

Н.А. Никитина

К ИСТОРИИ ЯСНОПОЛЯНСКОГО МУЗЕЯ

Мы хорошо знаем, сколь самоотверженную роль по сохранению яснополянской усадьбы сыграли после смерти Толстого его жена Софья Андреевна и его дочери. Рядом с ними находились единомышленники Толстого и знакомые семьи, которые так же активно включились в благородное дело спасения национальной святыни России.

Летом и осенью 1917-го года под Тулой немало горело дворянских усадеб. Возник вопрос, как отнесутся местные крестьяне к яснополянской усадьбе. Что победит в их душе: светлая память и чувство благодарности к своему великому другу и заступнику или многовековая мужицкая жажда земли, страсть к мелкой собственности? Ведь они видели, как в соседних имениях крестьянские общины делили помещичью землю по дворам, мужики получали долгожданные наделы.

Было бы полуправдой сейчас говорить, что не было тогда у яснополянских крестьян никаких сомнений на этот счет. Конечно, были. Одна за другой возникали сходки, собрания, на которых люди остро спорили. Находились и такие, которые кричали, мол, тут нечего думать, — надо брать землю и разделить ее. Тем более, что граф сам отказался от имения и ушел из него. Масла в огонь подлило и пребывание в деревне отряда драгун Временного правительства. Стоял он вроде бы для охраны имения, а на деле оохранники обирали крестьян, занимались мародерством.

И все же у яснополянских крестьян победила добрая память о Льве Николаевиче, глубокое уважение к памяти о нем, чувство сопричастности к земле, которую он пахал и воспел. Многие крестьяне добровольно пришли в усадьбу и заявили о своем желании помочь в охране имения. Вдова и дочь писателя с благодарностью приняли эти предложения. Через несколько месяцев, 9 мая 1918 года, газета «Тульская молва» сообщила о том, что осознанность восторжествовала, и яснополянские крестьяне постановили считать Ясную Поляну национальной собственностью.

Всю ответственность момента, его напряженность, сознавали и тульские знакомые Толстых, многие представители местной интеллигенции. Один из организаторов общественной организации по сохранению Ясной Поляны А. Арсеньев писал: «...Усадьба, в которой каждый вершок земли и каждый предмет связаны так или

иначе с Львом Николаевичем Толстым, овеваны его духом — не имеет цены; она является не только русской национальной драгоценностью, но достоянием всего культурного человечества... Великим несчастьем была бы потеря Ясной Поляны»¹.

Именно в те дни и родилась мысль об учреждении в Туле Общества, которое смогло бы взять на себя заботу о полном сохранении имения, как общенационального достояния. Идея эта принадлежала прежде всего друзьям семьи писателя — литератору П.А. Сергеенко, тульскому адвокату Б.О. Гольденблату и следователю губернской комиссии Е.Д. Высокомирному.

Уже в самом начале возникли проблемы, требующие ответа. Что это должно быть за Общество? Устроить ли его по типу уже существовавшего в Москве Толстовского общества, имевшего чисто научный характер? Но для этого ученых в Туле тогда было мало. А может поставить перед новой организацией только конкретные хозяйственные, практические цели? Вопросов оказалось множество. Но постепенно становилась все более ясной главная цель существования организации — сохранение Ясной Поляны. «В силу этих соображений, — говорилось в тогдашнем сообщении об организации Общества, — был выдвинут проект организации не толстовского научного Общества, а массового, всенародного Общества друзей Ясной Поляны. Такое Общество казалось легко создать, так как всюду несомненно имеется много людей, которые чтут память Л.Н. Толстого, знают и любят Ясную Поляну и для которых забота о ее сохранении ...может послужить почвой для дружеского общения между собой»².

26 апреля 1918 года Тульским окружным судом был зарегистрирован устав новой организации, получившей наименование «Просветительное общество “Ясная Поляна” в память Л.Н. Толстого». А в ноябре того же года газета «Коммунар» сообщала: «Тула обогатилась новым учреждением, которое по своим целям и задачам должно быть дорого всякому сознательному гражданину». Новое просветительное общество, — сообщала газета, — «имеет целью свою заботу и сохранение Ясной Поляны и могилы Льва Николаевича, как драгоценнейшего достояния человечества, а равно — превращение Ясной Поляны в культурно — просветительский центр»³.

Нужно заметить, что деятельность Общества развевывалась на широкой демократической основе. Членами его стали представители самых разных социальных слоев — учителя, врачи, инженеры, рабочие, служащие, крестьяне. Основная задача заключалась, конечно, в том, чтобы предпринять меры, согласно уставу, «к поддержанию в должном виде дома, в котором жил Лев Николаевич, сохранению всех предметов, имеющих отношение к жизни и творениям его, приведению в благоустроенный вид парка, сада, аллей, дорог»⁴. Важное значение придавалось пропагандистской работе. Именно поэтому Общество выдвинуло идею создания в Ясной Поляне музея, школы, организации экскурсий, лекций, сбора материалов о Толстом, публикации сборников, посвященных писателю.

С лета 1918 года члены правления Общества энергично взялись

за дело. Многочисленные лекции о Толстом на заводах, фабриках и среди крестьянства, пропаганда ценности Ясной Поляны как великого национального памятника находили все более широкий отклик в душе туляков. Рабочие Косогорского завода, например, заявили о своей готовности, в случае необходимости, выделить из своих рядов дружину для охраны Ясной Поляны, а местные крестьяне из окрестных деревень также стремились активно участвовать в деле сохранения толстовской усадьбы.

С конца 1918 года Общество приступило к реализации идеи о создании в Ясной Поляне школы. Осуществление этой заветной мечты Толстого, — образовать широкие слои народа и, прежде всего, крестьян Ясной Поляны — стало важнейшей частью просветительской программы Общества. По ходатайству Общества, Совнарком ассигновал 3 млн. 600 тыс. рублей на устройство в Ясной Поляне трудового народного университета им. Л.Н. Толстого. Общество поставило вопрос о постройке в Ясной Поляне школы — памятника Толстому, и нарком просвещения А.В. Луначарский, которому Общество представило проект школы, поддержал эту идею. «Ассигнование на постройку было увеличено до 5 млн. 500 тыс. рублей»⁵. Вскоре после принятия этих организационных решений член правления архитектор С.М. Серебровский подготовил основные исходные материалы для проектирования школьного комплекса, а затем был объявлен всероссийский архитектурный конкурс на проект постройки.

Энергичная деятельность яснополянского Общества вскоре получила признание центральных органов. 27 мая 1919 года Наркомпрос выдал деятелям тульской организации «охранную грамоту», юридически закреплявшую за ним попечительские функции: «Сим удостоверяется, — говорилось в документе, — что дом и усадьба в имении “Ясная Поляна”, ...неразрывно связанные с памятью Л.Н. Толстого, а также все хранящиеся там вещи, картины, портреты, библиотека, мебель, архив, рукописи и т.д., как представляющие исключительную культурно — историческую ценность и являющиеся национальным достоянием, находятся под охраной Всероссийской коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины Народного Комиссариата по просвещению, а потому не подлежат ни реквизиции, ни вывозу. Усадьба должна быть сохранена в том виде, в каком была при жизни Л.Н. Толстого. Охрана и наблюдение за культурными ценностями усадьбы поручается Просветительному обществу “Ясная Поляна” в память Л.Н. Толстого»⁶.

Особо драматические страницы того периода — события лета и осени 1919 года. Фронт гражданской войны неумолимо приближался к Туле. Мимо Ясной Поляны с юга потянулись толпы беженцев. Что будет с усадьбой, если она окажется в зоне боевых действий между деникинцами и Красной армией? Софья Андреевна и руководители Общества понимали всю опасность положения. В Москву с ходатайством в Совнарком был командирован секретарь Общества Е.Д. Высокомирный. В этом документе откровенно излагалась крайне тревожная ситуация вблизи Ясной Поляны. «Надвигающиеся с юга военные события, — писали руко-

водители Общества, — вызывают тревожные мысли о судьбах бывшего имения Л.Н. Толстого Ясной Поляны. Толстовский дом, могила, библиотека и все, что исторически связано с жизнью великого писателя... — все это может попасть в сферу военных действий и подвергнуться непоправимому разрушению. Это было бы, поистине, тягчайшим бедствием для русского народа, а правление Общества «Ясная Поляна» не исполнило бы своего долга, если бы оставило этот вопрос открытым, зависящим от всяких слепых случайностей и не обратилось бы к Совету Народных Комиссаров. Правление не считает себя вправе указывать, какие нужно принять меры для сохранения Ясной Поляны, но долг совести повелевает обратить Ваше внимание на ту опасность, которая грозит ей, если она станет ареной боев. Эта возможность не исключена, так как в Ясной Поляне в настоящее время расквартирована кавалерийская часть. Мы думаем, что не только воинская часть должна быть выведена из Ясной Поляны, но может быть у Вас имеется возможность поставить об этом в известность врага, у которого при этих условиях не поднимутся руки на уничтожение Ясной Поляны, принадлежащей всему человечеству...»⁷.

В Москве Высокомирного приняли и внимательно выслушали Управляющий делами Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевич и секретарь ВЦИК А.С. Енукидзе. На своем заседании Президиум ВЦИК признал серьезность ситуации и необходимость вывода территории Ясной Поляны из сферы военных действий. В постановлении правительства от 10 октября 1919 года указывалось: «Находя желательным удовлетворение заявления, направить его в Реввоенсовет Республики тов. Склянскому для принятия возможных мер».

Высокомирный позднее вспоминал: «Узнав от т. Енукидзе о принятом решении правительства, я телеграфировал в Тулу правлению Общества, что ходатайство Общества Совранкомом удовлетворено. Известно также, что в ставку Деникина было послано сообщение о том, что Ясная Поляна выведена из сферы возможных военных действий»⁸.

Так, совместными усилиями семьи Толстых, органов революционной власти и тульских единомышленников и знакомых писателя, начинала свою новую жизнь Ясная Поляна. В начале 1921 года члены Общества приняли активное участие в создании в ней музея. А после принятия в том же году исторического для толстовской усадьбы декрета его сотрудники продолжили активную работу, начатую Просветительным обществом.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Известия Тульской кооперации. — Тула, 1918, 15 ноября, с. 5 — 6.
2. Там же, с. 6.
3. Коммунар. — Тула, 1918, 25 ноября.
4. Цит. по ст.: Высокомирный Е.Д. Ясная Поляна в годы революции. — Тульский край, 1928, N 5, с. 23.
5. Там же, с. 24.
6. Цит. по указ. статье Е.Д. Высокомирного, с. 25.
7. Там же, с. 25.
8. Там же, с. 26.

С.П. Раевский

ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ

В 1916 году мой отец Петр Иванович Раевский — доктор медицины — был переведен с Юго — Западного фронта в тыл и назначен в качестве врача — хирурга в Кауфманский госпиталь, расквартированный в г. Туле. После Октябрьской революции этот госпиталь был реорганизован в сыпнотифозный лазарет, главным врачом которого был назначен мой отец. В связи с этим наша семья в конце 1917 года переехала из деревни Бегичевки, Данковского уезда, Рязанской губернии в Тулу и поселилась в отдельном доме на Пушкинской улице.

Лето 1919 года мы (дети с матерью) проводили в селе Рудакове в 8 верстах от Тулы, где располагался Государственный конный завод рысистых лошадей. Управляющим заводом был в то время близкий друг нашей семьи В.С. Мамонтов. Семья Мамонтовых общалась с Толстыми, и так как Рудаково находится недалеко от Ясной Поляны, Толстые и Мамонтовы часто бывали друг у друга.

Дочь Л.Н. Толстого Татьяна Львовна часто бывала у нас дома и по-дружески приглашала моих родителей с детьми приехать в Ясную Поляну. День приезда был намечен, но я не помню, по каким причинам мои родители не могли поехать в тот день и решили меня с братом послать в Ясную в сопровождении служащего лазарета Андрея Алексеевича Васильева, нашего земляка, уроженца с. Екатерининского, что в двух верстах от Бегичевки. А.А. Васильев прошел с моим отцом всю Первую мировую войну и после революции перешел на работу в возглавляемый отцом сыпнотифозный лазарет.

Андрей Алексеевич в назначенный день приехал из Тулы на велосипеде. У нас с братом были подростковые велосипеды, что позволило нам вдвоем совершить довольно продолжительный кросс от Рудакова до Ясной Поляны. Дорога нам показалась не утомительной. Подъехав к дому, мы остановились у большого дерева — знаменитого вяза, теперь уже на этом месте не существующего. Сойдя с велосипедов, мы прислонили их к скамейке, окаймляющей дерево, и тут же вскоре подошла к нам Татьяна Львовна. Отойдя несколько шагов, она спросила меня, как зовут человека, который сопровождал нас. Я ответил — Андрей. — Хорошо, но как отчество? — Алексеевич. «Ну, это другое дело», — продолжала Татьяна Львовна и, обратившись к нему, сказала:

— Андрей Алексеевич, прошу вас пройти со мной. — Она провела его во флигель, где располагались люди, служившие при доме. Там стоял самовар и шло чаепитие с липовым медом, по тому времени редким лакомством. Мне очень захотелось тоже чаю с медом, а, главное, я не желал расставаться с Андреем Алексеевичем и идти с Татьяной Львовной в дом, где, я думал, находится много не известных и не интересных для нас с братом взрослых людей. Но пришлось покорно следовать за хозяйкой дома, которая повела нас на второй этаж в большую залу, наполненную множеством людей — мужчин и женщин, в большинстве своем не знакомых нам. Наше появление в зале не произвело никакого впечатления на присутствующих, но Татьяна Львовна все же отрекомендовала нас, сказав:

— Это мальчики Раевские, они приехали из Рудакова на велосипедах.

Кто-то сказал:

— Молодцы. Дорога не такая уж короткая.

Между тем, Татьяна Львовна обратилась к очень миловидной девочке, на вид лет тринадцати или четырнадцати:

— Таня, пожалуйста, займись этими молодыми гостями.

Девочка тотчас же показала нам место за столом, налила чаю из самовара, поставила каждому блюдечко с медом, сама села рядом и расспрашивала нас с видимым интересом про нашу поездку из Рудакова до Ясной. На ней было довольно простое, но очень хорошо сидевшее, идущее к лицу и всей фигуре, платье. Большая русая коса была повязана коричневым бантом. Весь вид ее и манера держать себя просто и непринужденно мне очень понравились. Девочка казалась удивительно симпатичной. После короткого разговора за чаем я узнал, что она единственная дочь Татьяны Львовны — Таня Сухотина.

Прошло более полувека с тех пор и, конечно, не все и не вполне точно сохранилось в моей памяти. Я узнал, что Таня Сухотина, теперь Татьяна Михайловна Альбертини, живет в Риме, и я ей написал, напомнив наш приезд в Ясную Поляну летом 1919 года. Она ответила и, приехав в 1977 году в Москву, пригласила меня на чай, организованный по случаю ее приезда в музей Л.Н. Толстого на Кропоткинской улице. Теперь мы изредка обмениваемся письмами, и когда Татьяна Михайловна бывает в Москве, мы всегда встречаемся.

Заканчивая воспоминания о своем первом посещении Ясной Поляны, должен отметить, что в это время еще была жива жена Л.Н. Толстого — его пожизненный спутник, отдавший себя целиком своей многочисленной семье и вложивший непостижимый труд для сохранения и увековечения всего того, что мы сейчас имеем возможность видеть своими глазами в доме Толстого.

Тогда, в 1919 году, Софья Андреевна себя уже плохо чувствовала и не присутствовала в общем зале, где собралось общество, которое мне пришлось видеть.

После чаепития Татьяна Львовна подошла к нам и сказала:

— Сейчас, мальчики, я хочу вас представить Софье Андреевне.

Мы тотчас встали и последовали за ней. Она ввела нас в

комнату графини, где она полулежала в кресле.

— Мама, — сказала Татьяна Львовна, — это сыновья Пети Раевского, они приехали из Рудакова на велосипедах.

Мы с братом подошли и поцеловали протянутую нам руку. Она спросила:

— А почему же папа и мама не приехали?

Мы что-то ответили, и она еще о чем-то спрашивала. Потом мы снова подошли к ее ручке и удалились вместе с Татьяной Львовной.

Мы вышли из дома к велосипедам, где уже нас ждал Андрей Алексеевич. Татьяна Львовна вынесла нам банку с медом, которую просила нас взять с собой домой. Я до сих пор помню эту банку. Она была широкая и низкая, примерно, полуторалитровая. Ее, завернув во что-то мягкое, закрепил на багажнике Андрей Алексеевич. Татьяна Львовна и Таня провожали нас и смотрели, как мы ловко сели на велосипеды, покидая их дом.

Т. В. Комарова

ОБ УХОДЕ И СМЕРТИ Л. Н. ТОЛСТОГО
(по материалам яснополянских мемориальных фондов)

Среди многочисленных предметов, хранящихся ныне в яснополянском доме Л. Н. Толстого, особое место занимают предметы, связанные с уходом писателя из Ясной Поляны, его смертью на станции Астапово Рязано-Уральской железной дороги.

Условно их можно разделить на две группы: предметы, относящиеся непосредственно к этим событиям, и предметы, появившиеся в Ясной Поляне позже 1910 года как отклики на смерть писателя, бережно сохраненные его женой Софьей Андреевной.

К первым относятся стеариновые свечи, находящиеся на письменном столе Толстого в его кабинете: писатель погасил их в ночь своего ухода из Ясной Поляны, и с тех пор они никогда больше не зажигались. Рядом, на круглом столе, роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» издания 1882 года, оставленный открытым Толстым на странице 359 первого тома. В главе «О аде и адском огне» он сделал пометку «NB» и отчеркнул несколько строк. В спальне, наряду с баночками и пузырьками от лекарств, хранятся рецепты и среди них — один из последних, выписанный 1 ноября 1910 года на станции Астапово железнодорожным врачом Л. И. Стоковским, принимавшим участие в лечении писателя. Сохранился и факел, которым яснополянский крестьянин Филя Борисов, привозивший обычно в усадьбу почту и посылки со станции «Козлова засека», освещал писателю путь в ту трагическую ночь. Уходя из Ясной Поляны, Толстой оставляет прощальное письмо жене, где объясняет причины своего ухода: «Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не могу поступить иначе. Положение мое в доме становится, стало невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста — уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни...» (58, 123-124) Старшим детям Сергею Львовичу и Татьяне Львовне он пишет 31 октября 1910 года: «Не могу не бояться всего и не могу освободить себя от ответственности, но не осилил поступить иначе». Поводом к уходу из дома послужили разногласия в семье, связанные с написанием Толстым завещания летом 1910 года. Завещание было написано тайно от семьи недалеко от деревни Грумант. В черной траурной

рамке, перепечатанное на пишущей машинке, оно сейчас хранится среди многочисленных предметов в яснополянском доме. Вместе с ним — визитные карточки жены писателя и конверты в черных траурных рамках.

В сундучной комнате хранятся гипсовая маска писателя, снятая скульптором С. Д. Меркуровым на станции Астапово, венки с могилы и ленты от венков. Их более ста: от различных лиц и организаций (от типографии т-ва И. Н. Кушнерева, артистов Императорского Московского Малого театра, от Тульской драматической труппы, рабочих печатного дела г. Тулы, рабочих завода «компании Зингер» в Подольске, редакции журнала «Для народного учителя» и многих других. Надписи на этих лентах — свидетельства огромной любви и уважения к великому писателю: «Великому учителю», «Великому писателю и учителю жизни», «Льву — великому богу», «Поборнику света и добра», «Незабвенному заступнику и советнику в наших нуждах Л. Н. Толстому от крестьян се-ца Овсянниково, Рудаково и Скуратово». Среди лент от венков находится холщовое полотнище от яснополянских крестьян. Крупными буквами, вырезанными из черного сукна, на нем написано: «Лев Николаевич! Память о твоём добре не умрет среди нас, осиротевших крестьян Ясной Поляны».

С документальной точностью воспроизведен последний путь Толстого из Ясной Поляны художником В. И. Россинским. В доме Л. Н. Толстого хранится альбом его цветных литографий «Последние дни Л. Н. Толстого», отпечатанный в Москве в мастерских «Т-ва Левинсон» в 1911 г., с автографом: «Графине Александре Львовне Толстой с чувством глубокого уважения и бесконечной благодарности. Автор. 11 окт. 1911 г. Москва.» Обращает внимание свеча с запиской Софьи Андреевны на белом листе бумаги черными чернилами: «Свеча, которая горела в руке жены Льва Николаевича Толстого на первой после его кончины панихиде, отслуженной в его спальне молодым священником, приехавшим добровольно издалека и утром отпевавшим покойного Льва Николаевича на его могиле 12 декабря 1912 г.» Эта свеча и записка Софьи Андреевны напоминают нам о событиях, происшедших в Ясной Поляне спустя два года после смерти Толстого.

12 декабря 1912 года в Ясную Поляну приехал молодой священник Г. Л. Калиновский и при личном свидании с Софьей Андреевной выразил желание совершить заупокойное служение на могиле Толстого. Софья Андреевна в дневнике записала: «Сегодня молодой чужой священник по своему желанию отпевал — над его могилой — Льва Николаевича, потом служил панихиду в его спальне. Вечером он уехал. Энергичный, умный, 27-летний священник. Присутствовали Булгаков, Юлия Ивановна, Верочка и я, а при панихиде няня и повар Семен»¹. Около могилы писателя был установлен небольшой столик, на который священник положил привезенный им с собой крест и Евангелие; у изголовья могилы Софьей Андреевной была поставлена зажженная свеча. Возвращаясь с могилы, священник заявил Софье Андреевне, что теперь Толстой не еретик, он отпустил ему грехи. Панихида, отслуженная на могиле Толстого, вызвала широкий отклик в

печати того времени. Сообщения о ней появились во многих газетах. А 21 декабря 1912 года в «Русском слове» был напечатан фельетон А. Панкратова «На могиле Толстого». Возмущенная этой статьей, Софья Андреевна пишет 22 декабря в редакцию «Русского слова» письмо, опубликованное 28 декабря, в котором она преследует «лишь одну цель — восстановление истины». Опровергая факты, изложенные неверно А. Панкратовым, замечает: «Что же могла я, верующая в благодать церкви, испытать другое, как не радость и благодарность священнослужителю, понявшему, что искренняя, горячая молитва над усопшим не может быть ничем иным, как выражением любви и христианского всепрощения?» И далее восклицает: «Неужели не легче верить в святые, добрые чувства людей, чем в вечный обман и считать молитву церковную, искреннюю и горячую за озорство, недомыслие или злой умысел?» 5 февраля 1913 года в той же газете появляется заметка «Мой ответ» (Письмо в редакцию), автор которой — священник Г. Л. Калиновский — объясняет причины, побудившие его отслужить панихиду на могиле Толстого: «...Совершая молитву, у меня не было и нет никаких целей, а только чистая молитва грешника за грешника, и я доволен уже тем, что доставил духовное утешение гр. Софье Андреевне, которой тяжело было, как глубоко верующей христианке, переносить «отвержение» своего любимого мужа».

В комнате Софьи Андреевны Толстой в желтом березовом шкафу хранится «Сборник статей и известий о последних днях Льва Толстого «Дни нашей скорби», издание газеты «Студенческая жизнь», М., 1911 г. На обложке черными чернилами рукой Софьи Андреевны написано: «С замечаниями и поправками графини Софьи Андреевны Толстой». В этом сборнике приведены статьи, помещавшиеся в газетах с 30 октября по 7 ноября, по которым можно проследить последние дни и часы жизни великого писателя с момента его ухода из Ясной Поляны до кончины на станции Астапово. В статьях, напечатанных в книге «Дни нашей скорби», сделаны попытки проанализировать причины ухода Л. Н. Толстого из Ясной Поляны, предположения, куда мог ехать писатель, приводятся интервью с его женой, детьми, В. Г. Чертковым и др. Просматривая этот сборник, невольно мысленно переносишься в то тревожное и трагическое время. Эмоциональность восприятия приводимого материала еще более усиливается от того, что страницы сборника испещрены замечаниями и поправками жены писателя Софьи Андреевны, сделанными в ноябре-декабре 1911 г. 24 ноября 1911 года Софья Андреевна записала в «Дневнике»: «Читала книгу “Дни нашей скорби” и делала в ней исправления в том, что неправда; 9 декабря — следующая запись: «...Читала и исправляла “Дни нашей скорби” и больно плакала»². Из двухсот тридцати пяти страниц этого сборника восемьдесят имеют пометки и правки Софьи Андреевны. Отдельные из них незначительны, в большинстве же случаев — это замечания, отражающие отношение Софьи Андреевны к излагаемому материалу; в отдельных местах — это крик измученной огромным горем и страданиями души женщины, которая в течение сорока восьми лет совместной жизни с Толстым была его верным другом, помощницей, издате-

лем произведений, секретарем и первым хранителем рукописей, и, конечно же, прежде всего, матерью тринадцати детей и хозяйкой дома. В приводимых в этом сборнике отзывах венской печати об отъезде Л. Н. Толстого из Ясной Поляны Софья Андреевна сравнивается «с некоторыми женщинами из пьес Мольера и Ибсена» и справедливо замечается, что «всю жизнь свою она заботилась о счастье и покое своего мужа». Особенно обращает на себя внимание пометы Софьи Андреевны в статьях, где говорится об уходе Толстого, его болезни. В них выражено ее отношение к случившемуся, даны характеристики и оценки отдельных лиц и их поступков. В тексте статьи, где высказывается предположение, что Толстой находится в имении Абрикосова, Мценского уезда Орловской губернии, Софья Андреевна делает несколько поправок. После фразы: «Совместная поездка врача Маковицкого гарантирует все необходимые заботы о здоровье», пишет: «Нисколько не гарантирует. Маковицкий слабый, безвольный человек»³. Слова немецкого беллетриста Шпильгагена о том, что «со стороны доктора Маковицкого было большой оплошностью содействовать уходу Льва Николаевича», Софья Андреевна подчеркивает и на полях замечает: «верно»⁴. Заметка «Яснополянская драма», где субъективно, а порой и неверно истолковываются взаимоотношения в семье писателя в последний год его жизни, вся испещрена замечаниями Софьи Андреевны: «Ложь», «Все это неправда», «Клевета и ложь». Ниже подписи «Яснополянец» написано Софьей Андреевной: «Вероятно чертковец, ибо много лжи»⁵. В публикациях «Трагедия Толстого», «Как жилось Л. Н. Толстому» высказывается мнение, что заботы, которыми был окружен Толстой, тяготили его. Рядом, на полях, Софья Андреевна пишет: «А если б не ухаживали, он давно бы был на том свете. Когда ушел и умер»⁶. В разделе «Отзывы иностранной печати» венская печать об отъезде Л. Н. Толстого из Ясной Поляны, после слов «ушел в одиночество» Софья Андреевна выражает свое отношение к уходу Толстого: «Никакого одиночества не было, с ним поехал доктор Маковицкий, дочь Саша и ее компаньонка, и ему доставляли все удобства, какие было возможно. Заболев, он тотчас же вызвал Черткова. Ушел Лев Николаевич главное потому, что рассердился на жену за его добровольное разлучение с Чертковым, резко нагрубившим Софье Андреевне за ее требование возвращения дневников Льва Николаевича, семи толстых тетрадей, увезенных к себе Чертковым. Мнение, что Лев Николаевич хотел своим уходом завершить свое учение — совершенно неверно. А самое верное то, что он, заболев заранее, и почувствовав приближение смерти — инстинктивно ушел умирать (подчеркнуто Софьей Андреевной — Т. К.). Это мнение двух профессоров. Его обвинения жены, его слова о роскоши и желание уединения — все это было фальшиво подстроено. Ушел он, по словам Маковицкого, в настроении злобном. (Подчеркнуто Софьей Андреевной — Т. К.).

Испугавшись потом этого определения Маковицкий сказал: «Ну, скажем, мрачном»⁷. (Подчеркнуто Софьей Андреевной — Т. К.).

На полях статьи, в которой одной из причин ухода Толстого

из Ясной Поляны называется его отказ от Нобелевской премии и недовольство семьи этим отказом, Софья Андреевна поправляет: «Нобелевскую премию никогда и не присуждали Льву Николаевичу, и спора о ней и не могло быть»⁸.

Отдельные замечания Софьи Андреевны возвращают нас к сложным взаимоотношениям жены писателя и Черткова. Так в статье «Вчера в Петербурге» после слов «Всюду и во всех слоях столицы неисчерпаемой темой служили те недоразумения, которые возникали за последнее время между графиней и ее мужем по вопросам чисто материальным», фраза «чисто материальным» зачеркнута и далее вписано между строк и на полях: «о вмешательстве Черткова в их жизнь и грубостей, сказанных им Софье Андреевне»⁹. В разделе «Переезд под проливным дождем — причина болезни» сообщается о приезде в Шамординский монастырь Александры Львовны. Рядом, на полях, Софья Андреевна замечает: «далее, говоря, что его будут искать и преследовать, она и спугнула отца и погубила его. Это и мнение сестры Марии Николаевны, высказанное ей в письме к Софье Андреевне»¹⁰.

Софья Андреевна имеет в виду письмо Марии Николаевны к ней от 22 апреля 1911 года, где Мария Николаевна пишет, что «до приезда Саши он никуда не намерен был уезжать, а собирался поехать в Оптину и хотел непременно поговорить со старцем. Но Саша своим приездом на другой день все перевернула вверх дном»¹¹.

В разделе «Духовенство об “уходе из мира” Л. Н. Толстого» доктор богословия архиепископ Новгородский Арсений предполагает, что Толстой не случайно «ушел» в монастырь, где существует известная обрядность и устав, которым необходимо подчиняться, и считает, что церковь должна приветствовать это. После этого Софья Андреевна между строк добавляет: «Лев Николаевич намеревался пожить у сестры в монастыре неопределенное время. Приезд дочери Саши, пугавшей отца, что его ищут, испугал его, и он поднялся ночью и уехал. Если бы он пожил при монастыре с сестрой и побеседовал бы со старцами, быть может, он вернулся бы к церкви. Погубила его душу и тело его собственная дочь Александра и присланный Чертковым А. Сергеев»¹².

Таково субъективное мнение Софьи Андреевны. Эти пометки, сделанные Софьей Андреевной через год после смерти писателя, представляют для нас большой интерес, являясь документом, в котором выражена точка зрения жены писателя на события октября-ноября 1910 г. И вместе с ней, перелистывая книгу «Дни нашей скорби», мы, спустя 80 лет, еще раз обращаемся к тем далеким, взволновавшим «многих и многих на Руси дням», когда, по словам современника Толстого, опубликованным в этом сборнике, «мы, русские люди, потеряли... великую душу, которая нас согревала теплотой своею, изъясняла художеством, улучшала высокою требовательностью к достоинству человека, волновала муками своих колебаний и сомнений»¹³.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Толстая С. А. Дневники. М., 1978. Т. 2. С. 364.
2. Там же. С. 366.
3. Дни нашей скорби. М., 1911. С. 13.
4. Там же. С. 103.
5. Там же. С. 17.
6. Там же. С. 37.
7. Там же. С. 104.
8. Там же. С. 18.
9. Там же. С. 35.
10. Там же. С. 89.
11. Толстой И. Л. Мои воспоминания. С. 247.
12. Дни нашей скорби. С. 70.
13. Там же. С. 233.

А. М. Амирханян

КОНЧИНА Л. Н. ТОЛСТОГО И АРМЯНСКАЯ ПРЕССА

Глубокой осенью 1910 года внимание людей всего мира было приковано к событиям, связанным с именем Л. Н. Толстого.

Страницы армянских газет пестрели разного рода информацией о Толстом: материалы к биографии, уход из Ясной Поляны и его причины, отношение писателя к русской церкви, реакция театров столицы на его смерть, мнения членов семьи Толстого о его уходе из Ясной Поляны, сведения из газет России, Западной Европы и Америки, и многое другое.

Толстой скончался в 6 часов 5 минут 7 ноября. В тот же день в 1 час 30 минут дня в Московской армянской церкви, по инициативе армянской паствы, состоялась первая панихида по усопшему писателю. Газета «Мшак» писала: «Вполне естественен интерес к Толстому еще и потому, что он, как отлученная от русской церкви личность, должен был быть похоронен без религиозных обрядов. Такова была воля покойного, который до последних минут своей жизни остался верен своему учению и идеям. И неудивительно, что панихида для отлученного от православной церкви человека была исполнена в чужеродной христианской церкви и, к чести армян, в Москве впервые была исполнена панихида... в армянской церкви в присутствии многочисленной паствы»¹.

Через два дня, 9 ноября, в армянской церкви на Невском проспекте в Петербурге, после обычной утренней службы, в 11 часов кто-то из прихожан обратился к одному из священников с просьбой отслужить панихиду по Л. Н. Толстому как дань глубокого уважения и великой признательности. На панихиде присутствовали представители армянской колонии и студенческая молодежь.

По окончании панихиды здесь же к другому священнику обратилась делегация студентов с просьбой отслужить панихиду по великому писателю. Священник дал свое согласие и в час дня вновь началось отпевание. Армянская церковь была переполнена учащимися высших школ. После второй панихиды студенты вышли на площадь перед церковью и, обнажив головы, три раза спели «Вечную память». У студентов были транспаранты с надписью «Долой смертную казнь!» Для усмирения демонстрантов срочно был вызван наряд конной и пешей полиции. Вход в армянскую церковь снаружи охраняли полицейские. Двери храма

закрылись только тогда, когда все студенты удалились с близлежащих улиц. Об этом писали «Русские ведомости», «Новое время» и армянские газеты «Сурандак» (17 ноября 1910 г.), «Оризон» (11, 18 ноября 1910 г.), «Мшак» (10, 11, 16 ноября 1910 г.), «Бюзандион» (12-23 ноября 1910 г.) и др.

И это не случайность. По сообщениям армянских газет, католикос всех армян Матевос II разрешил отпевание умершего с исполнением литургии в память Л. Н. Толстого во всех армянских церквях². Москва и Петербург оказались не единственными. Так, в Ставрополе, по свидетельству Тер-Енокяна, в армянской церкви духовенство отслужило панихиду в память покойного Л. Н. Толстого по инициативе священника этой церкви Карапета Ягорянца³.

По разрешению начальника Астраханской армянской епархии епископа Тер-Мхитара в Романовской армянской молельне 21 ноября, после утреннего торжественного богослужения, в присутствии русских и армян состоялось отпевание великого писателя. Было установлено возвышение для гроба, на нем возложен крест, символизирующий гроб, а по углам возвышения горели свечи. «Когда начался шаракан⁴, прихожане со свечами в руках окружили возвышение для гроба. В первом ряду были армянские и русские учащиеся частной школы священника Нерсеса, за ними — прихожане постарше. Был образцовый порядок. После чтения Евангелия основатель церкви священник Нерсес Эртевцян, обратившись к молящимся, сказал по-русски следующее: «Братья! Вам уже известно, что умер великий учитель Лев Николаевич Толстой. Я не буду долго говорить, потому что личность Толстого сможет оценить лишь будущее. Я скажу только, что Льва Николаевича Толстого можно будет понять только тогда, когда всеобщая христианская церковь и душа братолюбия укрепится в сердцах всех верующих христиан.

Пусть сейчас спит спокойно проповедник любви и мира. Преклонимся же перед свежей его могилой».

Все присутствующие, целуя крест на столе, в подавленном настроении разошлись со слезами на глазах. Через четверть часа отец Нерсес послал семье Толстого телеграмму: «... Сегодня после утреннего богослужения состоялось отпевание незабвенного учителя Льва Николаевича. Будем вечно хранить завет любви и мира великого художника слова»⁵.

14 ноября, в день поминок седьмого дня по армяно-григорианскому религиозному обряду, в Большом Каракилисе (г. Кировскан) в армянской церкви состоялась панихида по случаю смерти Толстого. Как пишет газета «Мшак», «несмотря на то, что великий писатель был категорически против устаревших и бессмысленных формальностей христианской церкви, все же учительская группа, желая быть участниками общенародного незабываемого горя и выражая свое глубокое уважение русскому народу-творцу, попросила исполнить панихиду, на которой присутствовали также представители общественности и попечители»⁶.

На кончину русского писателя откликнулись армяне, проживавшие не только в составе России, но и далеко за ее пределами. Так, западно-армянская пресса систематически проявляла интерес

к жизни и деятельности русского писателя, публиковала критические очерки и отрывки из его произведений. С первых же ноябрьских номеров ежедневной газеты «Бюзандион», издававшейся в Константинополе, в ней встречаются статьи и сообщения о состоянии здоровья Толстого, о его литературной и общественной деятельности. Газета, в частности, писала: «Политический противник неравенства Толстой был резким критиком русского правительства, осуществлявшего колониальную политику по отношению к полякам, финнам, евреям, малороссам и армянам». Свободная Россия, по мнению писателя, должна вести более миролюбивую политику. Это, как видим, актуально и сегодня.

В константинопольской армянской прессе тех дней отмечалось и отношение разных церквей мира к утрате и скорби русского народа. Издатель «Бюзандиона» Бюзанд Кечян в статье «Армяне и Толстой» писал: «В связи с кончиной Толстого армянская церковь была первой церковью России, исполнившей панихиду и литургию по Толстому. Ни одна ортодоксальная церковь не отслужила панихиды, поскольку философ Ясной Поляны был отлучен от русской православной церкви. Католическая церковь не молится за некатолических христиан. Свое благословение, свои надежды, свои утешения она хранит только для себя и своей паствы. Лютеране имеют лишь право памяти, и то до сих пор пока не исполнили его, так как и они должны отметить свою позицию к воззрениям Толстого. Вспомним, что лютеране-софисты при удобном случае выразили свое уважение⁷. И только армянская церковь, поистине с христианским широкомыслием, молится за тех, кто верует как она, а также и за тех, кто не верует как она. Если армянская церковь Константинополя молится за свободных мучеников ислама, то действительно свою молитву она должна была посвятить и известному автору, который, хоть и не прижился к той или иной церкви, но все-таки ближе всех подошел к евангелической ясности и близости. Так значит Честь и Слава армянской церкви и горе нам, так мало знающим о ценности имеющихся жемчужин. И да простят нас анархисты и космополиты, зиждящиеся на безверии — ведь одной водой окроплены все церкви и все духовенства!!!»⁸

Не остались безучастными к постигшему русский народ горю и служители духовной академии Св. Эчмиадзина. Они отправили в Ясную Поляну телеграмму сочувствия 11 ноября 1910 г.⁹

Газеты тех дней печатали сообщения и об отношении различных организаций, и армянских в том числе, к смерти Толстого. Публиковались некрологи, статьи и очерки о Толстом, портрет писателя в траурном обрамлении. В этом благородном деле активно участвовали видные деятели армянской культуры В. Терян, К. Микаелян, А. Ширванзаде, Атрпет, Сурхатян, Г. Акопян, Т. Назарян и многие другие. Некоторые из них переписывались и встречались с Толстым.

Различные общественные и национальные учреждения и заведения Тифлиса, а также редакции армянских газет и журналов послали телеграммы соболезнования семье покойного и редакциям русских газет Москвы. А градоначальник Тифлиса А. Хатисян

выразил соболезнование в телеграмме и выступил на заседании городской Думы 9 ноября 1910 г. с речью¹⁰. Телеграммы соболезнования направили редакции «Русских ведомостей» Армянское драматическое общество Тифлиса и орган Союза учительниц, редакция еженедельника «Нор дпроц» («Новая школа», Тифлис), в которой, в частности, говорилось: «Армянские учителя Кавказа и орган Союза учительниц считают своим священным долгом выразить чувство глубокой скорби по случаю смерти великого учителя Толстого, на произведениях которого воспитывались целые поколения учителей и учеников». Кроме того, в Тифлисе в армянских очагах культуры проходили лекции в память Толстого. Так, состоялся литературный вечер в дневной школе имени Ованяна; Общество народных университетов организовало в Народном доме Зубалаяна вечер памяти Л. Толстого с участием оркестра оперного театра и драматических артистов; в Общественном клубе представителями армянской интеллигенции были организованы лекции о Толстом и чтения из произведений писателя¹¹. Несколько армянских общественных заведений Баку решили провести сбор пожертвований с целью основания фонда имени Толстого¹², а 16 ноября 1910 г. силами армянской общественности Баку был организован вечер памяти писателя¹³.

В одном из номеров газеты «Мшак» было напечатано интервью А. Хачатряна с известным скульптором-монументалистом, армянином по происхождению, Сергеем Дмитриевичем Меркуровым, который снимал маску с Л. Н. Толстого¹⁴.

Как свидетельствует Меркуров, его вызвали в Астапово телеграммой. Вот его впечатления: «Вошел в комнату, сердце екнуло когда увидел лежащего на кровати Толстого. У изголовья молча сидела Софья Андреевна, а по сторонам стояли крестьяне. Как увидели меня — замешкались, уступили место, и я стал работать. Вспомнился Айрик Хримян. Когда снимал маску с Толстого, как будто Айрик был перед глазами». Отметим, что Л. Н. Толстой был знаком с проповедями Айрика Хримяна и, по его признанию, с удовольствием читал их (нам неизвестно, в чьих переводах). Еще одна интересная деталь в рассказе Меркурова: «Когда снимал маску, вдруг на глаза попался маленький зеленый венок, к которому было прикреплено на простой ленте от руки написанное «От крошки Льва Николаевича деду Льву Николаевичу». Мне рассказали, что 7 ноября, в день смерти Толстого, у одного служащего по имени Николай родился мальчик, в тот же день его окрестили и дали ему имя Лев. И вот родители этого новорожденного Льва Николаевича кладут на Толстого маленький венок»¹⁵.

В эти дни на страницах газет и журналов публиковались не только слова печали и сочувствия, обзоры жизни и творчества писателя, не только сообщения о состоянии здоровья в последние дни его жизни и рассказы о похоронной процессии, но и посвящения великому писателю. Так, за подписью Шрынд было напечатано стихотворение «Слава тебе, великий гений!» с подзаголовком «Бессмертной памяти Л. Толстого» (мы приводим наш подстрочный перевод):

Слава тебе, великий гений!
И ты олицетворенная идея любви,
И ты нескончаемый источник тепла,
Чудесное сияние яркого света,
Светозарная ты звезда чистой и яркой надежды.
И ты поэт, царь мысли,
И ты земледелец, труженик в поту,
И ты опечаленный друг бедняка,
Опора голодному, беспомощному горемыке...
Слава тебе, великий гений!

Слава тебе, великий гений!
Что, как орел, великан непоколебимый,
Пронесся над темным и мрачным миром,
И ты своей душой и духом величавым
Озарил путь людям.
И ты храбрым и грозным гласом
К любви призвал человечество:
И раб ли, свободный ли за твою проповедь
Тебе построили большой храм славы —
Слава тебе, великий гений!

Слава тебе, великий гений!
Твое учение сверхчеловека,
Твои дивные произведения
Для нас всех всегда будут светлы,
Как простая твоя могила,
До тех пор, пока в мире живое стоит
Вечно твое бессмертное имя...
Вечную память бесконечно будем петь
Твоему святому многострадальному праху.
Слава тебе, великий гений!¹⁶

8 ноября в Москве в Лазаревском институте восточных языков состоялось собрание студентов, посвященное памяти писателя. В знак траура решили прекратить занятия на три дня и ходатайствовать перед Советом профессоров разрешить поставить портрет великого писателя в аудитории первого курса. На том же собрании избрали делегацию из трех студентов для возложения пальмовой ветви на могилу Толстого. В конце стоя почтили память покойного. В тот же день состоялось экстренное заседание профессоров института под председательством директора профессора Миллера, где обсуждался вопрос об увековечении памяти писателя. Решили послать телеграмму соболезнования на имя графини С. А. Толстой. Избрали делегацию для возложения на могилу великого писателя пальмовой ветви. Поскольку Толстой изучал восточные языки и в своих произведениях часто затрагивал Восток, было решено учредить медаль имени Л. Н. Толстого. Эта медаль предназначалась за лучшую студенческую работу по теме «Восток в произведениях Л. Н. Толстого»¹⁷.

Правление студентов московского армянского землячества решило участвовать в деле увековечения памяти Л. Толстого. Так, было предложено назвать одну из школ Закавказья в его честь, решено было также обратиться к известному писателю В. Г. Короленко с просьбой разрешить опубликовать в армянской прессе его известное произведение «Бытовое явление» (1910), содержащее протест против смертной казни и в этой связи — письмо Л. Толстого к Короленко¹⁸. Группа студентов московского армянского

землячества участвовала в похоронах великого русского писателя. Возглавлял эту группу К. А. Мелик-Оганджян. Сохранился снимок, на котором запечатлены несущие гроб писателя Ходжа-мирян Ерванд Христафорович, Парун-Саркисов Рубен Николаевич, Мебурнутов Оганес Александрович, Бархударян Никита (Мкртич) Васильевич¹⁹.

А живущие в Москве армяне возложили на гроб Толстого серебряный венок с надписью: «Великому и бессмертному учителю человечества от кавказских армян».

Несмотря на большие препятствия, чинимые властями, все же в похоронах Л. Н. Толстого удалось участвовать видным деятелям армянской культуры — поэту В. Теряну и писателю К. Микаеляну; известный армянский писатель-реалист А. Ширванзаде также публиковал свои сообщения из Астапово.

Армянские журналы «Ахпюр» и «Тараз» отдельные номера посвятили произведениям Толстого.

Армянская пресса выразила свое отношение к личности писателя, к тем мнениям и страстям, которые кипели вокруг Толстого, к скорби, которую армяне приняли и переживали как свое большое горе, потому что, как писал священник Э. Назарян, «Толстые бессмертны»²⁰.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Мшак. 1910. 20 ноября. №259.
2. Там же. 1910. 24 ноября. №262.
3. Там же.
4. Шаркан — армянское церковное песнопение.
5. Мшак. 1910. 2 декабря. №269.
6. Там же. 1910. 19 ноября. №258.
7. Так, в армянской газете «Оризон» за 20 ноября 1910 г. указывается: «В Риме пастор лютеранской церкви Комбо в отдельной проповеди назвал Толстого апостолом высокого христианского учения».
8. Бюзандион (Константинополь). 1910. 13-26 ноября (на арм. яз.).
9. Оризон (Тифлис). 1910. 16 ноября. №255 (на арм. яз.).
10. Мшак. 1910. 11 ноября. №251.
11. Мшак. 1910. 23 ноября. №261.
12. Мшак. 1910. 21 ноября. №260.
13. Оризон. 1910. 18 ноября. №257.
14. С. Д. Меркуров также снимал маски с католикоса всех армян Айрика Хримяна (Мкртич I) — (1892-1907 гг.), известного армянского писателя Ов. Туманяна (1923), В. И. Ленина (1924).
15. Мшак. 1910. 26 ноября. №264.
16. Сурандак. 1910. 14 ноября. №179.
17. Мшак. 1910. 16 ноября. №255.
18. Мшак. 1910. 24 ноября. №262.
19. Об этом подробнее см.: Литературная Армения. 1984. №5. С.86.
20. Мшак. 1910. 13 ноября. №253.

Е. Н. Щелокова

ПИСЬМА АМЕРИКАНЦЕВ ТОЛСТОМУ В ГОЛОДНЫЙ ГОД
(По материалам рукописного отдела ГМТ)

В рукописном отделе музея Л. Н. Толстого хранится около 9 тысяч писем иностранцев к Толстому. Более полутора тысяч из них присланы писателю из Америки. Обработка этой интереснейшей части эпистолярного фонда только начинается, но уже сейчас исследователями сделано немало важных находок: открываются новые имена учеников и последователей Толстого в Америке, уточняются представления о том, насколько широко были распространены идеи Толстого и какой отклик они находили среди американцев, как воспринимались художественные произведения писателя.

Благодаря фактам, изложенным в письмах, известные стороны жизни и деятельности Толстого получают как бы новую перспективу, и наше представление о них углубляется и обогащается.

Хорошо известен тот период жизни Толстого, когда он «работал на голоде» зимой 1891-1892 гг. Известно и то, что «для облегчения участи голодающих» писатель получал помощь из-за рубежа, в частности из Америки. Но вот как именно была организована эта помощь, кто принимал в ней самое деятельное участие, какие трудности приходилось преодолевать американским помощникам Толстого — все эти и многие другие вопросы проясняются лишь из личной переписки Толстого с его американскими друзьями, которая до сих пор была неизвестна читателю.

Остановимся на письмах «о голоде» лишь двух корреспондентов Толстого — его американской переводчицы Изабеллы Ф. Хэпгуд и сына известного журналиста и поэта, основателя американского общества борьбы с рабством Френсиса Дж. Гаррисона, тем более что эти два американца и были главными инициаторами оказания помощи бедствующим крестьянам России¹.

В начале января 1892 года Изабелла Ф. Хэпгуд напечатала в ведущих газетах Нью-Йорка объявление об открытии ею Толстовского фонда в помощь голодающим крестьянам России. Приводим его текст:

Толстовский фонд

Редактору «Nation»

Милостивый государь! Нет сомнения в том, что многие были

бы рады помочь голодающим русским, если бы могли с удобством для себя пересылать небольшие суммы, будучи уверены в том, что их деньги попадут прямо по назначению и будут использованы самым экономным образом кем-либо, кто на основании личного опыта был бы хорошо знаком с потребностями настоящего момента, а также с местными условиями.

Всем этим требованиям отвечает личность графа Льва Н. Толстого, великого писателя и гуманиста, который и раньше вел эту благотворную работу среди крестьян.

Поскольку в Россию нельзя пересылать почтовые переводы или чеки на очень малые суммы и кроме того существуют определенные затруднения в использовании для этих целей заказных писем, я предлагаю открыть Толстовский фонд. Я с радостью возьму на себя заботу о любой сколько бы то ни было малой сумме, которую пожелают переслать на мое имя, и сразу же удостоверю ее получение. По мере того, как у меня будет собираться не менее пяти долларов, я буду пересылать чек графу Толстому, сопровождая его списком жертвователей.

Основываясь на личном знакомстве с графом Толстым и его семьей², помогающей ему в работе, могу принести мои уверения в том, что никто другой не сможет использовать эти средства столь добросовестно, справедливо и с такой пользой, как они. На один доллар можно прокормить человека в течение более чем месяца, вот почему даже самые скромные пожертвования могут принести пользу и будут приветствоваться графом Толстым.

Мне доставляет огромное удовольствие сообщить о поступлении первого взноса в Толстовский фонд, от друга, в размере 100 долларов.

Изабелла Ф. Хэпгуд³

Сразу же после публикации этого обращения к И. Хэпгуд начали стекаться добровольные пожертвования, так что уже 18 января 1892 года она смогла переправить Толстому достаточно внушительную сумму — 584 доллара⁴.

Почти одновременно с Хэпгуд с призывом помочь бедствующему населению России обращается к своим соотечественникам и Френсис Гаррисон, выполняя поручение «Общества американских друзей русской свободы», казначеем которого он состоял в те годы. Правда, сумма, которую Гаррисон переправляет Толстому со своим первым письмом, значительно более скромная — 11 фунтов стерлингов (к ним следует прибавить еще 80 фунтов стерлингов, отправленных им тремя днями раньше на имя Софьи Андреевны).

Казалось бы, благородное дело было начато вполне удачно. К тому же средств, которыми располагал в России сам Толстой для помощи голодающим, постоянно не хватало. Об этом свидетельствуют его письма друзьям. Так, в декабре 1891 года Толстой писал И. Б. Файнерману: «Бедствие здесь большое и все растет, а помощь увеличивается в меньшей прогрессии, чем бедствие» (66, 95). Еще более определенно он высказывался в письме к В. Г. Черткову от 15 января 1892 г. (т.е. совсем незадолго до получения им пожертвований через посредничество Хэпгуд и Гаррисона): «Я

еще в Москве, и очень, каюсь, тягочусь здешней жизнью. Здесь все идут пожертвования, есть еще деньги столовых на 30 и все прибывают, а когда я уехал оттуда, там было 70 столовых и были просьбы от деревень 20, очень нуждающихся, которые, я думал, что нельзя удовлетворить. А теперь можно, а я сижу здесь. А 30° мороза, а там нет во многих близких местах ни пищи, ни топлива» (87, 123-124).

Если вспомнить еще и о том, что свою помощь голодающим крестьянам Тульской и Рязанской губерний Толстой начинал в октябре 1891 г., имея при себе всего около 500 рублей денег, то становится понятным, что помощь, поступавшая к нему из-за рубежа, была далеко не лишней.

И именно в это время возникает неожиданное осложнение, грозящее провалом всей благотворительной деятельности, так удачно начатой американскими друзьями Толстого. Во многих американских газетах появляется заметка следующего содержания:

«Русское правительство потребовало от графа Толстого прекратить его благотворительную деятельность. Ходят слухи, что он живет в Москве, под непосредственным наблюдением полиции. В начале декабря корреспондент “Санкт-Петербургских новостей”, Владимир Михневич, которому было поручено исследовать положение народа в голодающих районах, также был отозван в столицу. С тех пор как был образован комитет во главе с царевичем, в русских газетах запрещено печатать материалы о голодающих крестьянах, а благотворительная деятельность, не состоящая под официальным контролем этого комитета, запрещена.

Близкий друг и соратник графа Толстого, Иван Иванович Раевский, скоропостижно скончался, как только вошли в силу новые законы. Русские газеты сообщают, что его “подкосила” инфлюэнца, однако по сведениям корреспондента “New-York Sun”, полученным им из частных источников, либеральная партия подозревает, что его смерть была вызвана другими причинами, возможно страхом или сильным потрясением».

Вырезки из газет с текстом этой заметки присылают Толстому одновременно и Хэпгуд (в письме от 21 января 1892 г.) и Гаррисон (в письме от 22 января 1892 г.). Не будем вдаваться в подробности того, что послужило причиной распространения этих ложных слухов — эта история с исчерпывающей полнотой описана биографами Толстого⁵.

Проследим по письмам американских корреспондентов Толстого, каковы были последствия столь «неосторожного» выступления прессы.

В своем письме от 21 января 1892 года Хэпгуд пишет: «Вложенная в конверт заметка была прислана мне человеком, который взял назад свой вклад, предназначенный Вам для помощи русским крестьянам, из страха, что деньги пропадут». Та же тема продолжается и в ее письме от 5 февраля: «Некоторые подписчики моего фонда помощи голодающим крестьянам были встревожены появлением в очень многих наших газетах заметки, вероятно перепе-

чатанной из какой-нибудь враждебной английской газеты, если вообще она не была измышлением какого-нибудь врага России в нашем городе ... Часть денег была затребована обратно людьми, которые хотели, чтобы деньги распределялись Вами или вообще никем». Тревога звучит и в письме Ф. Гаррисона от 22 января 1892 г.:

«Вместе с другими нашими друзьями, собирающими пожертвования в Ваш фонд помощи голодающим, я весьма встревожен заметкой (которую прилагаю к письму), появившейся в наших газетах два или три дня назад, о том, что русское правительство потребовало от Вас прекращения Вашей благотворительной деятельности.

Нам очень важно знать, действительно ли таково положение дел или нет, и, в случае, если пожертвования будут поступать и впредь, сможете ли Вы использовать полученные деньги по назначению. Наше недоверие к русским официальным властям не позволит нам пересылать какие-либо суммы, которые бы прошли через их руки, и кроме Вас одного мы не знаем никого другого, кому бы могли доверить распределение пожертвований».

Отток пожертвований грозил самому существованию Толстовского фонда, основанного Хэпгуд, однако, благодаря ее находчивости, положение удалось спасти. В своем письме от 21 января 1892 года она просит Толстого незамедлительно сообщить ей «об истинном положении вещей для того, чтобы жертвователи могли не тревожиться, а я могла бы выслать Вам деньги, которые у меня есть». «... самое лучшее для Вас было бы, — пишет далее Хэпгуд, — немедленно послать мне каблограмму, и вслед за этим, незамедлительно подробное письмо, которое можно было бы всем показать.

Я возьму за Вас стоимость каблограммы. Напишите:

Хэпгуд. Нью-Йорк.

Неправда

Правда

Толстой.

Это обойдется гораздо дешевле, чем если оставить всю эту историю неопровергнутой хотя бы на один единственный час дольше, чем возможно. Это может означать жизнь или смерть для всего нашего большого Комитета, о котором я Вам вчера писала, и в конечном счете для тысяч крестьян. ... Возобновить подписку будет очень трудно, если она однажды прекратится из-за отсутствия Вашего собственноручного свидетельства. Американцы либеральны, но они склонны верить всякой чепухе о России. Если же Вы напишете, по — а н г л и й с к и, опровержение этого заявления, я опубликую его факсимильным способом в газетах, и Вы таким образом спасете жизни сотен и тысяч крестьян с помощью пожертвований, которые вновь будут поступать в большом количестве».

Толстой исполнил просьбу Хэпгуд — 8 февраля 1892 г. она получила его каблограмму, а также телеграмму с опровержением измышлений зарубежной прессы от Александры Андреевны Толстой.

Используя эти свидетельства, Хэпгуд опубликовала в Нью-Йоркских газетах заметку, опровергающую распространившиеся ложные слухи (эту заметку она приложила к своему письму, отосланному Толстому 12 февраля 1892 г.). В последнем письме были такие строки: «Сердечно благодарю Вас за быстрый ответ. Он был чрезвычайно важен именно в данный момент. К моему следующему отправлению я добавлю деньги на покрытие стоимости каблогаммы. Я телеграфировала фермерам нашего Северо-Запада (это зерновой район), с просьбой погрузить пшеницу и рожь для весеннего сева. Может быть, они смогут погрузить некоторое количество на судно, которое они предполагают отправить с продовольствием из Филадельфии 20-го февраля.

Теперь, когда Нью-Йорк пробудился, страна следует за нами, как я и предвидела. Директор нашего большого Мюзик-Холла предложил мне организовать цикл концертов в пользу фонда помощи с участием нашего лучшего симфонического оркестра. Я послала это письмо в Торговую Палату, чувствуя, что они смогут использовать его гораздо лучше, чем я»⁶.

Итак, недоразумение было устранено, и поток пожертвований хлынул в Толстовский фонд с новой силой. Действительно, как и предполагала Хэпгуд, за Нью-Йорком последовала вся страна, и помощь поступала от самых разных лиц — от евангелиста Дж. Х. Уайлера из Канады, приславшего 5 долларов и просившего сообщить Толстому о своем сочувствии ему и о восхищении благородной деятельностью русского писателя, от жен и дочерей фермеров, членов Нью-Йоркской ассоциации, от двух не назвавших себя лиц из Нассау, с Багамских островов, от прихожан конгрегациональной церкви из Гротона и монахинь — майертских сестер из Куинси, добывших присланные ими деньги тяжелым трудом, от граждан Лэнсингсбурга и от множества отдельных лиц, называвших свои имена или подписывавшихся просто как «друзья».

Толстовский фонд Хэпгуд оказался жизнеспособным. Он существовал почти до нового урожая — лишь 29 июня 1892 года Хэпгуд опубликовала объявление о его закрытии (письмо от 19 июля 1892 г.). В общей сложности ею было собрано и переправлено на имя Толстого 7.200 долларов (письмо от 9 августа 1892 г.).

По-своему боролся за приток новых поступлений в свой фонд и Френсис Гаррисон. Он, так же как и Хэпгуд, получил лично от Толстого каблогамму, содержащую опровержение ложной журналистской информации (письмо от 12 февраля 1892 г.), после чего опубликовал новое воззвание к гражданам Америки. Печатную листовку с этим воззванием он вложил в свое письмо к Толстому от 16 февраля 1892 г. Хотя текст этого нового обращения Гаррисона достаточно пространен, его интересно привести полностью, поскольку в нем содержатся любопытные факты, возможно, неизвестные или малоизвестные читателю:

Голодающая Россия

14 миллионов людей терпит нужду.

Из доклада, только что представленного правительству Соединенных Штатов послом в Санкт-Петербурге министром Смитом

явствует, что и более внушительные цифры, свидетельствующие об охватившем Россию бедствии, не были бы преувеличением. В своем докладе, основанном на свидетельствах очевидцев, Смит сообщает, что территория, охваченная голодом, включает в себя 13 губерний Европейской части России, площадь которых в три раза больше, чем территория всей Германии.

Официальные данные по количеству тех, кто лишен пищи и каких-либо других средств к существованию, и тех, кто нуждается в помощи, составляют 14 миллионов человек, и они, по всей вероятности, занижены.

В заключении доклада говорится: «В работе по оказанию помощи голодающим определяющим фактором является время. Каждая неделя промедления может стоить многих жизней. Всего необходимо собрать 180 миллионов пудов еды. Ежедневно в пораженные голодом провинции должно поступать 15 партий груза (на один вагон), однако на Рождественскую неделю поступило всего 11.

Экстренные меры в данном критическом положении не были, к сожалению, приняты; однако зловещая тень голода омрачает всю нашу жизнь, и энергия каждого должна быть направлена на то, чтобы облегчить человеческие страдания. Императорское правительство к настоящему моменту выделило из общественных фондов 85.000.000 рублей (42.500.000 долларов) в помощь голодающим. Но работа должна продолжаться и впредь, и сумма отчислений должна быть значительно повышена.

Русский император самолично пожертвовал значительные суммы, и все слои населения делают взносы в соответствии со своими возможностями. По самым скромным подсчетам потери России составят, принимая во внимание все последствия, не менее 1.000.000.000 рублей (500.000.000 долларов).

К настоящему моменту из-за границы поступило всего несколько взносов, однако русское правительство и русский народ глубоко признательны за те предложения помощи, которые стихийно поступают в Россию из разных частей Соединенных Штатов. Присоединяясь к общему мнению, министры императорского двора выразили свою благодарность министру Смит.

Граф Толстой продолжает выступать в газетах со статьями о голоде, а его жена, графиня Толстая, сказала такие слова в своем последнем воззвании:

«В такой большой нужде, как эта, каждый отдельный человек ничем помочь не может. И все же, несмотря на это, каждый день, который мы проводим в теплом доме, каждый кусок хлеба терзает совесть упреком в том, что может быть в этот самый момент кто-то умирает от голода. Все мы, живущие здесь в Москве в роскоши и не способные видеть то, как наш собственный ребенок страдает даже от самой ничтожной боли, — как можем мы вынести вид отчаявшихся и отупевших от боли матерей, на чьих глазах дети умирают от голода. Тридцать рублей (шесть долларов) спасут от голодной смерти до следующего урожая одного человека. Но нуждающихся так много, что потребуются огромные суммы. Давайте же по крайней мере сделаем все, что сможем.

Если каждый из нас, исходя из своих возможностей, спасет одну, две или сотню жизней, у нас на совести будет легче. Бог наградит нас лишним годом жизни за каждую спасенную душу!»

Взносы в помощь страждущим могут быть отправлены на имя мистера Френсиса Дж. Гаррисона №4 Парк Стрит, Бостон, который лично засвидетельствует все поступления и перешлет их графу и графине Толстым.

Ф. Гаррисон пересылал Толстым чеки на поступавшие к нему пожертвования с каждым из своих 14 писем (лишь его последнее, 15-е письмо к Толстому написано на иную тему).

Его фонд не выдержал конкуренции с фондом Хэпгуд и прекратил свое существование в мае 1892 года. Об этом он сообщил Толстому в своем письме от 20 мая 1892 года:

Должен сказать Вам с сожалением, что пожертвования, поступающие ко мне, практически иссякли, и я опасюсь, что у меня не соберется больше средств для пересылки Вам. Это происходит, однако, не из-за того, что со стороны американцев падает интерес или ослабевает симпатия, но ввиду того, что фонды Мисс Хэпгуд и некоторые другие, открытые под покровительством властей, естественно привлекли к себе поток благотворительности и завоевали себе такой авторитет, перед которым, несомненно, меркнут скромные возможности нашего "Общества американских друзей русской свободы". В надежде, что столовые, основанные Вами, продержатся до тех пор, пока не отпадет в них необходимость, остаюсь, Милостивый государь, с неизменным уважением

*Искренне Ваш
Френсис Дж. Гаррисон.*

К этому письму был приложен отчет об общей сумме собранных Гаррисоном пожертвований — она составила 1.911 фунтов стерлингов 84 пенса, сумма достаточно скромная на фоне «накопленный» фонда Хэпгуд.

Однако цель деятельности обоих американских друзей Толстого была весьма далека от какой бы то ни было конкуренции. Ими, несомненно, двигало самое искреннее сострадание к бедам миллионов людей в далекой для них стране. «Сердце болит, — восклицает Хэпгуд в одном из своих писем, — когда подумаешь, как много в мире горя, которому ты не в силах помочь». Посильное облегчение участи попавших в беду людей и вдохновляло добровольных помощников Толстого из Америки на их энергичную и самоотверженную работу.

Толстой высоко ценил человеческое участие и ту большую помощь, которая была оказана русским людям благодаря инициативе и посредничеству И. Хэпгуд и Ф. Гаррисона. И хотя писатель обратился к каждому из них с благодарственным письмом, закончить этот рассказ хотелось бы не цитатами из них, а словами Толстого, сказанными другому зарубежному другу, но как нельзя

лучше подходящими к данной ситуации: «Для меня большая радость видеть, что братство людей не есть пустое слово, а факт» (66, 76).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В рукописном отделе ГМТ хранится 51 письмо И. Хэпгуд и 15 писем Ф. Гаррисона к Толстому. Из числа первых «теме голода» посвящено 28 писем, из числа вторых — 14. Письма Ф. Гаррисона до сих пор не были опубликованы и их фрагменты представлены здесь впервые, из писем Хэпгуд опубликовано два письма (См.: Лит. наследство, М., 1965. Т. 75. Кн. 1. С.409-410), не входящие в разряд «писем о голоде». Перевод писем, журнальных и газетных статей с английского языка принадлежит автору статьи. Переводы, выполненные иными авторами, отмечены в примечаниях.

2. По приглашению С. А. Толстой Хэпгуд посетила Ясную Поляну летом 1887 г.

3. Вырезка из газеты с обращением Хэпгуд к американцам была прислана ею Толстым вместе с письмом от 18 января 1892 г. Хранится в отделе рукописей ГМТ.

4. См. указ. выше письма Толстому. В дальнейшем ссылки на письма американских корреспондентов даются в скобках с указанием даты письма. Все письма хранятся в отделе рукописей ГМТ.

5. См.: Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. Т. 3. С.175-176.

6. При Торговой Палате Нью-Йорка был также организован комитет по оказанию помощи голодающим, пересылавший в Россию внушительные суммы. Так, 9 февраля 1892 г. Торговая Палата перевела дипломатическому представителю США в Петербурге Смитсу 10.000 долларов с указанием о передаче части этой суммы Толстому (см. письмо Хэпгуд от 12 февраля 1892 г.). Косвенным толчком к созданию комитета помощи при Торговой Палате послужило открытие Толстовского фонда Хэпгуд, о чем она свидетельствует в своем письме от 5 февраля 1892 г.

Яснополянский сборник 1992

Редактор
О.А. Дорофеев

Художественный редактор
В.С. Матвеев

Книга выпущена при участии ассоциации
«Центррегионгаз» — Тула, ул. М.Тореза, 5-а.

Верстка, графическое оформление и оригинал-макеты выполнены ИРИ «Ритм»: Тула, ул. Мориса Тореза, 5-а. Иллюстрации архивные. Сдано в набор 20.06.92. Подписано в печать 24.10.92. Формат 60х90 1/16. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 14,5. Уч.-изд. л. 16. Тираж 1500 экз. Издательство «Посредник». Тульская обл., Щекинский район, Музей-заповедник Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Тульская типография, г. Тула, проспект Ленина, 109. Зах. № 531

Я 92

Яснополянский сборник 1992: Статьи, материалы, публикации. — Тула: «Посредник», 1992. — 232 с.

В сборнике публикуются новейшие работы российских и зарубежных исследователей творчества Л.Н. Толстого.

Книга рассчитана на литературоведов, музейных работников, преподавателей и студентов гуманитарных вузов.